

И.А.
БУЧИН

И.А. БУНИН

собрание
сочинений

в
деяти
томах

под общей редакцией
А.С. мясникова,
Б.С. рюрикова,
А.Т. твардовского



■
издательство
художественная
литература
москва

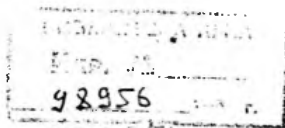
И.А. БУНИН

собрание
сочинений

(69)

том
седьмой

темные аллеи
Рассказы
1931-1952



издательство
художественная
литература
1966

Р 1
Б 91

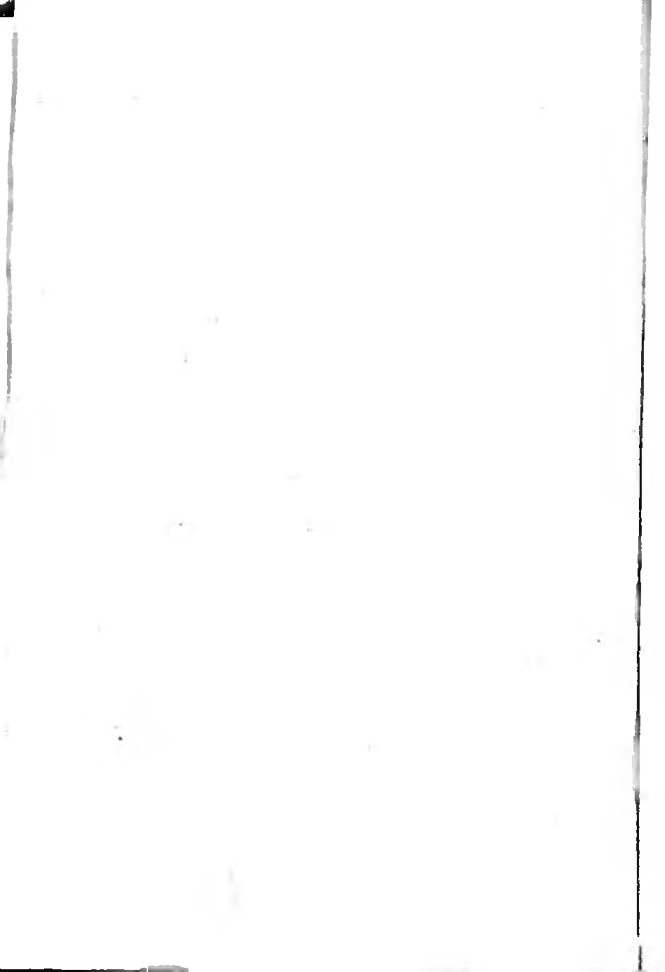
Подготовка текста
В. С. ГРЕЧАНИНОВОЙ

Примечания
В. С. ГРЕЧАНИНОВОЙ, О. Н. МИХАЙЛОВА

7-3-1

подп. изд.

ТЕМНЫЕ АЛЛЕИ



ТЕМНЫЕ АЛЛЕИ

В холодное осеннее пепелье, на одной из больших тульских дорог, залитой дождями и изрезанной многими черными колеями, к длинной избе, в одной связи которой была казенная почтовая станция, а в другой частная горница, где можно было отдохнуть или перекусить, пообедать или спросить самовар, подкатил закиданный грязью тарантас с полуподнятым верхом, тройка довольно простых лошадей с подвязанными от слякоти хвостами. На козлах тарантаса сидел крепкий мужик в туго подпоясанном армяке, серьезный и темнолицый, с редкой смоляной бородой, похожий на старинного разбойника, а в тарантасе стройный старик-военный в большом картузе и в николаевской серой шинели с бобровым стоячим воротником, еще чернобровый, но с белыми усами, которые соединялись с такими же бакенбардами; подбородок у него был пробрит и вся наружность имела то сходство с Александром II, которое столь распространено было среди военных в пору его царствования; взгляд был тоже вопрошающий, строгий и вместе с тем усталый.

Когда лошади стали, он выкинул из тарантаса ногу в военном сапоге с ровным голенищем и, придерживая руками в замшевых перчатках полы шинели, взбежал на крыльцо избы.

— Налекю, ваше превосходительство,— грубо крикнул с козла кучер, и он, слегка нагнувшись на пороге от своего высокого роста, вошел в сенцы, потом в горницу палево.

В горнице было тепло, сухо и опрятно: новый золотистый образ в левом углу, под ним покрытый чистой суровой скатертью стол, за столом чисто вымытые лавки; кухонная печь, занимавшая дальний правый угол, ново белела мелом: ближе стояло нечто вроде тахты, покрытой пегими попонами, упиравшейся отвалом в бок печи; из-за печной заслонки сладко пахло щами — разварившейся капустой, говядиной и лавровым листом.

Приезжий сбросил на лавку шинель и оказался еще стройнее в одном мундире и в сапогах, потом спял перчатки и картуз и с усталым видом провел бледной худой рукой по голове — седые волосы его с начесами на висках к углам глаз слегка курчавились, красивое удлиненное лицо с темными глазами хранило кое-где мелкие следы оспы. В горнице никого не было, и он неприязненно крикнул, приотворив дверь в сенцы:

— Эй, кто там!

Тотчас вслед затем в горницу вошла темноволосая, тоже чернобровая и тоже еще красивая не по возрасту женщина, похожая на пожилую цыганку, с темным пушком на верхней губе и вдоль щек, легкая на ходу, но полная, с большими грудями под красной кофточкой, с треугольным, как у гусыни, животом под черной шерстяной юбкой.

— Добро пожаловать, ваше превосходительство,— сказала она.— Покушать изволите или самовар прикажете?

Приезжий мельком глянул на ее округлые плечи и на легкие ноги в красных пополенных татарских туфлях и отрывисто, невнимательно ответил:

— Самовар. Хозяйка тут или служишь?

— Хозяйка, ваше превосходительство.

— Сама, значит, держишь?

— Так точно. Сама.

— Что ж так? Вдова, что ли, что сама ведешь дело?

— Не вдова, ваше превосходительство, а надо же чем-нибудь жить. И хозяйствовать я люблю.

— Так, так. Это хорошо. И как чисто, приятно у тебя.

Женщина все время пытливо смотрела на него, слегка щурясь.

— И чистоту люблю, — ответила она. — Ведь при господах выросла, как не уметь прилично себя держать, Николай Алексеевич.

Он быстро выпрямился, раскрыл глаза и покраснел.

— Надежда! Ты? — сказал он торопливо.

— Я, Николай Алексеевич, — ответила она.

— Боже мой, боже мой! — сказал он, садясь на лавку и в упор глядя на нее. — Кто бы мог подумать! Сколько лет мы не выдались? Лет тридцать пять?

— Тридцать, Николай Алексеевич. Мне сейчас сорок восемь, а вам под шестьдесят, думаю?

— Вроде этого... Боже мой, как странно!

— Что странно, сударь?

— Но все, все... Как ты не понимаешь!

Усталость и рассеянность его исчезли, он встал и решительно заходил по горнице, глядя в пол. Потом остановился и, краснея сквозь седину, стал говорить:

— Ничего не знаю о тебе с тех самых пор. Как ты сюда попала? Почему не осталась при господах?

— Мне господа вскоре после вас вольную дали.

— А где жила потом?

— Долго рассказывать, сударь.

— Замужем, говоришь, не была?

— Нет, не была.

— Почему? При такой красоте, которую ты имела?

— Не могла я этого сделать.

— Отчего не могла? Что ты хочешь сказать?

— Что ж тут объяснять. Небось помните, как я вас любила.

Он покраснел до слез и, нахмуясь, опять зашагал.

— Все проходит, мой друг, — забормотал он. — Любовь, молодость — все, все. История пошлая, обыкновенная. С годами все проходит. Как это сказано в книге Иова? «Как о воде протекшей будешь вспоминать».

— Что кому бог даст, Николай Алексеевич. Молодость у всякого проходит, а любовь — другое дело.

Он подил голову и, остановившись, болезненно усмехнулся:

— Ведь не могла же ты любить меня весь век!

— Значит, могла. Сколько ни проходило времени, все одним жила. Знала, что давно вас нет прежнего, что для вас словно ничего и не было, а вот... Поздно теперь укорять, а ведь, правда, очень бессердечно вы меня бросили,— сколько раз я хотела руки на себя наложить от обиды от одной, уж не говоря обо всем прочем. Ведь было время, Николай Алексеевич, когда я вас Николенькой звала, а вы меня — помпите как? И все стихи мне изволили читать про всякие «темные аллеи»,— прибавила она с недоброй улыбкой.

— Ах, как хороша ты была! — сказал он, качая головой.— Как горяча, как прекрасна! Какой стан, какие глаза! Помнишь, как па тебя все заглядывались?

— Помню, сударь. Были и вы отменно хороши. И ведь это вам отдала я свою красоту, свою горячку. Как же можно такое забыть.

— А! Все проходит. Все забывается.

— Все проходит, да не все забывается.

— Уходи,— сказал он, отворачиваясь и подходя к окну.— Уходи, пожалуйста.

И, вынув платок и прижав его к глазам, скороговоркой прибавил:

— Лишь бы бог меня простил. А ты, видно, простила.

Она подошла к двери и приостановилась:

— Нет, Николай Алексеевич, не простила. Раз разговор наш коснулся до наших чувств, скажу прямо: простить я вас никогда не могла. Как не было у меня ничего дороже вас на свете в ту пору, так и потом не было. Оттого-то и простить мне вас нельзя. Ну да что вспоминать, мертвых с погоста не носят.

— Да, да, не к чему, прикажи подавать лошадей,— ответил он, отходя от окна уже со строгим лицом.— Одно тебе скажу: никогда я не был счастлив в жизни, не думай, пожалуйста. Извини, что, может быть, задеваю твое самолюбие, но скажу откровенно,— жену я без памяти любил. А изменила, бросила меня еще оскорбительней, чем я тебя. Сына обожал,— пока рос, каких только надежд на него не возлагал! А вышел негодный,

мот, паглец, без сердца, без чести, без совести... Впрочем, все это тоже самая обыкновенная, пошлая история. Будь здорова, милый друг. Думаю, что и я потерял в тебе самое дорогое, что имел в жизни.

Она подошла и поцеловала у него руку, он поцеловал у нее.

— Прикажи подавать...

Когда поехали дальше, он хмуро думал: «Да, как прелесть была! Волшебна прекрасна!» Со стыдом вспоминал свои последние слова и то, что поцеловал у ней руку, и тотчас стыдился своего стыда. «Разве неправда, что она дала мне лучшие минуты жизни?»

К закату проглынуло бледное солнце. Кучер гнал рысцой, все меняя черные колен, выбирая менее грязные, и тоже что-то думал. Наконец сказал с серьезной грубостью:

— А она, ваше превосходительство, все глядела в окно, как мы уезжали. Верно, давно изволите знать ее?

— Давно, Клим.

— Баба — ума палата. И все, говорят, богатеет. Деньги в рост даст.

— Это ничего не значит.

— Как не значит! Кому ж не хочется получше пожить! Если с совестью давать, худого мало. И она, говорят, справедлива на это. Но крута! Не отдал вовремя — пеняй на себя.

— Да, да, пеняй на себя... Погоняй, пожалуйста, как бы не опоздать вам к поезду...

Низкое солнце желто светило на пустые поля, лошади ровно шлепали по лужам. Он глядел на мелькавшие подковы, сдвинув черные брови, и думал:

«Да, пеняй на себя. Да, конечно, лучшие минуты. И не лучшие, а истинно волшебные! «Кругом шинковик алый цвел, стояли темных лип аллеи...» Но, боже мой, что же было бы дальше? Что, если бы я не бросил ее? Какой вздор! Эта самая Надежда не содержательница постоялой горницы, а моя жена, хозяйка моего петербургского дома, мать моих детей?»

И, закрывая глаза, качал головой.

20 октября 1938

КАВКАЗ

Приехав в Москву, я воровски остановился в незаметных номерах в переулке возле Арбата и жил томительно, затворяяком — от свидания до свидания с пею. Была она у меня за эти дни всего три раза и каждый раз входила поспешно со словами:

— Я только на одну минуту...

Она была бледна прекрасной бледностью любящей взволнованной женщины, голос у нее срыпался, и то, как она, бросив куда попало зоптик, спешила поднять вуальку и обнять меня, потрясало меня жалостью и восторгом.

— Мне кажется, — говорила она, — что он что-то подзревает, что он даже знает что-то, — может быть, прочитал какое-нибудь ваше письмо, подобрал ключ к моему столу... Я думаю, что он на все способен при его жестоком, самолюбивом характере. Раз он мне прямо сказал: «Я ни перед чем не останавлиюсь, защищая свою честь, честь мужа и офицера!» Теперь он почему-то следит буквально за каждым моим шагом, и, чтобы наш план удался, я должна быть страшно осторожна. Он уже согласен отпустить меня, так внушила я ему, что умру, если не увижу юга, моря, но, ради бога, будьте терпеливы!

План наш был дерзок: уехать в одном и том же поезде на кавказское побережье и прожить там в каком-нибудь совсем диком месте три-четыре недели. Я знал это побережье, жил когда-то некоторое время возле Сочи, — молодой, одинокий, — на всю жизнь запомнил те осенние вечера среди черных кипарисов, у холодных серых волн... И она бледнела, когда я говорил: «А теперь я там буду с тобой, в горных джунглях, у тропического моря...» В осуществление нашего плана мы не перили до последней минуты — слишком великим счастьем казалось нам это.

В Москве шли холодные дожди, похоже было на то, что лето уже прошло и не вернется, было грязно, сумрачно, улицы мокро и черно блестя раскрытыми зонтами прохожих и поднятыми, дрожащими на бегу верхами извозничьих пролеток. И был темный, отвратительный вечер, когда я ехал на вокзал, все внутри у меня замирало от тревоги и холода. По вокзалу и по платформе я пробежал бегом, нагнув на глаза шляпу и уткнув лицо в воротник пальто.

В маленьком купе первого класса, которое я заказал заранее, шумно лил дождь по крыше. Я немедленно опустил оконную занавеску и, как только носильщик, обтирая мокрую руку о свой белый фартук, взял на чай и вышел, на замок запер дверь. Потом чуть приоткрыл занавеску и замер, не сводя глаз с разнообразной толпы, взад и вперед сновавшей с вещами вдоль вагона в темном свете вокзальных фонарей. Мы условились, что я приеду на вокзал как можно раньше, а она как можно позже, чтобы мне как-нибудь не столкнуться с ней и с ним на платформе. Теперь им уже пора было быть. Я смотрел все напряженнее — их все не было. Ударил второй звонок — я похолодел от страха: опоздала или он в последнюю минуту вдруг не пустил ее! Но тотчас вслед за тем был поражен его высокой фигурой, офицерским картузом, узкой шипелью и рукой в замшевой перчатке, которой он, широко шагая, держал ее под руку. Я отшатнулся от окна, упал в угол дивана. Рядом был вагон второго класса — я мысленно видел, как он

хозяйственно вошел в него вместе с нею, оглянулся, — хорошо ли устроил ее посильщик, — и снял перчатку, снял картуз, целуясь с ней, крестя ее... Третий звонок оглушил меня, тронувшийся поезд поверг в оцепенение... Поезд расходился, мотался, качаясь, потом стал идти ровно, на всех парах... Кондуктору, который проводил ее ко мне и перенес ее вещи, я ледяной рукой сунул десятирублевую бумажку...

Войдя, она даже не поцеловала меня, только жалостно улыбнулась, садясь на диван и снимая, отцепляя от волос шляпку.

— Я совсем не могла обедать, — сказала она. — Я думала, что не выдержу эту страшную роль до конца. И ужасно хочу пить. Дай мне парзану, — сказала она в первый раз говоря мне «ты». — Я убеждена, что он поедет вслед за мною. Я дала ему два адреса, Геленджик и Гагры. Ну вот, он и будет дня через три-четыре в Геленджике... Но бог с ним, лучше смерть, чем эти муки...

Утром, когда я вышел в коридор, в нем было солнечно, душно, из уборных пахло мылом, одеколоном и всем, чем пахнет людный вагон утром. За мутными от пыли и нагретыми окнами шла ровная выжженная степь, видны были пыльные широкие дороги, арбы, влекомые волами, мелькали железнодорожные будки с капарсечными кругами подсолнечников и алыми мальвами в палисадниках... Дальше пошел безграничный простор пагих равнин с курганами и могильниками, нестерпимое сухое солнце, небо подобное пыльной туче, потом призраки первых гор на горизонте...

Из Геленджика и Гагр она послала ему по открытке, написала, что еще не знает, где останется.

Потом мы спустились вдоль берега к югу.

Мы нашли место первобытное, заросшее чинаровыми лесами, цветущими кустарниками, красным деревом, магнолиями, гаватами, среди которых поднимались верные пальмы, чернели кинарисы...

Я просыпался рано и, пока она спала, до чая, который мы пили часов в семь, шел по холмам в лесные чащи. Горячее солнце было уже сильно, чисто и радостно. В лесах лазурно светился, расходился и таял душистый туман, за дальними лесистыми вершинами сияла предвечная белизна снежных гор... Назад я проходил по знойному и пахнущему из труб горящим кизяком базару нашей деревни: там кипела торговля, было тесно от народа, от верховых лошадей и осликов, — по утрам съезжалось туда на базар множество разноплеменных горцев, — плавно ходили черкешенки в черных длинных до земли одеждах, в красных чуяках, с закутанными во что-то черное головами, с быстрыми птичьими взглядами, мелькавшими порой из этой траурной закутанности.

Потом мы уходили на берег, всегда совсем пустой, купались и лежали на солнце до самого завтрака. После завтрака — все жаренная на шкере рыба, белое вино, орехи и фрукты — в знойном сумраке нашей хижины под черепичной крышей тянулись через сквозные ставни горячие, веселые полосы света.

Когда жар спадал и мы открывали окно, часть моря, видная из него между кипарисов, стоявших на скате под нами, имела цвет фиалки и лежала так ровно, мирно, что, казалось, никогда не будет конца этому покою, этой красоте.

На закате часто громоздились за морем удивительные облака; они пылали так великолепно, что она порой ложилась на тахту, закрывала лицо газовым шарфом и плакала: еще две, три недели — и опять Москва!

Ночи были теплы и непроглядны, в черной тьме плыли, мерцали, светили топазовым светом огненные мухи, стеклянными колокольчиками звенели древесные лягушки. Когда глаз привыкал к темноте, выступали вверх звезды и гребни гор, над деревней вырисовывались деревья, которых мы не замечали днем. И всю ночь слышался оттуда, из духана, глухой стук в бара-

бан и горловой, заунывный, безнадежно-счастливый вопль как будто все одной и той же бесконечной песни.

Недалеко от нас, в прибрежном овраге, спускавшемся из лесу к морю, быстро прыгала по каменистому ложу мелкая, прозрачная речка. Как чудесно дробился, кипел ее блеск в тот таинственный час, когда из-за гор и лесов, точно какое-то дивное существо, пристально смотрела поднятая луна!

Иногда по почам надвигались с гор страшные тучи, шла злобная буря, в шумной гробовой черноте лесов то и дело разверзались волшебные зеленые бездны и раскалывались в небесных высотах допотопные удары грома. Тогда в лесах просыпались и мяукали орлята, ревел барс, таякали чекалки... Раз к нашему освещенному окну сбегалась целая стая их,— они всегда сбегаются в такие ночи к жилью,— мы открывали окно и смотрели на них сверху, а они стояли под блестящим ливнем и таякали, просились к нам... Она радостно плакала, глядя на них.

Он искал ее в Геленджике, в Гаграх, в Сочи. На другой день по приезде в Сочи, он купался утром в море, потом брился, надел чистое белье, белоснежный китель, позавтракал в своей гостинице на террасе ресторана, выпил бутылку шампанского, пил кофе с шартрезом, не спеша выкурил сигару. Возвратясь в свой номер, он лег на диван и выстрелил себе в виски из двух револьверов.

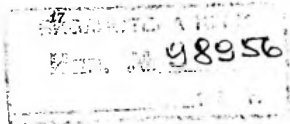
12 ноября 1937

БАЛЛАДА

Под большие зимние праздники был всегда, как баня, натоплен деревенский дом и являл картину странную, ибо состояла она из просторных и низких комнат, двери которых все были раскрыты напролет,— от прихожей до диванной, находившейся в самом конце дома,— и блистала в красных углах восковыми свечами и лампадами перед иконами.

Под эти праздники в доме всюду были гладкие дубовые полы, от толки скоро сохнувшие, а потом застилали их чистыми попонами, в наилучшем порядке расставляли по своим местам сдвинутые на время работы мебели, а в углах, перед золочеными и серебряными окладами икон, зажигали лампы и свечи, все же прочие огни тушили. К этому часу уже темно синела зимняя ночь за окнами и все расходились по своим спальным горницам. В доме водворялась тогда полная тишина, благоговейный и как бы ждущий чего-то покой, как пельз более подобающий ночному священному виду икон, озаренных скорбно и умирительно.

Зимой гостила иногда в усадьбе странница Машенька, седепьякая, сухенькая и дробная, как девочка. И вот только она одна во всем доме не спала в такие ночи: придя после ужина из людской в прихожую и сняв с своих маленьких ног в шерстяных чулках валенки, она



бесшумно обходила по мягким пополам все эти жаркие, таинственно освещенные комнаты, всюду становилась на колени, крестилась, кланялась перед иконами, а там опять шла в прихожую, садилась на черпый ларь, спокон веку стоявший в ней, и вполголоса читала молитвы, псалмы или же просто говорила сама с собой. Так и узнал я однажды про этого «божьего зверя, господя волка»: услышал, как молилась ему Машенька.

Мне не спалось, я вышел поздней ночью в зал, чтобы пройти в диванную и взять там что-нибудь почитать из книжных шкапов. Машенька не слыхала меня. Она что-то говорила, сидя в темной прихожей. Я, приостановясь, прислушался. Она наизусть читала псалмы.

— Услышь, господи, молитву мою и внемли воплю моему,— говорила она без всякого выражения.— Не будь безмолвен к слезам моим, ибо странник я у тебя и пришел на земле, как и все отцы мои...

Скажите богу: как страшен ты в делах твоих!

Живущий под кровом всевышнего под сенью всемогущего покоится... На аспиде и василиска наступишь, попрешь льва и дракона...

На последних словах она тихо, но твердо повысила голос, произнесла их убежденно: попрешь льва и дракона. Потом помолчала и, медленно вздохнув, сказала так, точно разговаривала с кем-то:

— Ибо его все звери в лесу и скот на тысяче гор...

Я заглянул в прихожую: она сидела на ларе, ровно спустив с него маленькие ноги в шерстяных чулках и крестом держа руки на груди. Она смотрела перед собой, не видя меня. Потом подняла глаза к потолку и раздельно промолвила:

— И ты, божий зверь, господень волк, моли за нас дариду небесную.

Я подошел и негромко сказал:

— Машенька, не бойся, это я.

Она уронила руки, встала, низко поклонилась:

— Здравствуйте, сударь. Нет-с, я не боюсь. Чего ж мне бояться теперь? Это в младости глупа была, всего боялась. Темпозрачный бес смущал.

— Сядь, пожалуйста,— сказал я.

— Никак нет,— ответила она.— Я постою-с.

Я положил руку на ее костлявое плечико с большой ключицей, заставил ее сесть и сел с ней рядом.

— Сиди, а то я уйду. Скажи, кому это ты молилась? Разве есть такой святой — господний полк?

Она олять хотела встать. Я опять удержал ее:

— Ах какая ты! А еще говоришь, что не боишься ничего! Я тебя спрашиваю: правда, что есть такой святой?

Она подумала. Потом серьезно ответила:

— Стало быть, есть, сударь. Есть же зверь Тигр-Ефрат. Раз в церкви написан, стало быть, есть. Я сама его видела-с.

— Как видела? Где? Когда?

— Давно, сударь, в незапамятный срок. А где — и сказать не умею: помню одно — мы туда трое суток ехали. Было там село Крутые Горы. Я и сама даль-пья, — может, изволили слышать: рязанская, — а тот край еще ниже будет, в Задонщине, и уж какая там местность грубая, тому и слова не найдешь. Там-то и была заглазная деревня наших князей, ихнего дедушки любимая, — целая, может, тысяча глиняных изб по голым буграм-косогорам, а на самой высокой горе, на венце ее, над рекой Каменной, господский дом, тоже голый весь, трехъярусный, и церковь желтая, колонная, а в той церкви этот самый божий волк: посередь, стало быть, плита чугунная над могилой князя, им зарезанного, а на правом столпе — он сам, этот волк, во весь свой рост и склад написанный: сидит в серой шубе на густом хвосту и весь тянется вверх, упирается передними лапами в землю — так и зѣрит в глаза: ожерелок седой, остистый, толстый, голова большая, остроухая, клыками оскаленная, глаза ярые, кровавые, округ же головы золотое сияние, как у святых и угодников. Страшно даже вспомнить такое диво дивное! До того живой сидит глядит, будто вот-вот на тебя кинется!

— Постой, Машенька, — сказал я, — я ничего не понимаю, зачем же и кто этого страшного волка в церкви написал? Говоришь — он зарезал князя: так почему ж он святой и зачем ему быть надо княжеской могилой? И как ты попала туда, в это ужасное село? Расскажи все толком.

И Машенька стала рассказывать:

— Попала я, сударь, туда по той причине, что была тогда крепостной девушкой, при доме наших кнзей при-служивала. Была я сирота, родитель мой, баяли, какой-то прохожий был,— беглый, скорее всего,— пезаконно оболь-стил мою матушку, да и скрылся бог весть куда, а матушка, родивши меня, вскорости скончалась. Ну и по-жалели меня господа, взяли с дворни в дом, как только сранилось мне тринадцать лет, и приставили па побе-гушки к молодой барыне, и я так чем-то полюбилась ей, что она меня ни па час не отпускала от своей ми-лости. Вот она-то и взяла меня с собой в войяж, как задумал молодой князь съездить с ней в свое дедовское наследие, в эту самую заглазную деревню, в Кру-тые Горы. Была та вотчина в давнем запустении, и безлюдни,— так и стоял дом забитый, заброшенный с самой смерти дедушки,— ну и захотели наши моло-дые господа провести ее. А какой страшной смертью помер дедушка, о том всем пам было ведомо по пре-данню.

В зале что-то слегка треснуло и потом упало, чуть стукнуло. Машенька скинула поги с ларя и побежала в зал: там уже пахло гарью от упавшей свечи. Она замя-ла еще чадивший свечной фитиль, затоптала затлеший ворс попоны и, вскочив на стул, опять зажгла свечу от прочих горевших свечей, воткнутих в серебряные лунки под иконой, и приладила ее в ту, из которой она вы-пала: перевернула ярким пламенем вниз, покапала в лунку потекшим, как горлчий мед, воском, потом вста-вила, ловко спила тонкими пальцами нагар с других свечей и опять соскочила на пол.

— Ишь как весело затеплилось,— сказала она, крес-таясь и глядя па ожившее золото свечных огоньков.— И какой дух-то церковный пошел!

Пахло сладким чадом, огоньки трепетали, лик обра-за древне глядел из-за них в пустом кружке серебря-ного оклада. В верхние, чистые стекла окон, густо об-мерзших снизу серым инеем, черпела почь и близко белели отягощенные снежными пластами лапы ветвей в палисаднике. Машенька посмотрела па них, еще раз перекрестилась и вошла опять в прихожую.

— Почивать вам пора, сударь,— сказала она, садясь на ларь и сдерживая зевок, прикрывая рот своей сухой ручкой.— Ночь-то уж грозная стала.

— Почему грозная?

— А потому, что потасниая, когда лишь алектор, петух, по-нашему, да еще ночный вран, сова, может не спать. Тут сам господь землю слушает, самые главные звезды начинают играть, проруби мерзнут по морям и рекам.

— А что-ж ты сама не спишь по ночам?

— И я, сударь, сколько надобно, сплю. Старому человеку много ли сна полагается? Как птице на ветке.

— Ну, ложись, только доскажи мне про этого волка.

— Да ведь это дело темное, давнее, сударь,— может, баллада одна.

— Как ты сказала?

— Баллада, сударь. Так-то все наши господа говорили, любили эти баллады читать. Я, бывало, слушаю — мороз по голове идет:

Воет сыр-бор за горою,
Метет в белом поле,
Стала выюга-непогода,
Заплала дорога...

До чего хорошо, господи!

— Чем хорошо, Машенька?

— Тем и хорошо-с, что сам не знаешь чем. Жутко.

— В старину, Машенька, все жутко было.

— Как сказать, сударь? Может, и правда, что жутко, да теперь-то все мило кажется. Ведь когда это было? Уж так-то давно,— все царства-государства прошли, все дубы от древности рассыпались, все могилки сровнялись с землей. Вот и это дело,— на дворе не его слово в слово сказывали, а правду ли? Дело это будто еще при великой царице было и будто оттого князь в Крутых Горах сидел, что она на него за что-то разгневалась, заточила его вдаль от себя, и он очень лют сделался — пуще всего на казнь рабов своих и на любовный блуд. Очень еще в силе был, а касательно наружности отлично красив и будто бы не было ни на дворе у него, ни по деревьям его ни одной девушки, какую бы он к себе,

в свою сераль, на первую ночь не требовал. Ну вот и впал он в самый страшный грех: польстился даже на новобрачную сына своего родного. Тот в Петербурге в царской военной службе был, а когда нашел себе суженую, получил от родителя разрешение на брак и женился, то, стало быть, приехал с новобрачной к нему на поклон, в эти самые Крутые Горы. А он и прельстился на нее. Про любовь, сударь, подаром поется:

Жар любви во всяком царстве,
Любится земной весь круг...

И какой же может быть грех, если хоть и старый человек мыслит о любимой, вздыхает о ней? Да ведь тут-то дело совсем иное было, тут вроде как родная дочь была, а он на блуд простирает алчные свои намерения.

— Ну и что же?

— А то, сударь, что, заметивши такой родительский умысел, решил молодой князь тайком бежать. Подготовил конюхов, задарил их всячески, приказал к полночи запрячь тройку порезвей, вышел, крадучись, как только заснул старый князь, из родного дома, вывел молодую жену — и был таков. Только старый князь и не думал спать: он еще с вечера все узнал от своих паушников и немедленно в погоню пошел. Ночь, мороз несказанный, аж кольца округ месяца лежат, снегов в степи выше роста человеческого, а ему все нипочем: летит, весь увешанный саблями и пистолетами, верхом на коне, рядом со своим любимым доезжачим, и уж видит впереди тройку с сыном. Кричит, как орел: стой, стрелять буду! А там не слушают, гонят тройку во весь дух и пыл. Стал тогда старый князь стрелять в лошадей и убил на скаку сперва одну пристяжную, правую, потом другую, левую, и уж хотел коренника свалить, да глянул вбок и видит: несется на него по следам, под месяцем, великий, небывалый волк, с глазами, как огонь, красными и с сильнейшим округ головы! Князь давай палить и в него, а он даже глазом не моргнул: вихрем нанесся на князя, прыгнул к нему на грудь — и в единый миг пересек ему кадык клыком.

— Ах, какие страсти, Машенька, — сказал я. — Истинно баллада!

— Грех, не смейтесь, сударь,— ответила она.— У бога всего много.

— Не спорю, Машенька. Только странно все-таки, что написали этого волка как раз возле могилы князя, зарезанного им.

— Его написали, сударь, по собственному желанию князя: его домой еще живого привезли, и он успел перед смертью покаяться и причастье принять, а в последний свой миг приказал написать того волка в церкви над своей могилой: в пазидание, стало быть, всему потомству княжескому. Кто ж его мог по тем временам ослушаться? Да и церковь-то была его домашняя, им самим строенная.

3 февраля 1938

СТЕПА

Перед вечером, по дороге в Чернь, молодого купца Красильщикова захватила ливень с грозой.

Он, в чуйке с поднятым воротом и глубоко надвинутом картузе, с которого текло струями, шибко ехал на беговых дрожках, сидя верхом возле самого щитка, крепко упершись ногами в высоких сапогах в переднюю ось, дергая мокрыми, застывшими руками мокрые, скользкие ремешные вожжи, торопя и без того резвую лошадь; слева от него, возле переднего колеса, крутившегося в целом фонтане жидкой грязи, ровно бежал, длинно высунув язык, коричневый пойнтер.

Сперва Красильщиков гнал по черпоземной колее вдоль шоссе, потом, когда она превратилась в сплошной серый поток с пузырями, свернул на шоссе, задребезжал по его мелкому щебню. Ни окрестных полей, ни неба уже давно не было видно за этим потоком, пахнущим огуречной свежестью и фосфором; перед глазами то и дело, точно знамение конца мира, ослепляющим рубиновым огнем извилисто жгла сверху вниз по великой стене туч резкая, ветвистая молния, а пад головой с треском летел шипящий хвост, разрывавшийся след затем необыкновенными по своей сокрушающей силе ударами. Лошадь каждый раз вся дергалась от них

вперед, прижимая уши, собака шла уже скоком... Красильщиков рос и учился в Москве, кончил там университет, по, когда приезжал летом в свою тульскую усадьбу, похожую на богатую дачу, любил чувствовать себя помещиком-купцом, вышедшим из мужиков, пил лафит и курил из золотого портсигара, а носил смазные сапоги, косоворотку и поддевку, гордился своей русской статью, и теперь, в ливне и грохоте, чувствуя, как у него холодно льет с козырька и носа, полон был энергичного удовольствия деревенской жизни. В это лето он часто вспоминал лето в прошлом году, когда он, из-за связи с одной известной актрисой, промучился в Москве до самого июля, до отъезда ее в Кисловодск: безделье, жара, горячая ночь и зеленый дым от пылающего в железных чанах асфальта в развороченных улицах, завтраки в Троицком пизке с актерами Малого театра, тоже собиравшимися на Кавказ, потом сидение в кофейне Трамблэ, вечером ожидание ее у себя в квартире с мебелью в чехлах, с люстрами и картинами в кисее, с запахом нафталина... Летние московские вечера бесконечны, темнеет только к одиннадцати, и вот ждешь, ждешь — ее все нет. Потом наконец звонок — и она, во всей своей летней нарядности, и ее задышающий голос: «Прости, пожалуйста, весь день пластом лежала от головной боли, совсем завяла твою чайная роза, так спешила, что лпхача взяла, голодна ужасно...»

Когда ливень и сотрлсающнися перебаты грома стали стихать, отходить и кругом стало проясняться, впереди, влево от шоссе, показался знакомый постоянный двор старика-вдовца, мещанина Проина. До города оставалось еще двадцать верст, — надо переодить, подумал Красильщиков, лошадь вся в мыле и еще неизвестно, что будет опять, ишь какая чернота в ту сторону и все еще загорается... На переезде к постоянному двору он на рысках свернул и осадил возле деревянного крыльца.

— Дед! — громко крикнул он. — Принимай гостя!

Но окна в бревенчатом доме под железной ржавой крышей были темны, на крик никто не отозвался. Красильщиков замотал на щиток вожжи, поднялся на крыльцо

послед за вскочившей туда грязной и мокрой собакой, — вид у нее был бешеный, глаза блестели ярко и бессмысленно, — сдвинул с потного лба картуз, снял отяжелевшую от воды чуйку, кинул ее на перила крыльца и, оставшись в одной поддевке с ремненным поясом и серебряном наборе, вытер пестрое от грязных брызг лицо и стал счищать кнутовищем грязь с голенищ. Дверь в сенцы была отворена, но чувствовалось, что дом пуст. Верно, скотину убирают, подумал он и, разогнувшись, посмотрел в поле: не ехать ли дальше? Вечерний воздух был неподвижен и сыр, с разных сторон бодро били вдали перепела в отягченных влагой хлебах, дождь перестал, но надвигалась ночь, небо и земля угрюмо темнели, за шоссе, за низкой чернильной гридой леса, еще гуще и мрачней чернела туча, широко и зловеще вспыхивало красное пламя — и Красильщиков шагнул в сепиды, нашарил в темноте дверь в горницу. Но горница была темна и тиха, только где-то постукивали рублевые часы на стене. Он хлопнул дверью, повернул налево, нашарил и отворил другую, и избу: опять ничего, одни мухи сонно и недовольно загудели в жаркой темноте на потолке.

— Как подошли! — вслух сказал он — и тотчас услышал скорый и певучий, полудетский голос соскользнувший в темноте с пар Степы, дочери хозяина:

— Это вы, Василь Ликсент? А я тут одна, стряпуха поругалась с панашей и ушла домой, а папаша взяли работника и уехали по делу в город, вряд ли и вернутся нынче... Напугалась грозы до смерти, а тут, слышу, кто-й-то подъехал, еще пуще испугалась... Здравствуйте, извините меня, пожалуйста...

Красильщиков чиркнул спичкой, осветил ее черные глаза и смуглое личико:

— Здравствуй, дурочка. Я тоже еду в город, да, видишь, что делается, засхал переждать... А ты, значит, думала, разбойники подъехали?

Спичка стала догорать, но еще видно было это смущенно улыбающееся личико, коралловое ожерелье на шейке, маленькие груди под желтеньким ситцевым платком... Она была чуть не вдвое меньше его ростом и казалась совсем девочкой.

— Я сейчас лампу зажгу,— поспешно заговорила она, смутясь еще больше от зоркого взгляда Красильщикова, и кинулась к лампочке над столом.— Вас сам бог послал, что бы я тут делала одна,— певуче говорила она, поднявшись на цыпочки и неловко вытягивая из зубчатой решетки лампочки, из ее жестяного кружка, стекло.

Красильщиков зажег другую спичку, глядя на ее вытянувшуюся и изогнувшуюся фигурку.

— погоди, не надо,— вдруг сказал он, бросая спичку, и взял ее за талию.— Пстой, повернись-ка на минутку ко мне...

Она со страхом глянула на него через плечо, уронила руки и повернулась. Он притянул ее к себе,— она не вырывалась, только дико и удивленно откинула голову назад. Он сверху, прямо и твердо заглянул сквозь сумрак в глаза ей и засмеялся:

— Еще пуще испугалась?

— Василь Ликсич... — пробормотала она умоляюще и потянулась из его рук.

— погоди. Разве я тебе не правлюсь? Ведь знаю, всегда рада, когда я заезжаю.

— Лучше вас на свете нету,— выговорила она тихо и горячо.

— Пу вот видишь...

Он длительно поцеловал ее в губы, и руки его скользнули ниже.

— Василь Ликсич... за ради Христа... Вы забыли, ваша лошадь так и осталась под крыльцом... папаша заедут... Ах, не надо!

Через полчаса он вышел из избы, отвел лошадь во двор, поставил ее под навес, снял с нее уздечку, задал ей мокрой накошенной травы из телеги, стоявшей посреди двора, и вернулся, глядя на спокойные звезды и расчистившемся небе. В жаркую темноту тихой избы все еще заглядывали с разных сторон слабые, далекие зарницы. Она лежала на нарах, вся сжавшись, уткнув голову в грудь, горячо плакавшись от ужаса, восторга и внезапности того, что случилось. Он поцеловал ее мокрую, соленую от слез щеку, лег навзничь и положил ее голову к себе на плечо, правой рукой держа папиросу. Она

лежала смирно, молча, оп, куря, ласково и рассеянно приглаживая левой рукой ее волосы, щекотавшие ему подбородок... Потом она сразу заснула. Он лежал, глядя в темноту, и самодовольно усмехался: «А папаша в город уехали...» Вот тебе и уехали! Скверно, он все сразу поймет — такой сухенький и быстрый старичок в серенькой поддепочке, борода белоснежная, а густые брови еще совсем черные, взгляд необыкновенно живой, говорит, когда пьян, без умолку, а все видит насквозь...

Он без сна слежал до того часа, когда темнота избы стала светлеть посередине, между потолком и полом. Повернув голову, он видел зеленовато белесующий за окнами восток и уже различал в сумраке угла над столом большой образ угодника в церковном облачении, его поднятую благословляющую руку и непреклонно грозный взгляд. Он посмотрел на нес: лежит, все так же свернувшись, поджав ноги, все забыла во сне! Милая и жалкая девочка...

Когда в небе стало совсем светло и петух на разные голоса стал орать за стеной, он сделал движение подняться. Она вскочила и, полусидя боком, с расстегнутой грудью, со спутанными волосами, уставилась на него ничего не понимающими глазами.

— Степа,— сказал он осторожно.— Мне пора.

— Уж едете? — прошептала она бессмысленно.

И вдруг пришла в себя и крест-накрест ударила себя в грудь руками:

— Куда ж вы едете? Как же я теперь буду без вас? Что ж мне теперь делать?

— Степа, я опять скоро приеду...

— Да ведь папаша будут дома,— как же я вас увижу! Я бы в лес за шоссе пришла, да как же мне отлучиться из дому?

Он, стиснув зубы, опрокинул ее навзничь. Она широко разбросила руки, воскликнула в сладком, как бы предсмертном отчаянии: «Ах!»

Потом он стоял перед парами, уже в поддевке, в картузе, с кнутом в руке, спиной к окнам, к густому блеску только что показавшегося солнца, а она стояла на нарах на коленях и, рыдая, по-детски и некрасиво раскрывая рот, отрывисто выговаривала:

— Василь Ликсент... за ради Христа... за ради самого царя небесного, возьмите меня замуж! Я вам самой последней рабой буду! У порога вашего буду спать— возьмите! Я бы и так к вам ушла, да кто ж меня так пустит! Василь Ликсент...

— Замолчи,— строго сказал Красильщиков.— На днях приеду к твоему отцу и скажу, что женюсь на тебе. Слышала?

Она села на ноги, сразу оборвав рыдания, тупо раскрыла мокрые лучистые глаза:

— Правда?

— Конечно, правда.

— Мне на Крещение уж шестнадцатый пошел,— поспешно сказала она.

— Ну вот, значит, через полгода и венчаться можно...

Воротясь домой, он тотчас стал собираться и к вечеру уехал на тройке на железную дорогу. Через два дня он был уже в Кисловодске.

5 октября 1938

МУЗА

Я был тогда уже не первой молодости, но вздумал учиться живописи,— у меня всегда была страсть к пей,— и, бросив свое имянно в Тамбовской губернии, провел зиму в Москве: брал уроки у одного бездарного, но довольно известного художника, неопрятного толстяка, отлично усвоившего себе все, что полагается: длинные волосы, крупными сальными кудрями закинутые назад, трубка в зубах, бархатная гранатовая куртка, на башмаках грязно-серые гетры,— я их особенно недоволил,— небрежность в обращении, снисходительное поглядывание прищуренными глазами на работу ученика и это как бы про себя:

— Заплатно, заплатно... Несомненные успехи...

Жил я на Арбате, рядом с рестораном «Прага», в номерах «Столица». Днем работал у художника и дома, вечера нередко проводил в дешевых ресторанах с разными повыми знакомыми из богемы, и молодыми и потрепанными, но одинаково приверженными бильярду и ракам с пивом... Неприятно и скучно я жил! Этот женоподобный, нечистоплотный художник, его «артистически» запущенная, заваленная всякой пыльной бутафорией мастерская, эта сумрачная «Столица»... В памяти осталось: непрестанно валит за окнами снег, глухо гремят, звонят по Арбату конки, вечером кисло воплет пивом

и газом в тускло освещенном ресторане... Не понимаю, почему я вел такое жалкое существование,— был я тогда далеко не беден.

Но вот однажды в марте, когда я сидел дома, работая карандашами, и в отворенные форточки двойных рам несло уже не зимней сыростью мокрого снега и дождя, не по-зимнему докали по мостовой подковы и как будто музыкальные звонили конки, кто-то постучал в дверь моей прихожей. Я крикнул: кто там? — по ответа не последовало. Я подождал, опять крикнул — опять молчание, потом новый стук. Я встал, отворил: у порога стоит высокая девушка в серой зимней шляпке, в сером прямом пальто, в серых ботинках, смотрит и упор, глаза цвета желудя, на длинных ресницах, на лице и на волосах под шляпкой блестят капли дождя и снега; смотрит и говорит:

— Я консерваторка, Муза Граф. Слышала, что вы интересный человек, и пришла познакомиться. Ничего не имеете против?

Довольно удивленный, я ответил, конечно, любезностью:

— Очень польщен, милости прошу. Только должен предупредить, что слухи, дошедшие до вас, вряд ли правдивы: ничего интересного во мне, кажется, нет.

— Во всяком случае, дайте мне войти, не держите меня перед дверью,— сказала она, все так же прямо смотря на меня.— Польщены, так принимайте.

И, войдя, стала, как дома, снимать перед моим серосеребристым, местами почерневшим зеркалом шляпку, поправлять ржавые волосы, скинула и бросила на стул пальто, оставшись в клетчатом фланелевом платье, села на диван, шмыгал мокрым от снега и дождя носом, и приказала:

— Снимите с меня ботинки и дайте из пальто носовой платок.

Я подал платок, она утерлась и протянула мне ноги.

— Я вас видела вчера на концерте Шора,— безразлично сказала она.

Сдерживал глупую улыбку удовольствия и недоумения,— что за странная гостья! — я покорно снял один за другим ботинки. От нее еще свежо пахло воздухом, и

меня пощипывал этот запах, волновало соединение ее мужественности со всем тем женственно-молодым, что было в ее лице, в прямых глазах, в крупной и красивой руке,— во всем, что оглянул и почувствовал я, стаскивая ботинки из-под ее платья, под которым округло и полностью лежали ее колени, видя выпуклые икры в топких серых чулках и удлиненные ступни в открытых лаковых туфлях.

Затем она удобно усадась на диване, собиравшись, видимо, уходить не скоро. Не зная, что говорить, я стал расспрашивать, от кого и что она слышала про меня и кто она, где и с кем живет. Она ответила.

— От кого и что слышала, неважно. Пошла больше потому, что увидела па концерте. Вы довольно красивы. А я дочь доктора, живу от вас недалеко, на Пречистенском бульваре.

Говорила она как-то неожиданно и кратко. Я, опять не зная, что сказать, спросил:

— Чаю хотите?

— Хочу,— сказала она.— И прикажите, если у вас есть деньги, купить у Белова яблок ранет,— тут, па Арбате. Только поторопите коридорного, я нетерпелива.

— А кажется такой спокойной.

— Мало ли что кажется...

Когда коридорный принес самовар и мешочек с яблоками, она заварила чай, перетерла чашки, ложечки... А съевши яблоко и выпив чашку чаю, глубже подвинулась на диване и похлопала рукой возле себя:

— Теперь садьте ко мне.

Я сел, она обняла меня, не спеша поцеловала в губы, отстранилась, посмотрела на, как будто убедившись, что я достоин того, закрыла глаза и опять поцеловала — старательно, долго.

— Ну вот,— сказала она как будто облегченно.— Больше пока ничего нельзя. Послезавтра.

В номере было уже совсем темно,— только печальный полусвет от фонарей с улицы. Что я чувствовал, легко себе представить. Откуда вдруг такое счастье! Молодая, сильная, вкус и форма губ необыкновенные... Я как во сне слышал однообразный звон конок, цоканье копыт...

— Я хочу послезавтра пообедать с вами в «Праге», — сказала она. — Никогда там не была и вообще оччень неопытна. Воображаю, что вы обо мне думаете. А на самом деле вы моя первая любовь.

— Любовь?

— А как же это иначе называется?

Ученье свое я, конечно, вскоре бросил, она свое продолжала кое-как. Мы не расставались, жили, как молодые жены, ходили по картинным галереям, по выставкам, слушали концерты и даже зачем-то публичные лекции... В мае я переселился, по ее желанию, в старинную подмосковную усадьбу, где были построены и сдавались небольшие дачи, и она стала ездить ко мне, возвращаясь в Москву в час ночи. Никак не ожидал я и этого — дачи под Москвой: никогда еще не жил дачником, без всякого дела, в усадьбе, столь не похожей на наши степные усадьбы, и в таком климате.

Все время дожди, кругом сосновые леса. То и дело в яркой синеве над ними скопляются белые облака, высоко перекатывается гром, потом начинает сыпать сквозь солнце блестящий дождь, быстро превращающийся от зноя в душистый сосновый пар... Все мокро, жирно, зеркально... В парке усадьбы деревья были так велики, что дачи, кое-где построенные в нем, казались под ними малы, как жилища под деревьями в тропических странах. Пруд стоял громадным черным зеркалом, наполовину затянута был зеленой ряской... Я жил на окраине парка, в лесу. Бревенчатая дача моя была не совсем достроена, — неконопаченные стены, нестроганные полы, печи без заслонок, мебели почти никакой. И от постоянной сырости мои сапоги, валявшиеся под кроватью, обросли бархатом плесени.

Темнело по вечерам только к полуночи: стоит и стоит полусвет запада по неподвижным, тихим лесам. В лунные ночи этот полусвет странно мешался с лунным светом, тоже неподвижным, заколдованным. И по тому спокойствию, что царило всюду, по чистоте неба и воздуха, все казалось, что дождя уже больше не будет. Но вот я засыпал, проводив ее на станцию, — и вдруг слышал: на крышу опять рушится ливень с громовыми раскатами, кругом тьма и в отвес падающие молнии...

Утром на лиловой земле в сырых аллеях пестрели тапи и ослепительные пятна солнца, цокали птички, пазыпаемые мухоловками, хрипло трещали дрозды. К полудню опять парило, находили облака и начинал сыпать дождь. Перед закатом становилось ясно, на моих бревенчатых ступах дрожала, падала в окна сквозь листву, хрустально-золотая сетка низкого солнца. Тут я шел на станцию встречать ее. Подходил поезд, вываливались на платформу несметные дачники, пахло каменным углем паровоза и сырой свежестью леса, показывалась в толпе она, с сеткой, обремененной пакетами закусок, фруктами, бутылкой мадеры... Мы дружно обедали глаз на глаз. Перед ее поздним отездом бродили по парку. Она становилась сомпамбулична, шла, кляпя голову на мое плечо. Черный пруд, вековые деревья, уходящие в звездное небо... Заколдованно-светлая ночь, бесконечно-безмолвная, с бесконечно-длинными тенями деревьев на серебряных полянах, похожих на озера.

В июне она уехала со мной в мою деревню, — не венчалась, стала жить со мной, как жена, стала хозяйствовать. Долгую осень провела не скучая, в будничных заботах, за чтением. Из соседей чаще всего бывал у нас некто Завистовский, одинокий, бедный помещик, живший от нас верстах в двух, щуплый, рыженький, несмелый, недалекий — и педурной музыкант. Зимой он стал появляться у нас чуть не каждый вечер. Я знал его с детства, теперь же так привык к нему, что вечер без него был мне странен. Мы играли с ним в шашки или же он играл с ней в четыре руки на рояли.

Перед Рождеством я как-то поехал в город. Возвратился уже при луне. И, войдя в дом, нигде не нашел ее. Сел за самовар один.

— А где барыня, Дуся? Гулять ушла?

— Не знаю-с. Их пету дома с самого завтрака.

— Оделись и ушли, — сумрачно сказала, проходя по столовой и не поднимая головы, моя старая нянька.

«Верно, к Завистовскому пошла, — подумал я, — верно, скоро придет вместе с ним — уже семь часов...» И я пошел и прилег в кабинете и внезапно заснул — весь день мерз в дороге. И так же внезапно очнулся через час — с ясной и дикой мыслью: «Да ведь она броси-

ла меня! Наняла па деревне мужика и уехала на станцию, в Москву,— от нас все станется! Но, может быть, вернулась?» Прошел по дому — нет, не вернулась. Стыдно прислуги...

Часов в десять, не зная, что делать, я надел полушубок, взял зачем-то ружье и пошел по большой дороге к Завистовскому, думая: «Как парочно, и он не пришел слыно, а у меня еще целая страшная ночь впереди! Неужели правда уехала, бросила? Да нет, не может быть!» Иду, скрипя по наезженному среди сиегов пути, блестя слева снежные поля под низкой, бедной луной... Свернул с большой дороги, пошел к жалкой усадьбе Завистовского: аллея голых деревьев, ведущая к ней по полю, потом въезд по двор, слева старьй, нищий дом, в доме темно... Поднялся на обледепелое крыльцо, с трудом отворил тяжелую дверь в клоках обивки,— в прихожей краснеет открытая прогоревшая печка, тепло и темнота... Но темно и в зале.

— Викентий Викентич!

И он бесшумно, в валенках, появился на пороге кабинета, освещенного тоже только луной в тройное окно.

— Ах, это вы... Входите, входите, пожалуйста... А я, как видите, сумерничая, коротаю вечер без огня..

Я вошел и сел на бугристый диван.

— Представьте себе, Муза куда-то исчезла...

Он промолчал. Потом почти неслышным голосом:

— Да, да, я вас понимаю...

— То есть что вы понимаете?

И тотчас, тоже бесшумно, тоже в валенках, с шалью на плечах, вышла из спальни, прилегавшей к кабинету, Муза.

— Вы с ружьем,— сказала она.— Если хотите стрелять, то стреляйте не в него, а в меня.

И села на другой диван, напротив.

Я посмотрел на ее валенки, на колени под серой юбкой,— все хорошо было видно в золотистом свете, падавшем из окна,— хотел крикнуть: «Я не могу жить без тебя, за одни эти колени, за юбку, за валенки готов отдать жизнь!»

— Дело ясно и конечно,— сказала она,— Слены бесполезны,

— Вы чудовищно жестоки,— с трудом выговорил я.

— Дай мне папиросу,— сказала она Завистовскому.

Он трусливо сунулся к ней, протянул портсигар, стал по карманам шарить спичек...

— Вы со мной говорите уже на «вы»,— задыхаясь, сказал я,— вы могли бы хоть при мне не говорить со мной на «ты».

— Почему? — спросила она, подняв брови, держа папиросу в руке.

Сердце у меня колотилось уже в самом горле, било в виски. Я поднялся и, шатаясь, пошел вон.

17 октября 1938

ПОЗДНИЙ ЧАС

Ах, как давно я не был там, сказал я себе. С девятнадцати лет. Жил когда-то в России, чувствовал ее своей, имел полную свободу разъезжать куда угодно, и не велик был труд проехать каких-нибудь триста верст. А все не ехал, все откладывал. И шли и проходили годы, десятилетия. Но вот уже нельзя больше откладывать: или теперь, или никогда. Надо пользоваться единственным и последним случаем, благо час поздний и никто не встретит меня.

И я пошел по мосту через реку, далеко видя все вокруг в месячном свете июльской ночи.

Мост был такой знакомый, прежний, точно я его видел вчера: грубо-древянный, горбатый и как будто даже не каменный, а какой-то окаменевший от времени до вечной несокрушимости, — гимназистом я думал, что он был еще при Батые. Однако о древности города говорят только кое-какие следы городских стен на обрыве под собором да этот мост. Все прочее старо, провинциально, не более. Одно было странно, одно указывало, что все-таки кое-что изменилось на свете с тех пор, когда я был мальчиком, юпошей: прежде река была не судоходная, а теперь ее, верно, углубили, расчистили; месяц был слева от меня, довольно далеко над рекой, и в его зыб-

ком свете и в мерцающем, дрожащем блеске воды белел колесный пароход, который казался пустым, — так молчалив он был, — хотя все его иллюминаторы были освещены, похожи на неподвижные золотые глаза и все отражались в воде струистыми золотыми столбами: пароход точно на них и стоял. Это было и в Ярославле, и в Суэцком канале, и на Ниле. В Париже почти сырые, темные, розоватое мглистое зарево на непроглядном небе, Сена течет под мостами черной смолой, но под ними тоже висят струистые столбы отражений от фонарей на мостах, только они трехцветные: белое, синее и красное — русские национальные флаги. Тут на мосту фонарей нет, и он сухой и пыльный. А впереди, на взгорье, темнеет садами город, над садами торчит пожарная каланча. Боже мой, какое это было сказанное счастье! Это по время ночного пожара я впервые поцеловал твою руку и ты сказала в ответ мою — я тебе никогда не забуду этого тайного согласия. Вся улица черпала от народа и зловещем, необычном озарении. Я был у нас в гостях, когда вдруг забили набат и все бросились к окнам, а потом за калитку. Горело далеко, за рекой, но страшно жарко, жадно, спешно. Там густо валили черно-багровым рупом клубы дыма, высоко вырывались из них кулачные полотнища пламени, поблизости от нас они, дрожа, медно отсвечивали в куполе Михаила-архангела. И в тесноте, в толпе, среди тревожного, то жалостливого, то радостного говора отовсюду сбежавшегося простонародья, я слышал запах твоих девичьих волос, шени, холстинкового платья — и вот вдруг решился, взял, весь замирая, твою руку...

За мостом я поднялся на взгорье, пошел в город мощеной дорогой.

В городе не было нигде ни единого огня, ни одной живой души. Все было нemo и просторно, спокойно и печально — печалью русской степной ночи, спящего степного города. Одни сады чуть слышно, осторожно трепетали листвою от ровного тока слабого июльского ветра, который тянул откуда-то с полей, ласково дул на меня. Я шел — большой месяц тоже шел, катясь и сияя в черноте ветвей зеркальным кругом; широкие улицы лежали в тени — только в домах направо, до которых

теперь не достигала, освещены были белые ступы и траурным глянцем переливались черные стекла; а я шел в тени, ступал по плитистому тротуару, — он сквозисто устал был черными шелковыми кружевами. У нее было такое вечернее платье, очень нарядное, длинное и стройное. Оно необыкновенно шло к ее тонкому стану и черным молодым глазам. Она в нем была таинственна и оскорбительно не обращала на меня внимания. Где это было? В гостях у кого?

Цель моя состояла в том, чтобы побывать на Старой улице. И я мог пройти туда другим, ближним путем. Но я оттого свернул в эти просторные улицы в садах, что хотел взглянуть на гимназию. И, дойдя до нее, опять подивился: и тут все осталось таким, как полвека назад; камешная ограда, каменный двор, большое каменное здание во дворе — все так же казенно, скучно, как было когда-то, при мне. Я помедлил у ворот, хотел вызвать в себе грусть, жалость воспоминаний — и не мог: да, входил в эти ворота сперва стриженный под гребенку первоклассник в новеньком синем картузе с серебряными пальмочками над козырьком и в новой шинельке с серебряными пуговицами, потом худой юноша в серой куртке и в щегольских панталонах со штрипками; но разве это я?

Старая улица показалась мне только немного уже, чем казалась прежде. Все прочее было неизменно. Ухабистая мостовая, ни одного деревца, по обе стороны запыленные купеческие дома, тротуары тоже ухабистые, такие, что лучше идти серединой улицы, в полном месячном свете... И ночь была почти такая же, как та. Только та была в конце августа, когда весь город пахнет лблоками, которые горами лежат на базарах, и так тепло, что наслаждением было идти в одной косоворотке, подпоясанной кавказским ремешком... Можно ли помнить эту ночь где-то там, будто бы в небе?

Я все-таки не решился дойти до вашего дома. И он, верно, не изменился, но тем страшнее увидеть его. Какие-то чужие, новые люди живут в нем теперь. Твой отец, твои мать, твой брат — все пережили тебя, молодую, но в свой срок тоже умерли. Да и у меня все умерло; и не только родные, но и многие, многие, с кем

я, в дружбе или приятельстве, начинал жизнь, давно ли начинали и они, уверенные, что ей и конца не будет, а все началось, протекло и завершилось на моих глазах, — так быстро и на моих глазах! И я сел на тумбу возле какого-то купеческого дома, неприступного за своими замками и воротами, и стал думать, какой она была в те далекие, наши с ней времена: просто убранные темные волосы, ясный взгляд, легкий загар юного лица, легкое летнее платье, под которым непорочность, крепость и свобода молодого тела... Это было начало нашей любви, время еще ничем не омраченного счастья, близости, доверчивости, восторженной нежности, радости...

Есть нечто совсем особое в теплых и светлых почках русских уездных городов в конце лета. Какой мир, какое благополучие! Бродит по ночному веселому городу старик с колотушкой, но только для собственного удовольствия: нечего стеречь, спите спокойно, добрые люди, вас стережет божье благоволение, это высокое сияющее небо, на которое беззаботно поглядывает старик, бродя по нагретой за день мостовой и только изредка, для забавы, запуская колотушкой плясовую трель. И вот в такую ночь, в тот поздний час, когда в городе не спал только он один, ты ждала меня в нашем уже подсохшем к осени саду, и я тайком проскользнул в него: тихо отворил калитку, заранее отпертую тобой, тихо и быстро пробежал по двору и за сараем в глубине двора вошел в нестранный сумрак сада, где слабо белело вдали, на скамье под яблонями, твое платье, и, быстро подойдя, с радостным испугом встретил блеск твоих ждущих глаз.

И мы сидели, сидели в каком-то недоумении счастья. Одной рукой я обнимал тебя, слыша биение твоего сердца, в другой держал твою руку, чувствуя через нее всю тебя. И было уже так поздно, что даже и колотушки не было слышно, — лег где-нибудь на скамье и задремал с трубкой в зубах старик, греясь в лунном свете. Когда я глядел вправо, я видел, как высоко и безгрешно сияет над двором месяц и рыбьим блеском блестит крыша дома. Когда глядел влево, видел заросшую сухими травами дорожку, пропадавшую под другими яблонями, а за ними низко выглядывавшую из-за какого-то друго-

го сада одинокую зеленую звезду, теплившуюся бесстрастно и вместе с тем выжидательно, что-то беззвучного-ворнявую. Но и двор и звезду я видел только мельком — одно было в мире: легкий сумрак и лучистое мерцание твоих глаз в сумраке.

А потом ты проводила меня до калитки, и я сказал: — Если есть будущая жизнь и мы встретимся в ней, я стану там на колени и поцелую твои ноги за все, что ты дала мне на земле.

Я вышел на середину светлой улицы и пошел на свое подворье. Обернувшись, видел, что все еще белеет в калитке.

Тенерь, подпавшись с тумбы, я пошел пазад тем же путем, каким пришел. Нет, у меня была, кроме Старой улицы, и другая цель, в которой мне было страшно признаться себе, но исполнение которой, я знал, было неминуемо. И я пошел — взглянуть и уйти уже навсегда.

Дорога была опять знакома. Все прямо, потом влево, по базару, а с базара — по Монастырской — к выезду из города.

Базар как бы другой город в городе. Очень пахучие ряды. В Обжорном ряду, под навесами над длинными столами и скамьями, сумрачно. В Скобином висит на цепи над серединой прохода икона большеглазого Спаса в ржавом окладе. В Мучном по утрам всегда бегали, клевали по мостовой целой стайей голуби. Идешь в гимназию — сколько их! И все толстые, с радужными зобами — клюют и бегут, женственно, щёпотко виляясь, покачиваясь, однообразно подергивая головками, будто не замечая тебя: взлетают, свистя крыльями, только тогда, когда чуть не наступишь на какого-нибудь из них. А ночью тут быстро и озабоченно носились крупные темные крысы, гадкие и страшные.

Монастырская улица — пролет в поля и дорога: одним из города домой, в деревню, другим — в город мертвых. В Париже двое суток выделяется дом номер такой-то на такой-то улице изо всех прочих домов чумной бу-тафорией подъезда, его траурного с серебром обрамления, двое суток лежит в подъезде на траурном покрове столпика лист бумаги в траурной кайме — на нем расписываются в знак сочувствия нежливые посетители;

потом, в некий последний срок, останавливается у подъезда огромная, с траурным балдахином, колесница, дерево которой черно-смолисто, как чумной гроб, закругленно вырезанные полы балдахина свидетельствуют о небесах крупными белыми звездами, а углы крыши увенчаны кудреватыми черными султанами — перьями страуса из пренеподней; в колесницу впряжены рослые чудовища в угольных рогатых поповах с белыми кольцами глазниц; на бесконечно высоких козлах сидит и ждет выноса старый пропойца, тоже символически наряженный в бутфорский гробный мундир и такую же треугольную шляпу, внутренне, должно быть, всегда ухмыляющийся на эти торжественные слова: *Requiem aeternam dona eis, Domine, et lux perpetua luceat eis*¹. — Тут все другое. Дует с полей по Монастырской ветерок, и несут навстречу ему на полотенцах открытый гроб, покачивается рисовое лицо с пестрым венчиком на лбу, над закрытыми выпуклыми веками. Так несли и ее.

На выезде, слева от шоссе, монастырь времен царя Алексея Михайловича, крепостные, всегда закрытые ворота и крепостные стены, из-за которых блещат золоченые репы собора. Дальше, совсем в поле, очень пространный квадрат других стен, по невысоких: в них заключена целая роща, разбитая пересекающимися длинными проспектами, по сторонам которых, под старыми вязами, липами и березами, все усеяно разнообразными крестами и памятниками. Тут ворота были раскрыты настуже, и я увидел главный проспект, ровный, бесконечный. Я несмело снял шляпу и вошел. Как поздно и как пемо! Месяц стоял за деревьями уже низко, но все вокруг, насколько хватал глаз, было еще ясно видно. Все пространство этой рощи мертвых, крестов и памятников ее узорно пестрело в прозрачной тени. Ветер стих к предрассветному часу — светлые и темные пятна, всё пестрившие под деревьями, спали. В дали рощи, из-за кладбищенской церкви, вдруг что-то мелькнуло и с бешеной быстротой, темным клубком понеслось на меня — я, вне себя, шарахнулся в сторону, вся голова у меня сразу

¹ Дай им вечный покой, господи, и да светит им вечный свет (лат.).

оледенела и стянулась, сердце рванулось и замерло... Что это было? Пронеслось и скрылось. Но сердце в груди так и осталось стоять. И так, с остановившимся сердцем, несся его в себе, как тяжкую чашу, я двинулся дальше. Я знал, куда надо идти, я шел все прямо по проспекту — и в самом конце его, уже в нескольких шагах от задней стены, остановился: передо мной, на ровном месте, среди сухих трав, одиноко лежал удлиненный и довольно узкий камень, возглавием к стене. Из-за стены же дивным самоцветом глядела невысокая зеленая звезда, лучистая, как та, прежняя, но немая, неподвижная.

19 октября 1938

РУСЯ

В одиннадцатом часу вечера скорый поезд Москва — Севастополь остановился на маленькой станции за Подольском, где ему остановки не полагалось, и чего-то ждал на втором пути. В поезде, к опущенному окну вагона первого класса, подошли господин и дама. Через рельсы переходил кондуктор с красным фонарем в висшей руке, и дама спросила:

— Послушайте. Почему мы стоим?

Кондуктор ответил, что опаздывает встречный курьерский.

На станции было темно и печально. Давно наступили сумерки, но на западе, за станцией, за чернеющими лесистыми полями, все еще мертвенно светила долгая летняя московская заря. В окно сыро пахло болотом. В тишине слышен был откуда-то равномерный и как будто тоже сырой скрип дергача.

Он облокотился на окно, опая на его плечо.

— Однажды я жил в этой местности на кашкулах, — сказал он. — Был репетитором в одной дачной усадьбе, верстах в пяти отсюда. Скучная местность. Маленький лес, сороки, комары и стрекозы. Вида нигде никакого. В усадьбе любоваться горизонтом можно было только с мезонина. Дом, конечно, в русском дачном

стиле и очень запущенный, — хозяева были люди обедневшие, — за домом некоторое подобие сада, за садом не то озеро, не то болото, заросшее кугой и кувшинками, и неизбежная плоскодонка возле топкого берега.

— И, конечно, скучающая дачная девица, которую ты катал по этому болоту.

— Да, все, как полагается. Только девица была совсем не скучающая. Катал я ее все больше по почам, и выходило даже поэтично. На западе небо всю ночь зеленоватое, прозрачное, и там, на горизонте, вот как сейчас, все что-то тлеет и тлеет... Весло нашлось только одно и то вроде лопаты, и я греб им, как дикарь, — то направо, то налево. На противоположном берегу было темно от мелкого леса, но за ним всю ночь стоял этот страшный полусвет. И везде невообразимая тишина — только комары поют и стрекозы летают. Никогда не думал, что они летают по почам, — оказалось, что зачем-то летают. Прямо страшно.

Зашумел наконец встречный поезд, палетел с грохотом и ветром, слившись в одну золотую полосу освещенных окон, и пронесся мимо. Вагон тотчас тропулся. Проводник вошел в купе, осветил его и стал готовить постели.

— Ну и что же у вас с этой девицей было? Настоящий роман? Ты почему-то никогда не рассказывал мне о ней. Какая она была?

— Худая, высокая. Носила желтый ситцевый сарафан и крестьянские чуньки на босу ногу, плетенные из какой-то разноцветной шерсти.

— Тоже, значит, в русском стиле?

— Думаю, что больше всего в стиле бедности. Не во что одеться, ну и сарафан. Кроме того, она была художница, училась в Строгановском училище живописи. Да она и сама была живописна, даже иконописца. Длинная черная коса на спине, смуглое лицо с маленькими темными родинками, узкий правильный нос, черные глаза, черные брови... Волосы сухие и жесткие, слегка курчавились. Все это, при желтом сарафане и белых кисейных рукавах сорочки, выделялось очень красиво. Лодыжки и пачало ступни в чуньках — все сухое, с выступающими под топкой смуглой кожей костями.

— Я знаю этот тип. У меня на курсах такая подружка была. Истеричка, должно быть.

— Возможно. Тем более, что лицом была похожа на мать, а мать, родом какая-то княжна с восточной кровью, страдала чем-то вроде черной меланхолии. Выходила только к столу. Выйдет, сядет и молчит, покашливает, не поднимая глаз, и все перекладывает то нож, то вилку. Если же вдруг заговорит, то так неожиданно громко, что вздрогнешь.

— А отец?

— Тоже молчаливый и сухой, высокий; отставной военный. Прост и мил был только их мальчик, которого я репетировал.

Проводник вышел из купе, сказал, что постели готовы, и пожелал покойной ночи.

— А как ее звали?

— Руся.

— Это что же за имя?

— Очень простое — Маруся.

— Ну и что же, ты был очень влюблен в псе?

— Конечно, казалось, что ужасно.

— А она?

Он помолчал и сухо ответил:

— Вероятно, и ей так казалось. Но пойдем спать. Я ужасно устал за день.

— Очень мило! Только даром заинтересовал. Ну, расскажи хоть в двух словах, чем и как ваш роман кончился.

— Да ничем. Уехал, и делу конец.

— Почему же ты не женился на ней?

— Очевидно, предчувствовал, что встречу тебя.

— Нет, серьезно?

— Ну, потому, что я застрелился, а она закололась кинжалом...

И, умывшись и почистив зубы, они затворились в образовавшейся тесноте купе, разделись и с дорожной отработой легли под свежее глянцевитое полотно простынь и на такие же подушки, все скользившие с приподнятого изголовья.

Сине-лиловый глазок над дверью тихо глядел в тем-

поту. Она скоро заснула, он не спал, лежал, курил и мысленно смотрел в то лето...

На теле у нее тоже было много маленьких темных родинок — эта особенность была прелестна. Оттого, что она ходила в мягкой обуви, без каблуков, все тело ее волновалось под желтым сарафаном. Сарафан был широкий, легкий, и в нем так свободно было ее долгому девичьему телу. Однажды она промочила в дождь поги, вбежала из сада в гостиную, и он кипуче разувать и целовать ее мокрые узкие ступни — подобного счастья не было во всей его жизни. Свежий, пахучий дождь шумел все быстрее и гуще за открытыми на балкон дверями, в потемневшем доме все спали после обеда — и как страшно испугал его и ее какой-то черпый с металлически-зеленым отливом петух в большой огненной короне, вдруг тоже вбежавший из сада со стуком коготков по полу в ту самую горячую минуту, когда они забывали всякую осторожность. Увидав, как они вскочили с дивана, он торопливо и согнувшись, точно из деликатности, побежал назад под дождь с опущенным блестящим хвостом...

Первое время она все приглядывалась к нему; когда он заговаривал с ней, темно краснела и отвечала насмешливым бормотанием; за столом часто задевала его, громко обращаясь к отцу:

— Не угощайте его, папа, напрасно. Он вареников не любит. Впрочем, он и окрошки не любит, и лапши не любит, и простоквашу презирает, и творог ненавидит.

По утрам он был занят с мальчиком, она по хозяйству — весь дом был на ней. Обедали в час, и после обеда она уходила к себе в мезонин или, если не было дождя, в сад, где стоял под березой ее мольберт, и, отмахиваясь от комаров, писала с натуры. Потом стала выходить на балкон, где он после обеда сидел с книгой в косом камышовом кресле, стояла, заложив руки за спину, и поглядывала на него с неопределенной усмешкой:

— Можно узнать, какие премудрости вы изволите штудировать?

— Историю французской революции.

— Ах, бог мой! Я и не знала, что у нас в доме оказался революционер!

— А что ж вы свою живопись забросили?

— Вот-вот и совсем заброшу. Убедилась в своей бездарности.

— А вы покажите мне что-нибудь из ваших писаний.

— А вы думаете, что вы что-нибудь смыслите в живописи?

— Вы страшно самолюбивы.

— Есть тот грех...

Наконец предложила ему однажды покататься по озеру, вдруг решительно сказала:

— Кажется, дождливый период наших тропических мест кончился. Давайте развлекаться. Душегубка наша, правда, довольно гнилая и с дырчатым дном, но мы с Петей все дыры забили кутой...

День был жаркий, парило, прибрежные травы, испещренные желтыми цветочками куриной слепоты, были душно нагреты влажным теплом, и над ними низко висели несметные бледно-зеленые мотыльки.

Он усвоил себе ее постоянный насмешливый тон и, подходя к лодке, сказал:

— Наконец-то вы снизошли до меня!

— Наконец-то вы собрались с мыслями ответить мне! — бойко ответила она и прыгнула на нос лодки, распугав лягушек, со всех сторон зашлепавших в воду, но вдруг дико взвизгнула и подхватила сарафан до самых колен, топал ногами:

— Уж! Уж!

Он мельком увидел блестящую смуглость ее голых ног, схватил с носа весло, стукнул им извивавшегося по дну лодки ужа и, поддев его, далеко отбросил в воду.

Она была бледна какой-то ядусской бледностью, родинки на ее лице стали темней, чернота волос и глаз как будто еще чернее. Она облегченно передохнула:

— Ох, какая гадость! Недаром слово ужас происходит от ужа. Они у нас тут повсюду, и в саду, и под домом... И Петя, представьте, берет их в руки!

Впервые заговорила она с ним просто, и впервые взглянули они друг другу в глаза прямо.

— Но какой вы молодец! Как вы его здорово стукнули!

Она совсем пришла в себя, улыбнулась и, перебежав с поса на корму, весело села. В своем испуге она поразила его красотой, сейчас он с нежностью подумал: да, она совсем еще девчонка! Но, сделав равнодушный вид, озабоченно перешагнул в лодку и, упирая веслом в студенистое дно, повернул ее вперед носом и потянул по спутанной гуще подводных трав на зеленые щетки куги и цветущие кувшинки, все впереди покрывавшие сплошным слоем своей толстой, круглой листвы, вывел ее на воду и сел на лавочку посередине, гребя направо и налево.

— Правда хорошо? — крикнула она.

— Очень! — ответил он, снимая картуз, и обернулся к ней: — Будьте добры кинуть возле себя, а то я смахну его в это корыто, которое, извините, все-таки протекает и полно пьявок.

Она положила картуз к себе на колени.

— Да не беспокойтесь, киньте куда попало.

Она прижала картуз к груди:

— Нет, я его буду беречь!

У него опять нежно дрогнуло сердце, но он опять отвернулся и стал усиленно запускать весло в блестящую среди куги и кувшинок воду.

К лицу и рукам липли комары, кругом все слепило теплым серебром: парной воздух, зыбкий солнечный свет, курчавая белизна облаков, мягко сиявших в небе и в прогалинах воды среди островов из куги и кувшинок; везде было так мелко, что видно было дно с подводными травами, но оно как-то не мешало той бездонной глубине, в которую уходило отраженное небо с облаками. Вдруг она опять взвизгнула — и лодка повалилась набок: она супула с кормы руку в воду и, поймав стебель кувшинки, так рванула его к себе, что завалилась вместе с лодкой — он едва успел вскочить и поймать ее подмышки. Она захохотала и, упав на корму спиной, брызнула с мокрой руки прямо ему в глаза. Тогда он опять схватил ее и, не понимая, что делает, поцеловал в хочущие губы. Она быстро обняла его за шею и неловко поцеловала в щеку...

С тех пор они стали плавать по почам. На другой день она вызвала его после обеда в сад и спросила:

— Ты меня любишь?

Он горячо ответил, помня вчерашние поцелуи в лодке:

— С первого дня нашей встречи!

— И я, — сказала она. — Нет, сначала не нравились мне казалось, что ты совсем не замечаешь меня. Но, слава богу, все это уже прошлое. Нынче вечером, как все улягутся, ступай опять туда и жди меня. Только выйди из дому как можно осторожнее — мама за каждым шагом моим следит, ревнива до безумия.

Ночью она пришла на берег с пледом на руке. От радости он встретил ее растерянню, только спросил:

— А плед зачем?

— Какой глупый! Нам же будет холодно. Ну, скорее садись и гребни к тому берегу...

Всю дорогу они молчали. Когда подплыли к лесу на той стороне, она сказала:

— Ну вот. Теперь иди ко мне. Где плед? Ах, он подо мной. Прикрой меня, я озлябла, и садись. Вот так... Нет, погодь, вчера мы целовались как-то бестолково, теперь я сначала сама поцелую тебя, только тихо, тихо. А ты обвини меня... везде...

Под сарафаном у нее была только сорочка. Она нежно, едва касаясь, целовала его в края губ. Он, с помутневшей головой, кинул ее на корму. Она иступленно обняла его...

Полежав в изнеможении, она приподнялась и с улыбкой счастливой усталости и еще не утихшей боли сказала:

— Теперь мы муж с женой. Мама говорит, что она не переживет моего замужества, но я сейчас не хочу об этом думать... Знаешь, я хочу искупаться, страшно люблю по ночам...

Через голову она разделась, забелела в сумраке всем своим долгим телом и стала обвязывать голову косой, подняв руки, показывая темные мышки и подпавшие груди, не стыдясь своей наготы и темного мыска под животом. Обвязав, быстро поцеловала его, вскочила на ноги, плашмя упала в воду, закинув голову назад, и шумно заколотила ногами.

Потом он, спеша, помог ей одеться и закутаться в плед. В сумраке сказочно были видны ее черные глаза и черные волосы, обвязанные косой. Он больше не смел

касаться ее, только целовал ее руки и молчал от переполненного счастья. Все казалось, что кто-то есть в темноте прибрежного леса, молча тлеющего кое-где светлячками,— стоит и слушает. Иногда там что-то осторожно шуршало. Она поднимала голову:

— Постой, что это?

— Не бойся, это, верю, лягушка выползает на берег. Или еж в лесу...

— А если козерог?

— Какой козерог?

— Я не знаю. Но ты только подумай: выходит из лесу какой-то козерог, стоит и смотрит... Мне так хорошо, мне хочется болтать страшные глупости!

И он опять прижимал к губам ее руки, иногда как что-то свисшее целовал холодную грудь. Каким совсем новым существом стала она для него! И стоял и не гас за чернотой низкого леса зеленоватый полусвет, слабо отражавшийся в плоско белеющей воде вдаль, резко, сельдереем, пахли росистые прибрежные растения, таинственно, просительно были невидимые комары — и летали, летали с таким треском над лодкой и дальше, над этой по-почному светящейся водой, страшные, бессонные стрекозы. И все где-то что-то шуршало, ползло, пробиралось...

Через неделю он был безобразно, с позором, ошеломленный ужасом совершенно внезапной разлуки, выгнан из дому.

Как-то после обеда они сидели в гостиной и, касаясь головами, смотрели картинки в старых номерах «Нивы».

— Ты меня еще не разлюбила? — тихо спрашивал он, делая вид, что внимательно смотрит.

— Глупый. Ужасно глупый! — шептала она.

Вдруг послышались мягко бегущие шаги — и на пороге встала в черном шелковом истрепанном халате и истертых сафьяновых туфлях ее полоумная мать. Черные глаза ее трагически сверкали. Она пробежала, как пачу, и крикнула:

— Я все поняла! Я чувствовала, я следила! Негодяй, ей не быть твоею!

И, вскинув руку в длинном рукаве, оглушительно выстрелила из старинного пистолета, которым Петя пугал

воробьев, заряжая его только порохом. Он, в дыму, бросился к ней, схватил ее цепкую руку. Она вырвалась, ударила его пистолетом в лоб, в кровь рассекла ему бровь, швырнула им в него и, слыша, что по дому бегут на крик и выстрел, стала кричать с пеной на низких губах еще театральнее:

— Только через мой труп перешагнет она к тебе! Если сбежит с тобой, в тот же день повешусь, брошусь с крыши! Негодяй, вон из моего дома! Марья Викторовна, выбирайте: мать или он!

Она прошептала:

— Вы, вы, мама...

Он очнулся, открыл глаза — все так же неуклонно, загадочно, могильно смотрел на него из черной темноты сине-лиловый глазок над дверью, и все с той же неуклонно рвущейся вперед быстротой неся, пружиня, качаясь, вагон. Уже далеко, далеко остался тот печальный полустанок. И уж целых двадцать лет тому назад было все это — перелески, сороки, болота, кувырки, ужи, журавли... Да, ведь были еще журавли — как же он забыл о них! Все было странно в то удивительное лето, странно и пара каких-то журавлей, откуда-то прилетавших от времени до времени на побережье болота, и то, что они только ее одну подпускали к себе и, выгибая тонкие, длинные шеи, с очень строгим, но благосклонным любопытством смотрели на нее сверху, когда она, мягко и легко разбежавшись к ним в своих разноцветных чупьках, вдруг садилась перед ними на корточки, распустивши на влажной и теплой зелени побережья свой желтый сарафан, и с детским задором заглядывала в их прекрасные и грозные черные зрачки, узко схваченные кольцом темпо-серого райка. Он смотрел на нее и на них издали, в бинокль, и четко видел их маленькие блестящие головки, — даже их костяные поздри, скважины крепких, больших клювов, которыми они с одного удара убивали ужей. Кургузы туловища их с пушистыми пучками хвостов были туго покрыты стальным опереньем, чешуйчатые трости ног не в меру длинные и тонкие — у одного совсем черные, у другого зеленоватые. Иногда они оба целыми часами стояли на одной ноге в непонятной неподвижности, иногда ни с того ни с сего подпрыгивали,

раскрывал огромные крылья; а не то важно прогуливались, выступали медленно, мерно, поднимали лапы, в комок сжимал три их пальца, а ставили разлато, раздвигал пальцы, как хищные когти, и все время качали головами... Впрочем, когда она подбегала к ним, он уже ни о чем не думал и ничего не видел — видел только ее распустившийся сарафан, смертной истомой содрогался при мысли о ее смуглом теле под ним, о темных родинках на нем. А в тот последний их день, в то последнее их сидение рядом в гостиной на диване, над томом старой «Нивы», она тоже держала в руках его картуз, прижимала его к груди, как тогда, в лодке, и говорила, блестя ему в глаза радостными черно-зеркальными глазами:

— А я так люблю тебя теперь, что мне нет ничего милее даже вот этого запаха внутри картуза, запаха твоей головы и твоего гадкого одеколона!

За Курском, в пагоне-ресторане, когда после завтрака он пил кофе с коньяком, жена сказала ему:

— Что это ты столько пьешь? Это уже, кажется, платая рюмка. Все еще грустишь, вспоминаешь свою дачную девицу с костлявыми ступнями?

— Грущу, грущу, — ответил он, неприятно усмехаясь. — Дачная девица... *Amata nobis quantum amabitur nulla!*¹

— Это по-латыни? Что это значит?

— Этого тебе не нужно знать.

— Как ты груб, — сказала она, небрежно вздохнув, и стала смотреть в солнечное окно.

27 сентября 1940

¹ Возлюбленная нами, как никакая другая возлюблена не будет! (лат.)

КРАСАВИЦА

Чиновник казенной палаты, вдовец, пожилой, женился на молоденькой, на красавице, дочери поинского пачальника. Он был молчалив и скромн, а она знала себе цену. Он был худой, высокий, чахоточного сложения, носил очки цвета йода, говорил несколько силно и, если хотел сказать что-нибудь погромче, срывался в фистулу. А она была невелика, отлично и крепко сложена, всегда хорошо одета, очень внимательна и хозяйственна по дому, взгляд имела зоркий. Он казался столь же неинтересен во всех отношениях, как множество губернских чиновников, но и первым браком был женат на красавице — и все только руками разводили: за что и почему шли за него такие?

И вот вторая красавица спокойно возненавидела его семилетнего мальчика от первой, сделала вид, что совершенно не замечает его. Тогда и отец, от страха перед ней, тоже притворился, будто у него нет и никогда не было сына. И мальчик, от природы живой, ласковый, стал в их присутствии бояться слово сказать, а там и совсем затаялся, сделался как бы несуществующим в доме.

Тотчас после свадьбы его перевели спать из отцовской спальни на диванчик в гостиную, небольшую комнату возле столовой, убранную синей бархатной мебелью.

Но сон у него был беспокойный, он каждую ночь сбивал простыню и оделяло на пол. И вскоре красавица сказала горничной:

— Это безобразие, он весь бархат на диване изотрет. Стелите ему, Настя, на полу, на том тюфляке, который я велела вам спрятать в большой сундук покойной барыни в коридоре.

И мальчик, в своем круглом одиночестве на всем свете, зажил совершенно самостоятельной, совершенно обособленной от всего дома жизнью, — неслышной, незаметной, одинаковой изо дня в день: смиренно сидит себе в уголке гостиной, рисует на грифельной доске домики или шепотом читает по складам все одну и ту же книжечку с картинками, купленную еще при покойной маме, смотрит в окна... Спит он на полу между диваном и калиткой с пальмой. Он сам стелет себе постельку вечером и сам прилежно убирает, свертывает ее утром и уносит в коридор в мамин сундук. Там спрятано и все остальное добришко его.

28 сентября 1940

ДУРОЧКА

Дьякопов сын, семинарист, приехавший в село к родителям на каникулы, проспался однажды в темную жаркую ночь от жестокого телесного возбуждения и, лежа, распалил себя еще больше воображением: днем, перед обедом, подсматривал из прибрежного лозняка над заподью речки, как приходили туда с работы девки и, сбрасывая с потных белых тел через голову рубашки, с шумом и хохотом, задирая лица, выгибая спины, кидались в горячо блестящую воду; потом, не владея собой, встал, прокрался в темноте через сеницы в кухню, где было черно и жарко, как в топленной печи, ласкался, протягивал вперед руки, нары, на которых спала кухарка, видал, безродная девка, слышавшая дурочкой, и она, от страха, даже не крикнула. Жил он с ней с тех пор все лето и прижил мальчика, который и стал расти при матери в кухне. Дьякон, дьякопица, сам батюшка и весь его дом, вся семья лавочника и урядник с женой, все знали, от кого этот мальчик, и семинарист, приезжая на каникулы, видеть не мог его от злобного стыда за свое прошлое: жил с дурочкой!

Когда он кончил курс, — «блестяще!», как всем рассказывал дьякон, — и опять приехал к родителям на лето перед поступлением в академию, они в первый же празд-

ник позвали к чаю гостей, чтобы погордиться перед ними будущим академиком. Гости тоже говорили о его блестящей будущности, пили чай, ели разные варенья, и счастливый дьякон завел среди их оживленной беседы зашипевший и потом громко закричавший граммофон. Все смолкли и с улыбками удовольствия стали слушать подмывающие звуки «По улице мостовой», как вдруг в комнату влетел и пеловко, не в лад заплясал, затопал кухаркин мальчик, которому мать, думая всех умиротворить им, сдуру шепнула: «Беги попляши, деточка». Все растерялись от неожиданности, а дьяконов сын, побагровев, кинулся на него подобно тигру и с такой силой швырнул воп из комнаты, что мальчик кубарем покатился в прихожую.

На другой день дьякон и дьяконница, по его требованию, кухарку прогнали. Они были люди добрые и жалостливые, очень привыкли к ней, полюбили ее за ее безответность, послушание и всячески просили сына смиротвориться. Но он остался непреклонен, и его не посмели ослушаться. К вечеру кухарка, тихо плача и держа в одной руке свой узелок, а в другой ручку мальчика, ушла со двора.

Все лето после того она ходила с ним по деревням и селам, побиралась Христа ради. Она обносилась, обтрепалась, спеклась на ветру и на солнце, исхудала до костей и кожи, но была неутомима. Она шла босая, с дерюжной сумой через плечо, подпираясь высокой палкой, и в деревнях и селах молча кланялась перед каждой избой. Мальчик шел за ней сзади, тоже с мешком через плечико, в старых башмаках ее, разбитых и затвердевших, как те опорки, что валяются где-нибудь в овраге.

Он был урод. У него было большое, плоское темя в кабаньей красной шерстке, носик расплюснутый, с широкими поздрями, глазки ореховые и очень блестящие. Но когда он улыбался, он был очень мил.

28 сентября 1940

АНТИГОНА

В июне, из имения матери, студент поехал к дяде и тете, — нужно было проведать их, узпать, как они поживают, как здоровье дяди, лишившегося ног генерала. Студент отбывал эту повинность каждое лето и теперь ехал с покорным спокойствием, не спеша читал в вагоне второго класса, положив молодую круглую ляжку на отвал дивана, новую книжку Аверченки, расселинно смотрел в окно, как опускались и подымались телеграфные столбы с белыми фарфоровыми чашечками в виде ландышей. Он похож был на молоденького офицера — только белый картуз с голубым околышем был у него студенческий, все прочее на военный образец: белый китель, зеленые рейтузы, сапоги с лакированными голенищами, портсигар с зажигательным оранжевым жгутом.

Дядя и тетя были богаты. Когда он приезжал из Москвы домой, за ним высылали на станцию тяжелый тарантас, пару рабочих лошадей и не кучера, а работника. А на станции дяди он всегда вступал на некоторое время в жизнь совсем иную, в удовольствие большого достатка, начинал чувствовать себя красивым, бодрым, маперным. Так было и теперь. Он с невольным фатовством сел в легкую коляску на резиновом ходу, запряженную резвой караковой тройкой, которой правил молодой

кучер в синей поддевке-безрукавке и шелковой желтой рубашке.

Через четверть часа тройка плетела, мягко играя россыпью бубенчиков и шипя по песку вокруг цветника шинами, на круглый двор обширной усадьбы, к перрону просторного нового дома в два этажа. На перрон вышел взятый вещи рослый слуга в полубачках, в красном с черными полосами жилете и штиблетах. Студент сделал ловкий и невероятно широкий прыжок из коляски: улыбаясь и раскачиваясь на ходу, на пороге вестибюля показалась тетя — широкий чесучовый балахон на большом дрыблом теле, крупное обвисшее лицо, нос якорем и под коричневыми глазами желтые подпалины. Она родственно расцеловала его в щеки, оп с притворной радостью припал к ее мягкой темной руке, быстро подумав: целых три дня врать вот так, а в свободное время не знать, что с собой делать! Притворно и поспешно отвечая на ее притворно-заботливые расспросы о маме, он вошел за ней в большой вестибюль, с веселой ненавистью взглянул на несколько сгробленное чучело бурого медведя с блестящими стеклянными глазами, косолапо стоявшего по весь рост у входа на широкую лестницу в верхний этаж и услужливо державшего в когтистых передних лапах бронзовое блюдо для визитных карточек, и вдруг даже приостановился от отрадного удивления: кресло с полным, бледным, голубоглазым генералом ровно катила навстречу к нему высокая, статная красавица в сером холстинковом платье, в белом переднике и белой косынке, с большими серыми глазами, вся сияющая молодостью, крепостью, чистотой, блеском холеных рук, матовой белизлой лица. Целуя руку дяди, он успел взглянуть на необыкновенную стройность ее платья, ног. Генерал пошутил:

— А вот это моя Антигона, моя добрая путеводительница, хотя я и не слеп, как Эдип, и особенно на хороших женщин. Познакомьтесь, молодые люди.

Она слегка улыбнулась, только поклоном ответила на поклон студента.

Рослый слуга в полубачках и в красном жилете провел его мимо медведя наверх, по блестящей темно-желтым деревом лестнице с красным ковром посредине и по такому же коридору, ввел в большую спальню с мрамор-

ной туалетной комнатой рядом — на этот раз в какую-то другую, чем прежде, и окнами в парк, а не во двор. Но он шел, ничего не видя. В голове все еще вертелась веселая чепуха, с которой он въехал в усадьбу, — «мой дядя самых честных правил», — но стояло уже и другое: вот так женщина!

Напевая, он стал бриться, мыться и переодеваться, надел штаны со штрипками, думая:

«Бывают же такие женщины! И что можно отдать за любовь такой женщины! И как же это при такой красоте катать стариков и старух в креслах на колесиках!»

И в голову шли нелепые мысли: вот взять и остаться тут на месяц, на два, втайне от всех войти с ней в дружбу, в близость, вызвать ее любовь, потом сказать: будьте моей женой, я весь и навеки ваш. Мама, тетя, дядя, их изумление, когда я заявлю им о нашей любви и нашем решении соединить наши жизни, их негодование, потом уговоры, крики, слезы, проклятия, лишение наследства — все для меня ничто ради вас...

Сбежал с лестницы к тете и дяде — их покой были внизу, — он думал:

«Какой, однако, вздор лезет мне в голову! Остаться тут под каким-нибудь предлогом, разумеется, можно... можно начать незаметно ухаживать, прикинуться безумно влюбленным... Но добьешься ли чего-нибудь? А если и добьешься, что дальше? Как развязаться с этой историей? Правда, что ли, жениться?»

С час он сидел с тетей и дядей в его огромном кабинете с огромным письменным столом, с огромной тахтой, покрытой туркестанскими тканями, с ковром на стене над ней, крест-накрест увешанным восточным оружием, с инкрустированными столиками для курения, а на камине с большим фотографическим портретом в палисандровой рамке под золотой коронкой, на котором был собственноручный вольный росчерк: Александр.

— Как я рад, дядя и тетя, что я опять с вами, — сказал он под колен, думая о сестре. — И как тут чудесно у вас! Ужасно будет жаль уезжать.

— А кто ж тебя гоцит? — ответил дядя. — Куда тебе спешить? Живи себе, покуда не наскучит.

— Разумеется, — сказала тетя рассеянно.

Сидя и беседуя, он непрестанно ждал: вот-вот войдет она — объявит горничная, что готов чай в столовой, и она придет катить дядю. Но чай подали в кабинет — вкатили стол с серебряным чайником на спиртовке, и тетя разливала сама. Потом он все надеялся, что она принесет какое-нибудь лекарство дяде... Но она так и не пришла.

«Ну и черт с ней», — подумал он, выходя из кабинета, вошел в столовую, где прислуга спускала шторы на высоких солнечных окнах, заглянул зачем-то направо, в двери зала, где в предвечернем свете отсвечивали в паркетные стеклянные стаканчики на ножках роллы, потом прошел налево, в гостиную, за которой была диванная; из гостиной вышел на балкон, спустился к разноцветно-яркому цветнику, обошел его и побрел по высокой тенистой аллее... На солнце было еще жарко, и до обеда оставалось еще два часа.

В семь с половиной в вестибюле завыл гонг. Он первый вошел в празднично сверкающую люстрой столовую, где уже стояли возле столика у стены жирный бритый повар во всем белом и подкрахмаленном, художеский лакей во фраке и белых вязаных перчатках и маленькая горничная, по-французски сублинная. Через минуту молочно-седой королевой, покачиваясь, вошла тетя в палевом шелковом платье с кремовыми кружевами, с наплывами на щиколках, над тесными шелковыми туфлями, и наконец-то она. Но, подкатив дядю к столу, она тотчас, не оборачиваясь, плавно вышла — студент успел только заметить странность ее глаз: они не моргали. Дядя покрестил грудь светло-серой генеральской тужурки мелкими крестиками, тетя и студент истово перекрестились, потом именитно сели, развернули блестящие салфетки. Размытый, бледный, с причесанными мокрыми жидкими волосами, дядя особенно явно показывал свою безнадежную болезнь, но говорил и ел много и со вкусом, пожимал плечами, говоря о войне, — это было время русско-японской войны: за конем чертом мы затеяли ее! Лакей служил оскорбительно-безучастно, горничная, помогая ему, семенила изящными ножками, повар отпускал блюда с важностью истукана. Ели горячую, как огонь, налимью уху, кровавый ростбиф, молодой картофель, посыпанный укропом. Пили белое и красное вино князя

Голицына, старого друга дяди. Студент говорил, отвечал, поддразнивал с веселыми улыбками, но, как попугай, с тем вздором в голове, с которым давеча переодевался, думал: а где же обедает она, неужели с прислугой? и ждал минуты, когда она опять придет, увезет дядю и потом где-нибудь встретится с ним, и он перекинется с ней хоть несколькими словами. Но она пришла, укатила кресло и опять где-то скрылась.

Ночью осторожно и старательно пели в парке соловьи, входила в открытые окна спальни свежесть воздуха, росы и политых на клумбах цветов, холодило постельное белье голландского полотна. Студент лежал в темноте и уже решил перевернуться к стене и заснуть, но вдруг поднял голову, пристал: раздеваясь, он увидал в стене у изголовья кровати небольшую дверь, из любопытства повернул в ней ключ и нашел за ней вторую, попробовал ее, но оказалось, что она заперта снаружи; теперь за этими дверями кто-то мягко ходил, что-то таинственно делал; и он затаил дыхание, соскользнул с кровати, отворил первую дверь, прислушался: что-то тихо зазвенело на полу за второй дверью... Он похолодел: неужели это ее комната! Он приник к замочной скважине, — ключа в ней, к счастью, не было, — увидал свет, край туалетного женского стола, потом что-то белое, вдруг вставшее и все закрывшее... Было несомненно, что это ее комната, — чья же иначе? Не поместят же тут горничную, а Марья Ильинишна, старая горничная тети, спит внизу возле тетиной спальни. И он точно заболел сразу ее почвой близостью вот тут, за стеною, и ее недоступностью. Он долго не спал, проснулся поздно и тотчас опять почувствовал, мысленно увидал, представил себе ее почую прозрачную сорочку, босые ноги в туфлях...

«Внору пынче же уехать!» — подумал он, закуривая.

Утром пили кофе каждый у себя. Он пил, сидя в широконной почвой рубахе дяди, в его шелковом халате, и с грустью бесполезности рассматривал себя, распахнув халат.

За завтраком в столовой было сумрачно и скучно. Он завтракал только с тетей, погода была плохая, — за окнами мотались от ветра деревья, над ними сгустились облака и тучи...

— Ну, милый, я тебя покидаю, — сказала тетя, вставая и крестясь. — Развлекайся, как можешь, а меня я для уж извини по нашим неможам, мы до чаю сидим по своим углам. Верно, дождь будет, а то бы ты мог прокатиться верхом...

Он бодро ответил:

— Не беспокойтесь, тетя, я займусь чтением...

И пошел в диванную, где все стены были в полках с книгами.

Проходя туда по гостинной, он подумал, что, может быть, все-таки следует приказать оседлать лошадь. Но в окна были видны разнообразные дождевые облака и неприятная металлическая лазурь среди лиловатых туч над качающимися вершинами деревьев. Он пошел в уютную, пахнущую сигарным дымом диванную, где под полками с книгами кожаные диваны занимали целых три стены, посмотрел некоторые корешки чудесно переплетенных книг — и беспомощно сел, утонул в диване. Да, адская скука. Хотя бы просто так увидеть ее, поболтать с ней... узнать, какой у ней голос, какой характер, глупа ли она или, напротив, очень себе на уме, скромно ведет свою роль до какой-нибудь благоприятной поры. Вероятно, очень блюдущая себя и знающая себе цену стерва. И скорее всего глупа... Но до чего хороша! И опять почевать рядом с ней! Он встал, отворил стеклянную дверь на каменные ступени в парк, услышал шелканье соловьев за его шумом, но тут так понесло прохладным ветром по каким-то молодым деревьям влево, что он вскочил в комнату. Комната потемнела, ветер летел по этим деревьям, пригнул их свежую зелень, и стекла двери и окон заискрились острыми брызгами мелкого дождя.

— А мы все ни о чем! — громко сказал он, слушая долетающее со всех сторон из-за ветра, то отдаленное, то близкое, шелканье соловьев. И в ту же минуту услышал ровный голос:

— Добрый день.

Он взглянул и оторопел: в комнате стояла она.

— Пришла обменять книгу, — сказала она с приветливым бесстрастием. — Только и радости, что кпить, — прибавила она с легкой улыбкой и подошла к полкам.

Он пробормотал:

— Добрый день. Я и не слышал, как вы вошли...

— Очень мягкие ковры, — ответила она и, обернувшись, уже длительно посмотрела на него своими неморгающими серыми глазами.

— А что вы любите читать? — спросил он, немного смелее встречая ее взгляд.

— Сейчас читаю Мопассана, Октава Мирбо...

— Ну да, это популярно. Мопассан всем женщинам нравится. У него все о любви.

— А что же может быть лучше любви?

Голос ее был скромен, глаза тихо улыбались.

— Любовь, любовь! — сказал он, вздыхая. — Бывают удивительные встречи, но... Ваше имя-отчество, сестра?

— Катерина Николаевна. А ваше?

— Зовите меня просто Павлик, — ответил он, все больше смелея.

— Вы думаете, что я вам тоже в тети гожусь?

— Дорого бы я дал иметь такую тетю! Пока я только ваш несчастный сосед.

— Неужели это несчастье?

— Я слышал вас выпче ночью. Ваша комната, оказывается, рядом с моей.

Она безразлично засмеялась:

— И я вас слышала. Нехорошо подслушивать и подсматривать.

— Как вы непозволительно красивы! — сказал он, в упор рассматривая серую пестроту ее глаз, матовую белизну ее лица и лоск темных волос под белой косыпкой.

— Вы находите? И хотите не позволить мне быть такой?

— Да. Одни ваши руки могут с ума свести...

И он с веселой дерзостью схватил левой рукой ее правую руку. Она, стоя спиной к полкам, взглянула через его плечо в гостиную и не оттянула руки, глядя на него со странной усмешкой, точно ожидал: ну, а дальше что? Он, не выпуская ее руки, крепко сжал ее, оттягивая книзу, правой рукой охватил ее поясницу. Она опять взглянула через его плечо и слегка откинула голову, как бы защищая лицо от поцелуя, но прижалась к нему выпнутым станом. Он, с трудом переводя дыхание, потянулся

к ее полураскрытым губам и двинул ее к дивану. Она, пахмурясь, качала головой, шепча: «Нет, нет, нельзя, лежа мы ничего не увидим и не услышим...» — и с потускневшими глазами медленно раздвинула ноги... Через миг он упал лицом к ее плечу. Она еще постояла, стиснув зубы, потом тихо освободилась от него и стройно пошла по гостиной, громко и безразлично говоря под шум дождя:

— О, какой дождь! А наверху все окна открыты...

На другое утро он проснулся в ее постели — она повернулась в пагетом за ночь, сбитом постельном белье на спину, закинув голую руку за голову. Он открыл глаза и радостно встретил ее неморгающий взгляд, с обморочным головокружением почувствовал терпкий запах ее подмышки.

В дверь кто-то торопливо постучался.

— Кто там? — спокойно спросила она, не отстрапая его. — Это вы, Марья Ильинишна?

— Я, Катерина Николаевна.

— В чем дело?

— Позвольте пойти, боюсь, кто-нибудь меня услышит, побежит и напугает генеральшу...

Когда он вскочил в свою комнату, она не спеша повернула ключ в замке.

— Его превосходительству что-то нехорошо, падо, думаю, пикюр сделать, — зашептала, входя, Марья Ильинишна, — слава богу, генеральша еще спит, идите скорее...

Глаза Марьи Ильинишны уже круглились, как у змеи: говоря, она вдруг увидала возле кровати мужские туфли, — студент убежал босиком. И она тоже увидала туфли и глаза Марьи Ильинишны.

Перед завтраком она пошла к генеральше и сказала, что должна внезапно уехать: стала спокойно прать, что получила письмо от отца, — известие, что ее брат тяжело рапел в Мапъчжурин, что отец, по своему вдовству, совсем один в таком горе...

— Ах, как я понимаю вас! — сказала генеральша, уже все знавшая от Марьи Ильинишны. — Ну что ж делать, поезжайте. Только пошлите со станции депешу доктору Кривцову, чтобы он немедленно приехал и побыл у нас, пока мы найдем другую сестру...

Потом она постучалась к студенту и сунула ему записочку: «Все пропало, я уезжаю. Старуха увидала возле кровати ваши туфли. Не поминайте лихом».

За завтраком тетя была только немного печальна, но говорила с ним как ни в чем не бывало.

— Ты слышал? Сестра уезжает к отцу, он один, брат ее страшно ранен.

— Слышал, тетя. Вот несчастье эта война, сколько горя повсюду. А что все-таки было с дядей?

— Ах, слава богу, ничего серьезного. Он ужасно мнителен. Сердце будто, но все это от желудка...

В три часа Антигону увезли на тройке на станцию. Он, не поднимая глаз, простился с ней на перроне, будто случайно выбежав, чтобы велеть оседлать лошадь. Он готов был кричать от отчаяния. Она помахала ему из коляски перчаткой, сидя уже не в косынке, а в хорошенькой шляпке.

2 октября 1940

СМАРАГД

Ночная синяя чернота неба в тихо плывущих облаках, везде белых, а возле высокой луны голубых. Приглядишься — не облака плывут — луна плывет, и близ нее, вместе с ней, летится золотая слеза звезды: луна плавно уходит в высоту, которой нет дна, и уносит с собой все выше и выше звезду.

Она боком сидит на подоконнике раскрытого окна и, отклонив голову, смотрит вверх — голова у нее немного кружится от движения неба. Он стоит у ее колен.

— Какой это цвет? Не могу определить! А вы, Толя, можете?

— Цвет чего, Киса?

— Не зовите меня так, я уж тысячу раз говорила вам...

— Слушаю-с, Ксения Андреевна.

— Я говорю про это небо среди облаков. Какой дивный цвет! И страшный и дивный. Вот уже правда небесный, на земле таких нет. Смарагд какой-то.

— Раз он в небе, так, конечно, небесный. Только почему смарагд? И что такое смарагд? Я его в жизни никогда не видал. Вам просто это слово нравится.

— Да. Ну, я не знаю, — может, не смарагд, а яхонт... Только такой, что, верно, только в раю бывает. И когда

вот так смотришь на все это, как же не верить, что есть рай, ангелы, божий престол...

— И золотые груши на вербе...

— Какой вы испорченный, Толя. Правду говорит Марья Сергеевна, что самая дурная девушка все-таки лучше всякого молодого человека.

— Сама истина глаголет се устами, Киса.

Платьице на ней ситцевое, рябенькое, башмаки дешевые; икры и колени полные, девичьи, круглая головка с небольшой косой вокруг нее так мило откинута назад... Он кладет руку на ее колено, другой обнимает ее за плечи и полусушня целует в приоткрытые губы. Она тихо освобождается, снимает его руку с колена.

— Что такое? Мы обиделись?

Она прижимается затылком к косяку окна, и он видит, что она, прикусив губу, удерживает слезы.

— Да в чем дело?

— Ах, оставьте меня...

— Да что случилось?

Она шепчет:

— Ничего...

И, соскочив с подоконника, убегает.

Он пожимает плечами:

— Глупа до святости!

3 октября 1940

ВОЛКИ

Тьма теплой августовской ночи, еле видны тусклыми звездами, кое-где мерцающие в облачном небе. Мягкая, неслышная от глубокой пыли дорога в поле, по которой катится тележка с двумя молодыми седоками — мелкопоместной барышней и юпошей гимназистом. Пасмурные зарницы освещают иногда пару ровно бегущих рабочих лошадей со спутанными гривами, в простой упряжи, и картуз и плечи малого в замашной рубахе на козлах, на мгновение открывают впереди поля, опустевшие после рабочей поры, и дальний печальный лесок. Вчера вечером на деревне был шум, крик, трусливый лай и визг собак: с удивительной дерзостью, когда по избам уже ужинали, волк зарезал в одном дворе овцу и едва не унес ее — вовремя выскочили на собачий гам мужики с дубинами и отбили ее, уже околевавшую, с разорванным боком. Теперь барышня первню хохочет, зажигает и бросает в темлоту спички, весело крича:

— Волков боюсь!

Спички освещают удлиненное, грубоватое лицо юности и ее возбужденное широкоскулое личико. Она кругло, по-малорусски, повязана красным платочком, свободный вырез красного ситцевого платья открывает ее круглую,

крепкую шею. Качаясь на бегу тележки, она жмет и бросает в темноту спички, будто не замечая, что гимназист обнимает ее и целует то в шею, то в щеку, ищет ее губы. Она отодвигает его локтем, он намеренно громко и просто, имея в виду малого на козлах, говорит ей:

— Отдайте спички. Мне закурить печем будет.

— Сейчас, сейчас! — кричит она, и опять всматривается спичка, потом зарпница, и тьма еще гуще слепит теплой чернотой, в которой все кажется, что тележка катится назад. Наконец она уступает ему долгим поцелуем в губы, как вдруг, толчком мотнув их обонх, тележка точно патыкается на что-то — малый круто осаживает лошадей.

— Волки! — вскрикивает он.

В глаза бьет зарево пожара вдали направо. Тележка стоит против того леса, что открывался при зарпницах. Лесок от зарева стал теперь черным и весь зыбко дрожит, как дрожит и все поле перед ним в сумрачно-красном трепете от того жадно несущегося в небе пламени, которое, несмотря на даль, полыхает с бегущими в нем тенями дыма точно в версте от тележки, разъярится все жарче и грознее, охватывает горизонт все выше и шире, — кажется, что жар его уже доходит до лица, до рук, виден даже над чернотой земли красный переплет какой-то сгоревшей крыши. А под стеной леса стоят, багрово серая, три больших волка, и в глазах у них мелькает то сквозной зеленый блеск, то красный, — прозрачный и яркий, как горячий сироп варенья из красной смородины. И лошади, шумно всхрапнув, вдруг диким галопом ударяют вбок, влево, по пашне, малый, на вожжах, валится назад, а тележка, со стуком и треском, мотаясь, бьется по взметам...

Где-то над оврагом лошади еще раз взметнулись, но она, вскочив, успела вырвать вожжи из рук ошалевшего малого. Тут она с размаху полетела в козлы и рассекла щеку об что-то железное. Так и остался на всю жизнь легкий шрам в уголке ее губ, и, когда у ней спрашивали, отчего это, она с удовольствием улыбалась.

— Дела давно минувших дней! — говорила она, вспоминая то давнее лето, августовские сухие дни и темные

почи, молотьбу на гумне, ометы новой пахучей соломы и небритого гимназиста, с которым она лежала в них вечерами, глядя на ярко-мгновениые дуги падающих звезд.— Волки испугали, лошади попесли,— говорила она.— А я была горячая, отчаянная, бросилась останавливать их...

Те, кого она еще не раз любила в жизни, говорили, что нет ничего милее этого шрама, похожего на толкую постоянную улыбку.

7 октября 1940

ВИЗИТНЫЕ КАРТОЧКИ

Было начало осени, бежал по опустевшей Волге пароход «Гончаров». Завернули ранние холода, туго и быстро дул навстречу, по серым разливам ее азиатского простора, с ее восточных, уже порыжелших берегов, студеный ветер, трепавший флаг на корме, шляпы, картузы и одежды ходивших по палубе, морщивший им лица, бивший в рукава и полы. И бесцельно и скучно провожала пароход единственная чайка — то летела, выпукло крепясь на острых крыльях, за самой кормой, то косо смывалась вдаль, в сторону, точно не зная, что с собой делать в этой пустыне великой реки и осеннего серого неба.

И пароход был почти пуст, — только артель мужиков на нижней палубе, а по верхней ходили взад и вперед, встречаясь и расходясь, всего трое: те два из второго класса, что оба плыли куда-то в одно и то же место и были неразлучны, гуляли всегда вместе, все о чем-то деловито говоря, и были похожи друг на друга незаметностью, и пассажир первого класса, человек лет тридцати, недавно прославившийся писатель, заметный своей не то печалью, не то сердитой серьезностью и отчасти наружностью: он был пысок, крепок, — даже слегка гнулся, как некоторые сильные люди, — хорошо одет и в своем роде красн: брюнет того русско-восточного типа, что

встречается в Москве среди ее старинного торгового люда; он и вышел из этого люда, хотя ничего общего с ним уже не имел.

Он одиноко ходил твердой поступью, в дорогой и прочной обуви, в черном шевитовом пальто и клетчатой английской каскетке, шагал назад и вперед, то навстречу ветру, то под ветер, дыша этим сильным воздухом осени и Волги. Он доходил до кормы, стоял на пей, глядя на расстилавшуюся и бегущую серой зыбью сзади парохода реку, и опять, резко повернувшись, шел к носу, на ветер, пагибая голову в надувшейся каскетке и слушая мерный стук колесных плниц, с которых стекляннм холстом катилась шумящая вода. Наконец он вдруг приостановился и хмуро улыбнулся: показалась поднимавшаяся из пролета лестницы, с нижней палубы, из третьего класса, черная дешевенькая шляпка и под пей испитое, милое лицо той, с которой он случайно познакомился вчера вечером. Он пошел к ней навстречу широкими шагами. Вся поднявшись на палубу, неловко пошла и она на него и тоже с улыбкой, подгоняемая ветром, вся косясь от ветра, придерживая худой рукой шляпку, в легком пальтишке, под которым видны были тонкие ноги.

— Как изволили почивать? — громко и мужественно сказал он на ходу.

— Отлично! — ответила она неумеренно весело. — Я всегда сплю, как сурок...

Он задержал ее руку в своей большой руке и посмотрел ей в глаза. Она с радостным усилением встретила его взгляд.

— Что ж вы так заспались, ангел мой, — сказал он фамильярно. — Добрые люди уже завтракают.

— Все мечтала! — ответила она бойко, совсем несоответственно всему своему виду.

— О чем же это?

— Мало ли о чем!

— Ой, смотрите! «Так тонут малепькие дети, купаясь летнею порой, чеченец ходит за рекой».

— Вот чеченца-то я и жду! — ответила она с той же веселой бойкостью.

— Пойдем лучше водку пить и уху есть, — сказал он, думая: ей и завтракать-то, верно, не па что.

Она кокетливо затопала ногами:

— Да, да, водки, водки! Чертов холод!

И они скорым шагом пошли в столовую первого класса, она впереди, он за нею, уже с некоторой жадностью осматривая ее.

Он вспоминал о ней ночью. Вчера, случайно заговорив с ней и познакомившись у борта парохода, подходившего в сумерки к какому-то черному высокому берегу, под которым уже рассынаны были огни, он потом посидел с ней на палубе, на длинной лавке, идущей вдоль кают первого класса, под их окнами с белыми сквозными ставнями, но посидел мало и ночью жалел об этом. К удивлению своему, он ночью понял, что уже хотел ее. Почему? По привычке дорожного влечения к случайным и неизвестным спутникам? Теперь, сидя с ней в столовой, чокаясь рюмками под холодную зернистую икру с горячим калачом, он уже знал, почему так влечет его она, и нетерпеливо ждал доведения дела до конца. Оттого, что все это — и водка и ее развзность — было в удивительном противоречии с ней, он внутренне волновался все больше.

— Ну-с, еще по единой, и шабаш! — говорит он.

— И правда шабаш, — отвечает она в тон ему. — А замечательная водка!

Конечно, она тронула его тем, что так растерялась вчера, когда он назвал ей свое имя, поражена была неожиданным знакомством с известным писателем, — чувствовать и видеть эту растерянность было, как всегда, приятно, это всегда располагает к женщине, если она не совсем дурпа и глупа, сразу создает некоторую интимность между тобой и ею, дает смелость в обращении с нею и уже как бы некоторое право на нее. Но не одно это возбуждало его: он видимо, порастил ее и как мужчипа, а она его тронула именно всей своей бедностью и простосердечностью. Он уже усвоил себе бесцеремонность с поклонниками, легкий и скорый переход от первых минут знакомства с ними к вольности обращения, якобы артистического, и эту пангранную простоту расспросов: кто вы такая? откуда? замужняя или нет? Так расспрашивал он и вчера — глядел в сумрак вечера на разноцветные огни на бакевах, длинно отражавшиеся в тем-

пеющей воде вокруг парохода, на красно горевший костер на плотках, чувствовал запах дымка оттуда, думая: «Это надо запомнить — в этом дымке тотчас чудится запах ухи», — и расспрашивал:

— Можно узнать, как зовут?

Она быстро сказала свое имя-отчество.

— Возвращаетесь откуда-нибудь домой?

— Была в Свияжске у сестры, у нее внезапно умер муж, и она, понимаете, осталась в ужасном положении...

Она сперва так смущалась, что все смотрела куда-то вдале. Потом стала отвечать смелее.

— А вы тоже замужем?

Она пачала странно усмехаться:

— Замужем. И, увы, уже не первый год...

— Почему увы?

— Выскочила по глупости чересчур рано. Не успеешь оглянуться, как жизнь пройдет!

— Ну, до этого еще далеко.

— Усы, недалеко! А я еще ничего, ничего не испытала в жизни!

— Еще не поздно испытать.

И тут она вдруг с усмешкой тряхнула головой:

— Я испытаю!

— А кто ваш муж? Чиновник?

Она махнула ручкой:

— Ах, очень хороший и добрый, но, к сожалению, совсем не интересный человек... Секретарь нашей земской уездной управы...

«Какая милая и несчастная!» — подумал он и вынул портсигар:

— Хотите папиросу?

— Очень!

И она неумело, но отважно закурила, быстро, по-женски затягиваясь. И в нем еще раз дрогнула жалость к ней, к ее развязности, а вместе с жалостью — нежность и сладострастное желание попользоваться ее наивностью и запоздалой неопытностью, которая, он уже чувствовал, непременно соединится с крайней смелостью. Теперь, сидя в столовой, он с нетерпением смотрел на ее худые руки, на увядшее и оттого еще более трогательное личико, на обильные, кое-как убранные темные волосы,

которыми она все встряхивала, сняв черную шляпку и скинув с плеч, с бумазейного платья, серое пальтишко. Его умиляла и возбуждала та откровенность, с которой она говорила с ним вчера о своей семейной жизни, о своем немолодом возрасте, и то, что она вдруг так расхрабрилась теперь, делает и говорит как раз то, что так удивительно не идет к ней. Она слегка раскраснелась от водки, даже бледные губы ее порозовели, глаза налились сонно-насмешливым блеском.

— Знаете, — сказала она вдруг, — вот мы говорили о мечтах: знаете, о чем я больше всего мечтала гимназисткой? Заказать себе визитные карточки! Мы совсем обеднели тогда, продали остатки имения и переехали в город, и мне совершенно некому было давать их, а как я мечтала! Ужасно глупо...

Он сжал зубы и крепко взял ее ручку, под топкой кожей которой чувствовались все косточки, но она, совсем не поняв его, сама, как опытная обольстительница, поднесла ее к его губам и томно посмотрела на него.

— Пойдем ко мне...

— Пойдем... Здесь, правда, что-то душно, накурено! И, встряхнув волосами, взяла шляпку.

Он в коридоре обнял ее. Она гордо, с негой посмотрела на него через плечо. Он с ненавистью страсти и любви чуть не укусил ее в щеку. Она, через плечо, вахически подставила ему губы.

В полусвете каюты с опущенной на окне сквозной решеткой она тотчас же, спеша утонить ему и до конца дерзко использовать все то неожиданное счастье, которое вдруг выпало на ее долю с этим красивым, сильным и известным человеком, расстегнула и столтала с себя упавшее на пол платье, осталась, стройная, как мальчик, в легонькой сорочке, с голыми плечами и руками и в белых панталончиках, и его мучительно пронзила невинность всего этого.

— Все снять? — шепотом спросила она, совсем, как девочка.

— Все, все, — сказал он, мрачней все более.

Она погну и быстро переступила из всего сброшенного на пол белья, осталась вся голая, серо-сиреневая, с той особенностью женского тела, когда оно нервно зяб-

нет, становится туго и прохладно, покрываясь гусиной кожей, в одних дешевых серых чулках с простыми подвязками, в дешевых черных туфельках, и победоносно-пыльно взглянула на него, берясь за волосы и выплывая из них шпильки. Он, холодея, следил за ней. Телом она оказалась лучше, моложе, чем можно было думать. Худые ключицы и ребра выделялись в соответствии с худым лицом и тонкими голеними. Но бедра были даже крупны. Живот с маленьким глубоким пупком был впалый, выпуклый треугольник темных красивых волос под ним соответствовал обилию темных волос на голове. Она вынула шпильки, волосы густо упали на ее худую спину в выступающих позвонках. Она наклонилась, чтобы поднять спадающие чулки, — маленькие груди с озябшими, сморщившимися коричневыми сосками повисли тощими грушками, прелестными в своей бедности. И он заставил ее испытать то крайнее бесстыдство, которое так не к лицу было ей и потому так возбуждало его жалостью, печалью, страстью... Между плапок оконной решетки, косо торчавших вверх, ничего не могло быть видно, но она с восторженным ужасом косилась на них, слышала беспечный говор и шаги проходящих по палубе под самым окном, и это еще страшнее увеличивало восторг ее развратности. О, как близко говорят и идут — и никому и в голову не приходит, что делается на шаг от них, в этой белой каюте!

Потом он ее, как мертвую, положил на койку. Сжав зубы, она лежала с закрытыми глазами и уже со скорбным успокоением на побледневшем и совсем молодом лице.

Перед вечером, когда пароход причалил там, где ей нужно было сходить, она стояла возле него тихая, с опущенными ресницами. Он поцеловал ее холодную ручку с той любовью, что остается где-то в сердце на всю жизнь, и она, не оглядываясь, побежала вниз по сходням в грубую толпу на пристани.

5 октября 1940

ЗОЙКА И ВАЛЕРИЯ

Зимой Левицкий проводил все свое свободное время в московской квартире Данилевских, летом стал приезжать к ним на дачу в сосновых лесах по Казанской дороге.

Он перешел на пятый курс, ему было двадцать четыре года, но у Данилевских только сам доктор говорил ему «коллега», а все остальные звали его Жоржем и Жоржиком. По причине одиночества и влюбчивости, он постоянно привязывался к какому-нибудь знакомому дому, скоро становился в нем своим человеком, гостем изо дня в день и даже с утра до вечера, если позволяли занятия,— теперь стал он таким у Данилевских. И тут не только хозяйка, но даже дети, очень полная Зойка и ушастый Гришка, обращались с ним, как с каким-нибудь дальним и бездомным родственником. Был он с виду очень прост и добр, услужлив и неразговорчив, хотя с большой готовностью отзывался на всякое слово, обращенное к нему.

Пациентам Данилевского открывала дверь пожилая женщина в больничном платье, они входили в просторную прихожую, устланную коврами и обставленную тяжелой старинной мебелью, и женщина надевала очки, с карандашом в руке строго смотрела в свой дневник

и одним назначала день и час будущего приема, а других вводила в высокие двери приемной, и там они долго ждали вызова в соседний кабинет, на допрос и осмотр к молодому ассистенту в сахарно-белом халате, и только уже после этого попадали к самому Данилевскому, в его большой кабинет с высоким одром у задней стены, на который он заставлял некоторых из них влезать и ложиться в самой жалкой и неловкой от страха позе: пациентов все смущало — не только ассистент и женщина в прихожей, где с такой гробовой медлительностью, блистая, ходил из стороны в сторону медный диск маятника в старинных стоячих часах, но и весь важный порядок этой богатой, просторной квартиры, это выжидательное молчание приемной, где никто не смел сделать лишнего вдоха, и все они думали, что это какая-то совсем особенная, вечно безжизненная квартира и что сам Данилевский, высокий, плотный, грубоватый, вряд ли хоть раз в году улыбается. Но они ошибались: в той жилой части квартиры, куда вели двойные двери из прихожей направо, почти всегда было шумно от гостей, со стола в столовой не сходил самовар, бегала горничная, добавляя к столу то чашек и стаканов, то вазочек с вареньем, то сухарей и булочек, и Данилевский даже в часы приема нередко пробегал туда по прихожей па цыпочках и, пока пациенты ждали его, думал, что он страшно занят каким-нибудь тяжелобольным, сидел, пил чай, говорил про них гостям: «Хай трошки подождут, матери их черт!» Однажды, сидя так и с усмешкой поглядывая на Левицкого, на сухую худобу и некоторую глупость его тела, на его слегка крылые ноги и впалый живот, на обтянутое тонкой кожей лицо в веснушках, ястребиные глаза и рыжие, круто выющиеся волосы, Данилевский сказал:

— А признайтесь, коллега: ведь есть в вас какая-нибудь восточная кровь, жидовская, например, или кавказская?

Левицкий ответил со своей неизменной готовностью к ответам:

— Никак нет, Николай Григорьевич, жидовской нет. Есть польская, есть, может быть, ваша украинская, — ведь Левицкие есть и украинцы, — слышал от деда, будто есть и турецкая, но правда ли, один аллах ведает.

И Данилевский с удовольствием расхохотался:

— Ну вот, я все-таки угадал! Так что будьте осторожны, дамы и девицы, он турок и вовсе не такой скромник, как вы думаете. Да и влюбчив он, как вам известно, по-турецки. Чей теперь черед, коллега? Кто теперь дама вашего широкого сердца?

— Дария Тадиевна, — быстро залившись тонким огнем, ответил Левицкий с простосердечной улыбкой — он часто так краснел и улыбался.

Очаровательно смутилась, так что даже ее смородиновые глаза как будто на миг куда-то пропали, и сама Дария Тадиевна, миловидная, с синеватым пушком на верхней губе и вдоль щек, в черном шелковом чепчике после тифа, полуслежащая в кресле.

— Что ж, это ни для кого не секрет и вполне понятно, — сказала она, — ведь во мне тоже восточная кровь...

И Гриша сладострастно заорал: «А, попались, попались!», а Зойка выбежала в соседнюю комнату и с разбега упала спиной к отвалу дивана с раскосившимися глазами.

Действительно, зимой Левицкий был скрытно влюблен в Дарию Тадиевну, а до нее испытывал некоторые чувства и к Зойке. Ей было всего четырнадцать лет, но она уже была очень развита телесно, сзади особенно, хотя еще по-детски были нежны и круглы ее спящие голые колени под короткой шотландской юбочкой. Год тому назад ее взяли из гимназии, не учили и дома, — Данилевский нашел в ней зачатки какой-то мозговой болезни, — и она жила в беспечном безделье, никогда не скучая. Она так была со всеми ласкова, что даже облизывалась. Она была крутолоба, у нее был наивно-радостный, как будто всегда чему-то удивленный взгляд маслянистых синих глаз и всегда влажные губы. При всей полноте ее тела, в нем было грациозное кокетство движений. Красный бант, завязанный в ее орехом переливающихся волосах, делал ее особенно соблазнительной. Она свободно садилась на колени к Левицкому — как бы невинно, ребячески — и, верно, чувствовала, что втайне испытывает он, держа ее полноту, мягкость и тяжесть и отводя глаза от ее голых колен под клетчатой юбочкой. Иногда он не выдержи-

вал, как бы шутя целовал ее в щеку, и она закрывала глаза, томно и насмешливо улыбалась. Она однажды шепотом сказала ему под страшным секретом то, что только она одна в мире знала про маму: мама влюблена в молодого доктора Титова! Маме сорок лет, но ведь она стройна, как барышня, и страшно моложава, и оба они, и мама и доктор, такие красивые и высокие ростом! Потом Левицкий стал невнимателен к ней — стала появляться в доме Дария Тадиевна. Зойка сделалась еще как будто веселее, беспечнее, но не сводила глаз ни с нее, ни с Левицкого, часто с криком кидалась целовать ее, но так неавидела, что, когда та заболела тифом, каждый день ждала радостной вести из больницы о ее смерти. А потом она ждала ее отъезда — и лета, когда Левицкий, освободившись от занятий, начнет ездить к ним на дачу по Казанской дороге, где Данилевские жили летом уже третий год: она тайком вела некоторую охоту на него.

И вот лето пришло, и он стал приезжать каждую неделю на два, на три дня. Но тут вскоре приехала гостить племянница папы из Харькова, Валерия Остроградская, которой ни Зойка, ни Гришка никогда еще не видали. Левицкого послали рано утром в Москву встречать ее на Курском вокзале, и со станции он приехал не на велосипеде, а сидя с ней в тележке станционного извозчика, усталый, с провалившимися глазами, радостно взволнованный. Видно было, что он еще на Курском вокзале влюбился в нее, и она обращалась с ним уже повелительно, когда он вытаскивал из тележки ее вещи. Впрочем, избежав на крыльцо навстречу маме, она тотчас забыла о нем и потом не замечала его весь день. Она показалась Зойке непонятной, — разбирая вещи в своей комнате и сидя потом на балконе за завтраком, она то очень много говорила, то неожиданно смолкала, думала что-то свое. Но она была настоящая малороссийская красавица! И Зойка приставала к ней с неугомонной настойчивостью:

— А вы привезли с собой сафьяновые сапожки и плахту? Вы наденете их? Вы позволите называть вас Валечкой?

Но и без малороссийского наряда она была очень хороша: крепкая, ладная, с густыми темными волосами,

с бархатными бровями, почти сросшимися, с грозными глазами цвета черной крови, с горячим темным румянцем на загорелом лице, с ярким блеском зубов и полными вишневыми губами. Руки у нее были маленькие, но тоже крепкие, ровно загорелые, точно слегка прокопчепные. А какие плечи! И как сквозили на них под тонкой белой блузкой шелковые розовые ленточки, державшие сорочку! Юбка была довольно короткая, совсем простая, но удивительно сидела на ней. Зойка так восхищалась, что даже не ревновала Левицкого, который перестал уезжать в Москву и не отходил от Валерии, счастливый тем, что она приблизила его к себе, тоже стала называть Жоржем и то и дело что-нибудь приказывала ему. Дальше дни пошли совсем летние, жаркие, гости все чаще приезжали из Москвы, и Зойка заметила, что Левицкий получил отставку, сидит все больше возле мамы, помогает ей чистить малину, что Валерия влюбилась в доктора Титова, в которого тайно влюблена мама. С Валерией вообще что-то сделалось — когда не было гостей, она перестала менять нарядные блузки, как делала прежде, иногда с утра до вечера ходила в маминем пеньюаре и вид имела брезгливый. Было страшно интересно: целовалась она с Левицким до своей влюбленности в Титова или нет? Гришка клялся, что видел, как она с Левицким шла раз перед обедом с купанья по слозой аллее, повязанная, как чалмой, полотенцем, как Левицкий тащил, спотыкался, ее мокрую простыню и что-то часто, часто говорил и как она приостановилась, а он вдруг схватил ее за плечо и поцеловал в губы.

— Я прижался за елью, и они не видали меня, — горячо говорил Гришка, выкатывая глаза, — а я все видел. Она была страшно красивая, только вся красная, было еще страшно жарко, и она, конечно, перекуналась, ведь она всегда по два часа сидит в воде и плавает, я это тоже подсмотрел, она голая прямо наяда, а он говорил, говорил, вот уж правда как турок...

Гришка клялся, но он любил выдумывать всякие глупости, и Зойка верила и не верила.

По субботам и воскресеньям поезда, приходившие на станцию из Москвы, даже утром были переполнены народом, праздничными гостями дачников. Иногда шел тот

преlestный дождь сквозь солнце, когда зеленые вагоны, обмытые им, блестели, как повеньки, белые клубы дыма из паровоза казались особенно мягкими, а зеленые вершины сосен, стройно и часто стоявших за поездом, круглились необыкновенно высоко в ярком небе. Приезжие поперебой хватали на изрытом горячем песке за станцией извозничьи тележки и с дачной отрадой катили по песчаным дорогам в просеках бора, под небесными лентами над ними. Наступило полное дачное счастье в бору, который без конца покрывал окрест сухую, слегка волнистую местность. Дачники, водившие московских гостей гулять, говорили, что тут недостает только медведей, декламировали «и смолой и земляничкой пахнет темный бор» и аукались, наслаждались своим летним благополучием, праздностью и вольностью одежды — косоворотками навывуск с расшитыми подолами, длинными жгутами цветных поясов, холщовыми картузами: много московского знакомого, какого-нибудь профессора или редактора журнала, бородатого, в очках, не сразу можно было и узнать в такой косоворотке и в таком картузе.

Среди всего этого дачного счастья Левицкий был вдвойне несчастен, чувствуя себя с утра до вечера жалким, обманутым, лишним. День и ночь он думал одно и то же: зачем, зачем так скоро и безжалостно приблизилась она к себе, сделала не то своим другом, не то рабом, потом любовником, который должен был довольствоваться редким и всегда неожиданным счастьем только поделуев, зачем говорила ему то «ты», то «вы», и как у ней хватило жестокости так просто, так легко вдруг перестать даже замечать его в первый же день знакомства с Титовым? Он сгорал стыдом и от своего бессовестного торчания в усадьбе. Завтра же надо исчезнуть, тайком бежать в Москву, скрыться от всех с этим позорным несчастьем обманутой дачной любви, столь явным даже для прислуги в доме! Но при этой мысли так провзало вспоминавшее о бархатистости ее вишневых губ, что отнимались руки и ноги. Если он сидел на балконе один и она случайно проходила мимо, она с неумеренной простотой говорила ему на ходу что-нибудь особенно значительное — «а где же это тетя? вы ее не видали?» —

и он спешил ответить ей в топ, готовый зарыдать от боли. Раз, проходя, она увидала у него на коленях Зойку, — какое ей было до этого дело? Но она вдруг бешено сверкнула глазами, крикнула: «Не смей, гадкая девчонка, лазить по коленям мужчин!» — и его охватила восторг: это решимость, ревность! А Зойка улучала каждую минуту, когда можно было где-нибудь в пустой комнате на бегу схватить его за шею и зашептать, блестя глазами и облизывая губы: «Миленький, миленький, миленький!» Она так ловко поймала однажды его губы своим влажным ртом, что он целый день не мог вспомнить ее без сладострастного содрогания — и ужаса: что же это такое со мной! как мне теперь глядеть в глаза Николаю Григорьевичу и Клавдии Александровне!

Двор дачи, похожей на усадьбу, был большой. Справа от въезда стояла пустая старая конюшня с сеновалом в надстройке, потом длинный флигель для прислуги, соединенный с кухней, из-за которой глядели березы и липы, слева, на твердой, бугристой земле, просторно росли старые сосны, на лужайках между ними поднимались гигантские шаги и качели, дальше, уже у стены леса, была розвая крокетная площадка. Дом, тоже большой, стоял как раз против въезда, за ним большое пространство занимало смешение леса и сада с мрачновеличавой аллеей древних елей, шедшей посреди этого смешения от заднего балкона к купальне на пруду. И хозяева, одни или с гостями, сидели всегда на переднем балконе, выдававшемся в дом и защищенном от солнца. В то воскресное жаркое утро на этом балконе сидели только хозяйка и Левинский. Утро, как всегда при гостях, казалось особенно праздничным, а гостей приехало много, и горничные, блестя новыми платьями, то и дело пробегали по двору из кухни в дом и из дома в кухню, где шла спешная работа к завтраку. Приехало пятеро: темноволосый, желчный писатель, всегда не в меру серьезный и строгий, но страстный любитель всяких игр, коротконогий и похожий на Сократа профессор, в пятьдесят лет только что женившийся на своей двадцатилетней ученице и приехавший вместе с ней, тоненькой блондинкой, очень нарядная маленькая дама, прозванная Осой за свой рост и худобу, злость и

обидчивость, и Титов, которого Данилевский прозвал па-
глым джентльменом. Теперь все гости, Валерия и сам
Данилевский были под соснами возле леса, в их сквоз-
ной тени,— Данилевский курил в кресле сигару, дети с
писателем и женой профессора носились на гигантских
шагах, а профессор, Титов, Валерия и Оса бегали, сту-
чали молотками в крокетные шары, перекликались, спо-
рили, ссорились. И Левицкий с хозяйкой слушали их.
Левицкий пошел было туда — Валерия тотчас прогнала
его: «Тетя одна чистит вишни, извольте идти помогать
ей!» Он неловко улыбнулся, постоял, посмотрел, как она,
с молотком в руках, нагибается к крокетному шару, как
висит ее чесучовая юбка над тугими икрами в топких
чулках палевого шелка, как полно и тяжело натягива-
ют ее груди прозрачную блузку, под которой сквозит за-
горелое тело круглых плечей, кажущееся розоватым от
розовых перемычек сорочки,— и побрел на балкон. Он был
особенно жалок в это утро, и хозяйка, как всегда, ров-
ная, спокойная, ясная моложавым лицом и взглядом чи-
стых глаз, тоже слушая с тайной болью в сердце голоса
под соснами, искоса поглядывала на него.

— Теперь руки и не отмоешь,— говорила она, окро-
вавленными пальцами запуская золочепую вилочку в
вишню,— а вы, Жорж, всегда умеете как-то особенно
испачкаться... Милый, отчего вы все в кителе, ведь жар-
ко, могли бы отлично ходить в одной рубашке с поясом.
И не брились десять дней...

Он знал, что впалые щеки его заросли красноватой
щетинкой, что он ужасно затаскал свой единственный бе-
лый китель, что студенческие штаны его лоснятся и бо-
типки не чищены, знал, как сутуло сидит он с своей уз-
кой грудью и впалым животом, и отвечал, краснея:

— Правда, правда, Клавдия Александровна, я не
брит, как беглый каторжник, вообще совсем опустился,
бессовестно пользуясь вашей добротой, простите, бога
ради. Нынче же приведу себя в порядок, тем более, что
давным-давно пора мне в Москву, я уж так загостился
у вас, что всем глаза намозолил. Я твердо решил зав-
тра же ехать. Меня один товарищ зовет к себе в Могил-
ев,— пишет, удивительно живописный город...

И пагнулся еще ниже над столом, услышав с крокета повелительный крик Титова на Валерию:

— Нет, пет, сударыня, это не по правилам! Не умеете ножку на шар ставить, бьете по ней молотком — ваша вина. А два раза крокировать не полагается...

За завтраком ему казалось, что все сидящие за столом вселились в него — едят, говорят, острят и хохочут в нем. После завтрака все пошли отдыхать в тени еловой аллеи, густо усыпанной скользкими хвойными иголками, горничные потащили туда ковры и подушки. Он прошел по жаркому двору к пустой конюшне, поднялся по стенной лестнице на ее полутемный чердак, где лежало старое сено, и повалился в него, стараясь что-то решить, стал пристально смотреть, лежа на животе, на муху, которая сидела на сене перед самыми его глазами и сперва быстро сучила крест-накрест передними ножками, точно умывалась, а потом как-то противоестественно, с усилием стала задирать задние. Вдруг кто-то быстро вбежал на чердак, распахнул и запахнул дверь, — и, обернувшись, он увидел в свете слухового окна Зойку. Она прыгнула к нему, утонула в сене и, задышавшись, зашептала, тоже лежа на животе и будто испуганно глядя ему в глаза:

— Жоржик, миленький, я что-то должна вам сказать — страшно для вас интересное, замечательное!

— Что такое, Зочка? — спросил он, приподнимаясь.

— А пот увидите! Только сначала поцелуйте меня за это — непременно!

И забила ногами по седу, облажая полные ляжки.

— Зочка, — начал он, не в силах от душевной измученности удержать в себе болезненное умиление, — Зочка, вы одна меня любите, и я вас тоже очень люблю... Но не надо, не надо...

Она лучше забила ногами:

— Надо, надо, непременно!

И упала головой ему на грудь. Он увидел под красным бантом молодой блеск ее ореховых волос, услышал их запах и прижался к ним лицом. Вдруг она тихо и произительно вскрикнула «ай!» и схватила себя за юбку сзади.

Он вскочил:

— Что такое?

Опа, упав головой в сено, зарыдала:

— Меня что-то страшно укусило там... Посмотрите, посмотрите скорее!

И откинула юбку на спину, сдержала с своего полного тела папалончики:

— Что там? Кровь?

— Да ровно ничего нет, Зочка!

— Как нет? — крикнула она, опять зарыдав. — Подуйте, подуйте, мне страшно больно!

И он, дунув, жадно поцеловал несколько раз в нежный холод широкой полноты ее зада. Она вскочила и сумасшедшем восторге, блестя глазами и слезами:

— Обманула, обманула, обманула! И вот вам за это страшный секрет: Титов дал ей отставку! Полную отставку! Мы с Гришкой все слышали в гостиной: они идут по балкону, мы сели на пол за креслами, а он ей и говорит, страшно оскорбительно: «Сударыня, я не из тех, кого можно водить за нос. И притом я вас не люблю. Полюблю, если заслужите, а пока никаких объяснений». Здорово? Так ей и надо!

И, вскочив, кинулась в дверь и вниз по лестнице. Он посмотрел ей вслед.

— Я негодий, которого мало повесить! — сказал он громко, еще чувствуя на своих губах ее тело.

Вечером в усадьбе было тихо, наступило успокоение, чувство семейственности, — гости в шесть часов уехали... Теплые сумерки, лекарственный запах цветущих лип за кухней. Сладкий запах дыма и кушаний из кухни, где готовят ужин. И мирное счастье всего этого — сумерек, запахов — и все еще что-то обещающая мука ее присутствия, ее существования возле него... разрывающая душу мука любви к ней — и ее беспощадное равнодушие, отсутствие... Где она? Он сошел с переднего балкона, слушая мерный, с промежутками, визг и скрип качелей под соснами, прошел к ним — да, это она. Он остановился, глядя, как она широко летает вверх и вниз, все туже натягивая веревки, сляясь взлететь до последней высоты, и делает вид, что не замечает его. С визгом колец жутко летит кверху, исчезает в ветвях и, как подстреленная, стремительно падает вниз, приседая и

разлевая подол. Вот бы поймать! Поймать и задушить, извасилопать!

— Валерия Андреевна! Осторожнее!

Точно не слыша, надаёт еще крепче...

За ужином на балконе, под горячей яркой лампой, смеялись над гостями, спорили о них. Исестественно и зло смеялась и она, жадно ела творог со сметаной, оплет без единого взгляда в его сторону. Одна Зойка молчала и все косилась на него, блестя глазами, знающими что-то вместе с ним одним.

Все разошлись и легли рано, в доме не осталось ни одного огня. Всюду стало темно и мертво. Незаметно ускользнув тотчас после ужина в свою комнату, дисерь которой выходила на передний балкон, он стал совать свое бельишко в свой запальный мешок, думая: выведу потихоньку велосипед, сяду — и на станцию. Возле станции лягу где-нибудь на песок в лесу до первого утреннего поезда... Хотя нет, так нельзя. Выйдет бог знает что, — сбежал, как мальчишка, почью, ни с кем не простясь! Надо ждать до завтра — и уехать беспечно, как ни в чем не бывало: «До свиданья, дорогой Николай Григорьевич, до свиданья, дорогая Клавдия Александровна! Спасибо, спасибо за все! Да, да, в Могилев, удивительно, говорят, красивый город... Зючка, будьте здоровы, милая, растите и веселитесь! Грппша, дай пожать твою «честную» руку! Валерия Андреевна, всех благ, не поминайте лихом...» Нет, не поминайте лихом ни к чему, глупо и бестактно, будто какой-то памок на что-то...

Чувствуя, что нет ни малейшей надежды заснуть, он тихо спустился с балкона, решив выйти на дорогу к станции и промаять себя, прошагать версты три. Но во дворе остановился: теплый сумрак, сладкая тишина, млечная белизна неба от несметных мелких звезд... Он пошел по двору, опять остановился, поднял голову: уходящая все глубже и глубже ввысь звездность и там какая-то страшная черпосинья темнота, провалы куда-то... и спокойствие, молчание, непонятная, великая пустота, безжизненная и бесцельная красота мира... безмолвная, вечная религиозность ночи... и он один, лицом к лицу со всем этим, в бездне между небом и землей... Он стал внутренне, без слов молиться о какой-то небес-

пой милости, о чьей-то жалости к себе, с горькой радостью чувствовал свое соединение с небом и уже некоторое отрешение от себя, от своего тела... Потом, стараясь удерживать в себе эти чувства, посмотрел на дом: звезды отражаются расплывчатым блеском в черных стеклах окон — и в стеклах ее окна... Спит или лежит, в тупом оцепенении все одной и той же мысли о Титове? Да, вот и ее черед...

Он обошел большой, неопределенный в сумраке дом, пошел к заднему балкону, к поляне между ним и двумя страшными своей ночной высотой и чернотой рядами неподвижных елей с острыми верхушками в звездах. В темноте под елями рассыпаны неподвижные зелено-желтые огольки светляков. И что-то смутно белесит на балконе... Он приостановился, вглядываясь, и вдруг дрогнул от страха и неожиданности: с балкона раздался громкий и ровный, без выражения голос:

— Что это вы бродите по ночам?

Он, в изумлении, двинулся и тотчас различил: она лежит в качалке, в старинной серебристой шали, которую все гости Данилевских накидывали на себя по вечерам, если оставались ночевать. От растерянности он тоже спросил:

— А вы почему не спите?

Она не ответила, помолчала, поднялась и неслышно сошла к нему, поправляя сползавшую шаль плечом:

— Пройдемся...

Он пошел за ней, сперва сзади, потом рядом, в темноту аллеи, будто что-то танцшей в своей мрачной неподвижности. Что это? Он опять с ней наедине, вдвоем, в этой аллее, в такой час? И опять эта паль, всегда скользившая с ее плеч и коловшая кончики его пальцев своими шелковыми пороспками, когда он поправлял ее на ней... Пересиливая судорогу в горле, он выговорил:

— За что, зачем вы так страшно мучите меня?

Она качала головой:

— Не знаю. Молчи.

Он осмелел, возвысил голос:

— Да, за что и зачем? Зачем было вам...

Она поймала его висшую руку и стиснула ее:

— Молчи...

— Валя, я ничего не понимаю...

Она отбросила его руку, взглянула влево, па ель в конце аллеи, широко черневшую треугольником своей маптин:

— Помнишь это место? Тут я тебя в первый раз поцеловала. Поцелуй меня тут в последний раз...

И, быстро пройдя под ветви ели, порывисто кинула на землю шаль.

— Иди ко мне!

Тотчас вслед за последней минутой она резко и гадливо оттолкнула его и осталась лежать, как была, только опустила поднятые и раскинутые колени и уронила руки вдоль тела. Он пластом лежал рядом с ней, прильнув щекой к хвойным иглам, на которые текли его горячие слезы. В застывшей тишине ночи и лесов неподвижным ломтем дыни краснела вдаль, невысоко над смутным полем, поздняя луна.

В своей комнате он взглянул запущенными от слез глазами на часы и испугался: два без двадцати минут! Торопясь и стараясь не шуметь, он свел велосипед с балкона, тихо и скоро повел его по двору. За воротами вскочил в седло и, круто согнувшись, бешено заработал ногами, прыгая по несчастным ухабам просеки, среди бегущей на него с двух сторон и сквозящей на предрассветном небе частой черноты стволов. «Опоздаю!» И он работал все горячее, вытирая потный лоб сгибом руки: курьерский из Москвы пролетел мимо станции — без остановки — в два пятнадцать, — ему оставалось всего несколько минут. Вдруг, в полусвете зари, еще похожем на сумерки, глянул в конце просеки темный вокзал станции. Вот оно! Он решительно вильнул по дороге влево, вдоль железнодорожного пути, вильнул вправо, на переезд, под шлагбаум, потом опять влево, между рельсами, и понесся, колотясь по шпалам, под уклон, навстречу вырвавшемуся из-под него, грохочущему и слепящему огнями паровозу.

13 октября 1940

ТАНЯ

Она служила горничной у его родственницы, мелкой помещицы Казаковой, ей шел восемнадцатый год, она была певелика ростом, что особенно было заметно, когда она, мягко виляя юбкой и слегка подпав под кофточкой маленькие груди, ходила босая или, зимой, в паленках, ее простое личико было только миловидно, а серые крестьянские глаза прекрасны только молодостью. В ту далекую пору он тратил себя особенно безрассудно, жизнь вел скитальческую, имел много случайных любовных встреч и связей — и как к случайной отнесся и к связи с ней...

Она скоро примирилась с тем роковым, удивительным, что как-то вдруг случилось с ней в ту осеннюю ночь, несколько дней плакала, но с каждым днем все больше убеждалась, что случилось не горе, а счастье, что становится он ей все милее и дороже; в минуты близости, которые вскоре стали повторяться все чаще, уже называла его Петрушей и говорила о той ночи как об их общем заветном прошлом.

Он сперва и верил и не верил:

— Неужто правда ты не притворялась тогда, что спишь?

Но она только раскрывала глаза:

— Да разве вы не чувствовали, что я сплю, разве не знаете, как ребята и девки спят?

— Если бы я знал, что ты правда спишь, я бы тебя ни за что не тронул.

— Ну, а я ничего, ничего не чуяла, почти до самой последней минутки! Только как это вам вздумалось прийти ко мне? Приехали и даже не взглянули на меня, только уж вечером спросили: ты, верно, недавно наизлась, тебя, кажется, Тапей зовут? и потом сколько времени смотрели будто без всякого внимания. Значит, притворялись?

Он отвечал, что, конечно, притворялся, но говорил неправду: все вышло и для него совсем неожиданно.

Он провел начало осени в Крыму и по пути в Москву заскакал к Казаковой, прожил недели две в успокоительной простоте ее усадьбы и скучных дней начала ноября и собрался было уезжать. В тот день, на прощанье с деревней, он с утра до вечера ездил верхом с ружьем за плечами и с гончей собакой по пустым полям и голым перелескам, ничего не нашел и вернулся в усадьбу усталый и голодный, съел за ужином сковородку битков в сметане, выпил графинчик водки и несколько стаканов чаю, пока Казакова, как всегда, говорила о своем покойном муже и о своих двух сыновьях, служивших в Орле. Часов в десять дом, как всегда, был уже темн, только горела свеча в кабинете за гостиной, где он жил, приезжая. Когда он вошел в кабинет, она со свечой в руке стояла на его постели на тахте на коленях, вода горящей свечой по бревенчатой стене. Увидав его, она сунула свечу на ночной столик и, соскочив, кинулась вон.

— Что такое? — сказал он, оторопев. — Постой, что ты тут делала?

— Клона жгла, — ответила она быстрым шепотом. — Стала оправлять нам постель, гляжу, а на стене клоп...

И со смехом убежала.

Он посмотрел ей вслед и, не раздеваясь, сняв только сапоги, прилег на стеганое одеяло на тахте, наде-

лся еще покурить и что-то подумать,— засыпать в десять часов было непривычно,— и тотчас заснул. На минуту очнулся, беспокоясь сквозь сон от дрожащего огня свечи, дунул на нее и опять заснул. Когда же опять открыл глаза, за двумя окнами во двор и за боковым окном в сад, полным света, стояла осенняя лунная ночь, пустая и одиноко прекрасная. Он пошел в сумраке возле тахты туфли и пошел в соседнюю с кабинетом прихожую, чтобы выйти на заднее крыльцо,— поставить ему на ночь, что нужно, забыли. Но дверь прихожей оказалась заперта на засов снаружи, и он пошел по таинственно освещенному со двора дому на парадное крыльцо. Туда выходили через главную прихожую и большие бревенчатые сенцы. В этой прихожей, против высокого окна над старым рундуком, была перегородка, а за ней комната без окон, где всегда жили горничные. Дверь в перегородке была приотворена, за ней было темно. Он зажгет спичку и увидел ее спящую. Она павзлянич лежала на деревянной кровати, в одной рубашке и в бумазейной юбочке,— под рубашкой круглились ее маленькие груди, босые ноги были заголены до колен, правая рука, откинута к стене, и лицо на подушке казались мертвыми... Спичка погасла. Он постоял — и осторожно подошел к кровати...

Выходя через темные сенцы на крыльцо, он лихорадочно думал:

— Как странно, как неожиданно! И неужто она правда спала?

Он постоял на крыльце, пошел по двору... И ночь казалась-то страшная. Широкий, пустой, светло освещенный высокой луной двор. Напротив сарая, крытые старой окаменевшей соломой,— скотный двор, каретный сарай, конюшни. За их крышами, на северном небосклоне, медленно расходятся таинственные почные облака — снеговые мертвые горы. Над головой только легкие белые, и высокая луна алмазно слезится в них, то и дело выходит на темно-синие прогалины, на звездные глубины неба, и будто еще ярче озаряет крыши и двор. И все

вокруг как-то странно в своем почном существовании, отрешенном от всего человеческого, бесцельно сияющее. И странно еще потому, что будто в первый раз видит он весь этот почпой, лунный, осенний мир...

Он сел возле каретного сарая на подножку тарантаса, закиданного засохшей грязью. Было по-осеннему тепло, пахло осенним садом, ночь была торжественна, бесстрастна и благостна и как-то удивительно соединилась с теми чувствами, что увес он от этого неожиданного соединения с полудетским жепским существом...

Она тихо зарыдала, придя в себя и будто бы только в эту минуту появив то, что случилось. Но может быть, не будто бы, а действительно? Все тело ее поддавалось ему, как безжизненное. Он сперва шепотом побудил ее: «Послушай, не бойся...» Она не слыхала или притворялась, что не слышит. Он осторожно поцеловал ее в горячую щеку — она никак не отозвалась на поцелуи, и он подумал, что она молча дала ему согласие на все, что за этим может последовать. Он разъединил ее поги, их нежное, горячее тепло, — она только вдохнула во сне, слабо потянувшись и закинула руку за голову...

— А если притворства не было? — подумал он, вставая с подножки и взволнованно глядя на ночь.

Когда она зарыдала, сладко и горестно, он с чувством не только животной благодарности за то неожиданное счастье, которое она бессознательно дала ему, но и восторга, любви стал целовать ее в шею, в грудь, все упонительно пахнущее чем-то деревенским, девичьим. И она, рыдая, вдруг ответила ему женским бессознательным порывом — крепко и тоже будто благодарно обняла и прижала к себе его голову. Кто он, она еще не понимала и полусне, но все равно — это был тот, с кем она, в некий срок, впервые должна была соединиться в самой тайной и блаженно-смертной близости. Эта близость, обоюдная, совершилась и уже ничем в мире расторгнута быть не может, и он навеки увес ее в себе, и вот эта необыкновенная ночь принимает его в свое непостижимое светлое царство вместе с нею, с этой близостью...

Как он мог, уезжая, вспоминать ее только случайно, забывать ее милый простосердечный голосок, ее то ра-

достные, то грустные, но всегда любящие, преданные глаза, как он мог любить других и некоторым из них придавать гораздо больше значения, чем ей!

На другой день она служила, не поднимая глаз. Казакова спросила:

— Что это ты такая, Таня?

Она покорно ответила:

— Мало ли у меня горя, барыня...

Казакова сказала ему, когда она вышла:

— Да, конечно: сирота, без матери, отец нищий, беспутный мужик...

Перед вечером, когда она ставила на крыльце самовар, он, проходя, сказал ей:

— Ты не думай, я тебя давно полюбил. Брось плакать, убиваться, этим ничему не поможешь...

Она тихо ответила, смаргивая слезы и суя в самовар пылающие щепки:

— Кабы прада полюбили, все бы легче было...

Потом она стала иногда взглядывать на него, как бы несмело спрашивать взглядом: правда?

Раз вечером, когда она вошла оправлять ему постель, он подошел к ней и обнял ее за плечо. Она с испугом взглянула на него и, вся покраснев, прошептала:

— Отойдите за ради господа. Того гляди, старуха зайдет...

— Какая старуха?

— Да старая горничная, будто не знаете!

— Я к тебе пынче ночью приду...

Ее точно обожгло, — первое время старуха приводила ее в ужас:

— Ох, что вы, что вы! Я с ума от страха сойду!

— Ну, не надо, не бойся, не приду, — сказал он весело.

Она служила теперь уже по-прежнему, скоро и заботливо, опять стала вихрем носиться через двор в кухню, как носилась прежде, и порой, уловив удобную минуту, тайком бросала на него взгляды уже смущенно-радостные. И вот однажды утром, чем свет, когда он еще

спал, ее отправили в город за покупками. За обедом Казакова сказала:

— Что делать, старосту с работником я отослала на мельницу, некого послать за Таней на станцию. Может, ты бы съездил?

Он, сдержав радость, ответил с притворной небрежностью:

— Что ж, охотно проедемся.

Старая горничная, подававшая на стол, пахмурилась:

— За что ж вы, сударыня, хотите денку навек осрамить? Что ж после этого начнут говорить про нее по всему селу?

— Ну, поезжай сама, — сказала Казакова. — Что ж ей, пешком, что ли, со станции идти?

Около четырех он выехал, в шарабаве, на старой высокой черной кобыле и, боясь опоздать к поезду, погнался за селом шибко, подскакивая по маслянистой, колчеватой, подмерзшей и потом отсыревшей дороге, — последние дни были влажные, туманные, а в тот день туман был особенно густ: еще когда он ехал по селу, казалось, что наступает почь, и в избах уже видны были дымно-красные огни, какие-то дикие за сизостью тумана. Дальше, в поле, стало совсем почти темно и от тумана уже непроглядно. Навстречу тянуло холодным ветром и мокрой мглой. Но ветер не разогнал тумана, напротив, нагоял все гуще его холодный, темно-сизый дым, душил им, его пахучей сыростью, и казалось, что за его непроглядностью нет ничего — конец мира и всего живого. Картуз, чуйка, ресницы, усы, все было в мельчайшем мокром бисере. Черная кобыла размашисто неслась вперед, шарабан, подскакивая по скользким колысам, бил ему в грудь. Он приловчился и закурил — сладкий, душистый, теплый, человеческий дым папиросы смешался с первобытным запахом тумана, поздней осени, мокрого голого поля. И все тепело, все мрачело вокруг, вверху и внизу, — почти не стало видно смутно темнеющей длинной шеп лошади, ее настороженных ушей. И все усиливалось чувство близости к лошади — единственному живому существу в этой пустыне, в мертвой враждебности всего того, что справа и слева, вне-

реди п сзади всего того неведомого, что так зловеще скрыто в этой все гуще и чернее бегущей на него дымной тьме...

Когда он въехал в деревню при станции, его охватила отрада жилья, жалких огней в убогих окошечках, их ласкового уюта, а на станции все вокзальное показалось совсем иным миром, живым, бодрым, городским. И не успел он привязать лошадь, как, гремя, засверкал к вокзалу светлыми окнами поезд, обдава серым запахом каменного угля. Он побежал в вокзал с таким чувством, точно ждал молодую жену, и тотчас увидел, как вошла она, по-городскому одетая, из противоположных дверей вслед за вокзальным сторожем, тащившим два кулика покупок: вокзал был грязен, вошел керосином ламп, тускло освещавших его, а она вся сияла возбужденными глазами, юностью взволнованного необычным путешествием лица, и сторож что-то говорил ей на «вы». И она вдруг встретилась с ним взглядом и даже остановилась от растерянности: что такое, почему он тут?

— Тапа,— поспешно сказал он,— здравствуй, я за тобой, некого было послать...

Был ли когда-нибудь в жизни у нее столь счастливый вечер! Он сам приехал за мной, а я из города, я наряжена и так хороша, как он и представить себе не мог, видя меня всегда только в старой юбочке, в ситцевой бедной кофточке, у меня лицо, как у модистки, под этим шелковым белым платочком, я в новом гарусном коричневом платье под суконой жакеткой, на мне белые бумажные чулки и новые полсапожки с медными подковками! Вся внутренне дрожа, она заговорила с ним таким тоном, каким говорят в гостях, и, приподняв подол, пошла за ним дамскими шажками, снисходительно дивясь: «Ох, господи, как тут склизко, как натирали мужики!» Вся замирая от радостного страха, высоко подняла она платье над белой коленкоровой юбкой, чтобы сесть на юбку, а не на платье, вошла в шарабан и села рядом с ним, будто равная ему, и целовко подобралась от кульков в погах.

Он молча тронул лошадь и погнал ее в ледяную тьму ночи и тумана, мимо кое-где низко мелькавших огоньков в избах, по ухабам этой мучительной деревенской

поабрьской дороги, и она не смела слова проронить, ужасаясь его молчанию: уж не рассердился ли он на что-нибудь? Он это понимал и нарочно молчал. И вдруг, выехав за деревню и погрузившись уже в полный мрак, перевел лошадь на шаг, взял вожжи в левую руку и сжал правой ее плечи в осыпанной холодным мокрым бисером жакетке, бормоча и смеясь:

— Таня, Танечка...

И она вся рванулась к нему, прижалась к его щеке шелковым платком, нежным пылающим лицом, полными горячих слез ресницами. Он нашел ее мокрые от радостных слез губы и, остановив лошадь, долго не мог оторваться от них. Потом, как слепой, не видя ни зги в тумане и мраке, вышел из шарабана, бросил чуйку на землю и потянул ее к себе за рукав. Все сразу понял, она тотчас соскочила к нему и, с быстрой заботливостью подняв весь свой заветный наряд, новое платье и юбку, ошупью легла на чуйку, навски отдавал ему не только все свое тело, теперь уже полную собственность его, но и всю свою душу.

Он опять отложил свой отъезд.

Она знала, что это ради нее, она видела, как он ласков с ней, говорит уже как с близкой, своим тайным другом в доме, и перестала бояться, трепетать, когда он подходил к ней, как трепетала первое время. Он стал спокойнее и проще в любовные минуты — она быстро приладилась к нему. Она вся изменилась с той быстрой, на какую способна молодость, сделалась ровна, беззаботно-счастлива, уже легко называла его Петрушей и порой даже притворялась, будто он докучает ей своими поцелуями: «Ах, господи, прохожу мне от вас песту! Чуть завидит меня одну — сейчас ко мне!» — и это доставляло ей особенную радость: значит, он любит меня, значит, он совсем мой, если я могу говорить с ним так! И еще было счастье: высказывать ему свою ревность, свое право на него:

— Слава богу, пест никаких работ на гумне, а то, были бы девки, я бы вам показала, как ходить к ним! — говорила она.

И прибавляла, вдруг смутившись, с трогательной попыткой улыбки:

— Ай вам мало меня одной?

Зима наступила рано. После туманов завернул морозный северный ветер, сковал маслянистые колчи дог, окаменил землю, сжег последнюю траву в саду и на дворе. Пошли белесо-свинцовые тучи, совсем облажившийся сад шумел беспокойно, торопливо, точно убежала куда-то, ночью белая половинка луны так и выржала в клубах туч. Усадьба и деревня казались безнадежно бедны и грубы. Потом стал порошить снег, убеляя мерзлую грязь точно сахарной пудрой, и усадьба и видные из нее поля стали сизо-белы и просторны. На деревне кончали последнюю работу — ссыпали в погреба на зиму картошки, перебирая их, отбрасывая гнилые. Как-то он пошел пройтись по деревне, надев поддевку на лисьем меху и нажав меховую шапку. Северный ветер трепал ему усы, жег щеки. Надо всем висело угрюмое небо, сизо-белое покатое поле за речкой казалось очень близким. В деревне лежали на земле возле порогов веретья с ворохами картошек. На веретьях сидели, работая, бабы и девки, закутанные в пеньковые шали, в рваных куртках, в разбитых валенках, с посипевшими лицами и руками, — он с ужасом думал: а под подолами у них совсем голые ноги!

Когда он пришел домой, она стояла в прихожей, обтирая тряпкой кипящий самовар, чтобы нести его на стол, и тотчас сказала вполголоса:

— Это вы, верно, на деревню ходили, там девки картошки перебирают... Что ж, гуляйте, гуляйте, высматривайте себе какую получше!

И, сдерживая слезы, выскочила в сенцы.

К вечеру густо, густо повалил снег, и, пробегая мимо него по залу, она взглянула на него с неудержимым детским весельем и, дразня, шепнула:

— Что, много теперь нагуляетесь? Да то ли еще будет — собаки по всему двору катаются — понесет такая кура, что и носу из дому не высунете!

«Господи, — подумал он, — как же я соберусь с духом сказать ей, что вот-вот уеду!»

И ему страстно захотелось быть как можно скорее в Москве. Мороз, метель, на площади, против Иверской, парные голубцы с бормочущими бубелчиками, на Тверской высокий электрический свет фонарей в снежных вихрях... в Большом Московском блещут люстры, разливается струнная музыка, и пот он, кинув меховое оśnieженное пальто на руки швейцарам, вытирая платком мокрые от снега усы, привычно, бодро входит по красному ковру в нагретую людную залу, в говор, в запах кушаний и папирос, в суету лакеев и все покрывающие, то распутно-томные, то залихватски-бурные струнные волны...

Весь ужип он не мог поднять глаз на ее беззаботную беготню, на ее успокоившееся лицо.

Поздно вечером он надел валенки, старую енотовую шубу покойного Казакова, подвинул шапку и через заднее крыльцо вышел на выюгу —дохнуть воздухом, посмотреть на нее. Но под навес крыльца уже напало целый сугроб, он споткнулся в нем и пабрал целые рукава снега, далее был сущий ад, белое несущееся бешенство. Он с трудом, утопая, обошел дом, добрался до переднего крыльца и, топая, отряхиваясь, вбежал в темные сенцы, гудевшие от бури, потом в теплую прихожую, где на рундуке горела свеча. Она выскочила из-за перегородки босая, в той же бумазейной юбчонке, всплеснула руками:

— Господи! Да откуда ж это вы!

Он сбросил на рундук шубу и шапку, осыпав его снегом, и в сумасшедшем восторге лежнкости схватил ее за руки. Она в таком же восторге вырвалась, схватила венник и стала обивать его белые от снега валенки и тащить их с ног:

— Господи, и там полно снегу! Вы насмерть простудитесь!

Ночью, сквозь сон, он иногда слышал: однообразно шумит с однообразным напором на дом, потом бурно налетает, сыплет стрекочущим снегом в ставни, потрясая их, — и падает, отделяется, шумит усыпительно... Ночь кажется бесконечной и сладкой — тепло постели, тепло

старого дома, одинокого в белой тьме несущегося снежного моря...

Утром показалось, что это почной ветер со стуком распахивает ставни, бьет ими в стены, — открыл глаза — вет, уже светло, и отовсюду глядит в залепленные снегом окна белая, белая белизна, нанесенная до самых подоконников, а на потолке лежит ее белый ответ. Все еще шумит, несет, но тише и уже по-дневному. С изголовья тахты видны напротив два окна с двойными почерпевшими от времени рамами в мелкую клетку, третье, влево от изголовья, белее и светлее всего. На потолке этот белый ответ, а в углу дрожит, гудит и постукивает вытягиваемая разгорающимся огнем заслонка печки — как хорошо, он спал, ничего не слышал, а Таня, Танечка, верная, любимая, растворила ставни, потом тихо вошла в валенках, вся холодная, в снегу на плечах и на голове, закутанной пеньковым платком, и, став на колени, затыкала. И не успел он подумать, как она вошла, неся поднос с чаем, уже без платка. С чуть заметной улыбкой взглянула, ставя поднос на столик у изголовья, в его потупленном ясные, со сна точно удивленные глаза:

— Что ж вы так заспались?

— А который час?

Посмотрела на часы на столике и не сразу ответила — до сих пор не сразу разбирает, который час:

— Десять... Без десяти минут девять...

Взглянув на дверь, он потянул ее к себе за юбку. Она отклонилась, отстраняя его руку:

— Никак нельзя, все проснулись...

— Ну, на одну минуту!

— Старуха зайдет...

— Никто не зайдет — на одну минуту!

— Ах, наказание мне с вами!

Быстро выпнув одну за другой ноги в шерстяных чулках из валенок, легла, озираясь на дверь... Ах, этот крестьянский запах ее головы, дыхания, яблочный холодок щеки! Он сердито зашептал:

— Опять ты целуешься со сжатыми губами! Когда я тебя отучу!

— Я не барышня... Погодите, я пониже ляжу... Ну, скорее, боюсь до смерти.

И они уставились друг другу в глаза — пристально и бессмысленно, выжидательно.

— Петруша...

— Молчи. Зачем ты говоришь всегда в это время!

— Да когда ж мне и поговорить с вами, как не в это время! Я не буду больше губы сжимать... Покажитесь, что у вас никого нету в Москве...

— Не тискай меня так за шею.

— Никто в жизни не будет так любить вас. Вот вы в меня влюбились, а я будто и сама в себя влюбилась, не парадуюсь на себя... А если вы меня бросите...

Выскочив с горячим лицом под навес заднего крыльца на вьюгу, она, стоя, присела на мгновение, потом кинулась навстречу белым вихрям на переднее крыльцо, утопая выше голых колен.

В прихожей пахло самоваром. Старая горничная, сидя на рундуке под высоким окном в снегу, схлебывала с блюдечка и, не отрываясь от него, покосилась:

— Куда это тебя носило? Вся в снегу вывалилась.

— Петру Николанчу чай подавала.

— Что ж ты ему в людскую, что ль, подавала? — Знаем мы твой чай!

— Ну, знаете, и па здоровье. Барыня встали?

— Хватилась! Пораньше тебя.

— И все-то вы сердитесь!

И, счастливо вздохнув, она пошла за перегородку, за своей чашкой, и чуть слышно запела там:

Уж как выйду я в сад,
Во зеленый сад.
Во зеленый сад гулять,
Снова милова встречать...

Днем, сидя в кабинете за книгой, слушал все тот же то слабеющий, то угрожающе растущий шум вокруг дома, все больше тонувшего в снегах среди со всех сторон песущейся молочной белизны, он думал: как стихнет, так уеду.

Вечером он улучил минуту сказать ей, чтобы она пришла к нему ночью попозднее, когда дом крепче всего спит,— на всю ночь, до утра. Она покачала головой, подумала и сказала: хорошо. Это было очень страшно, но тем слаще.

То же чувствовал и он. И волновала еще жалость к пей: и не знает, что это их последняя ночь!

Ночью он то засыпал, то в тревоге просыпался: решится ли прийти? Тьма дома, шум вокруг этой тьмы, трелеются ставни, в печке то и дело завывает... Вдруг он в страхе очнулся: не услышал,— услышать ее в той преступной осторожности, с которой она пробиралась в густой темноте по дому, нельзя было,— не услышал, а почувствовал, что она, невидимая, уже стоит у тахты. Он протянул руки. Она молча прыгнула под одеяло к нему. Он слышал, как стучит ее сердце, чувствовал ее озябшие босые ноги и шептал самые горячие слова, какие только мог пойти и выговорить.

Они долго лежали так, грудь с грудью, целуясь с такой крепостью, что больно было зубам. Она помпала, что он не велел ей сжимать рот, и, стараясь угодить ему, раскрывала его, как галчонок.

— Ты небось совсем не спала?

Она ответила радостным шепотом:

— Ни минуточки. Все ждала...

Нашарив на столике спички, он зажег свечу. Она в страхе ахнула:

— Петруша, что ж это вы сделали? А ну-ка старуха проснется, увидит свет...

— Черт с пей,— сказал он, глядя на ее раскрасневшееся личико.— Черт с пей, я хочу видеть тебя...

Взяв ее, он не спускал с нее глаз. Она прошептала:

— Я боюсь,— что это ты на меня так смотришь?

— Да то, что лучше тебя на свете нет. Эта головка с этой маленькой косою вокруг нее, как у молоденькой Венеры...

Глаза ее засияли смехом, счастьем:

— Какая это Венера?

— Да уж такая... И эта рубашонка...

— А вы купите мне миткалевую... Верно, вы правда меня очень любите?

— Нисколько не люблю. И опять ты пахнешь не то перепелом, не то сухой коноплей...

— Отчего ж вам это нравится? Вот вы говорили, что я всегда говорю в это время... а теперь... сами говорите...

Она начала все крепче прижимать его к себе, хотела еще что-то сказать и уже не могла...

Потом он потушил свечу и долго лежал молча, курил и думал: а все-таки надо сказать, ужасно, но надо! И чуть слышно начал:

— Танечка...

— Что? — так же таинственно спросила она.

— Ведь мне надо уезжать...

Она даже поднялась:

— Когда?

— Все-таки скоро... очень скоро... У меня есть неотложные дела...

Она упала на подушку:

— Господи!

Его какие-то дела где-то там, в какой-то Москве, винутили ей нечто вроде благоговения. Но как же все-таки расстаться с ним ради этих дел? И она замолчала, быстро и беспомощно ища в уме выхода из этого неразрешимого ужаса. Выхода не было. Хотелось крикнуть: «Возьмите меня с собой!» Но она не смела — разве это возможно?

— Не могу же я век тут жить...

Она слушала и соглашалась: да, да...

— Не могу же я взять тебя с собой...

Она вдруг отчаянно выговорила:

— Почему?

Он быстро подумал: «Да, почему, почему?» И поспешно ответил:

— У меня нет дома, Таня, я всю жизнь елжу с места на место... В Москве живу в номерах... И ни на ком никогда не женюсь...

— Отчего?

— Оттого, что уж такой я родился.

— И ни на ком никогда не женишься?

— Ни на ком, никогда! И даю тебе честное слово,

мпе, ей-богу, необходимо, очень важные и несложные дела. К Рождеству непременно приеду!

Она припала головой к нему, лежала, капая на его руки теплыми слезами, и прошептала:

— Ну, я пойду... Скоро спетать начнет...

И, поднявшись, стала в темпоте крестить его:

— Сохрани нас царица небесная, сохрани мать Божию!

Прибегав к себе за перегородку, она села на постель и, прижав к груди руки, слизывая с губ слезы, стала шептать под гул метели в сенцах:

— Господи батюшка! Царица небесная! Дай, господи, чтоб не утихало хоть еще дня два!

Через два дня он уехал, — еще проносились по двору утихающие вихри, но он не мог больше длить тайное мучение ее и свое и не сдался на уговоры Казаковой подождать хоть до завтра.

И дом и вся усадьба опустели, умерли. И представить себе Москву и его в ней, его жизнь там, его какие-то дела, не было никакой возможности.

На Рождество он не приехал. Что это были за дни! В какой муке неразрешающегося ожидания, в каком жалком притворстве перед самой собой, будто и нет никакого ожидания, шло время с утра до вечера! И все Святки она ходила в самом лучшем своем наряде — в том платье и в тех полсапожках, в которых он встретил ее тогда осенью, на вокзале, в тот незабвенный вечер.

На Крещение она почему-то жадно верила, что вот вот покажутся из-под горы мужицкие санки, которые он найдет на станции, не прислав письма, чтобы за ним выслали лошадей, весь день не вставала с рундука в прихожей, глядя во двор до боли в глазах. Дом был пуст, — Казакова уехала в гости к соседям, старуха обедала в людской, сидела там и после обеда, наслаждаясь молчаливым нереда кухаркой. А она даже и обедать не ходила, сказала, что живот болит...

Но вот стало вечереть. Она взглянула еще раз на пустой двор в блестящем насте и поднялась, твердо сказав себе: конец, никого мне больше не нужно, ничего по желаю я ждать! — и пошла, напруженная, гуляющим шагом по залу, по гостиной, в свете зимней, желтой зари из окон, громко и беззаботно запела — с облегчением конченной жизни:

Уж как выйду я в сад,
Во зеленый сад,
Во зеленый сад гулять,
Свое милова встретить!

И как раз в словах о милом вошла в кабинет, увидела его пустую тахту, пустое кресло возле письменного стола, где когда-то сидел он с книгой в руках, и упала в кресло, головой на стол, рыдая и крича: «Царица небесная, пошли мне смерть!»

Он приехал в феврале — когда она уже совсем похоронила в себе всякую надежду увидеть его хоть еще один раз в жизни.

И как будто возвратилось все прежнее.

Он был поражен, увидя ее, — так похудела и поблекла она вся, так несмелы и грустны были ее глаза. Поразила и она в первую минуту: и он показался ей как будто другим, постаревшим, чужим и даже неприятным — усы у него стали как будто больше, голос грубей, его смех и разговор, пока он раздевался в прихожей, были не в меру громки и неестественны, ей неловко было взглянуть ему в глаза... Но оба постарались скрыть все это друг от друга, и вскоре все пошло как будто по-прежнему.

Потом опять стало подходить страшное время — время его нового отъезда. Он поклялся ей на образ, что придет к Святой и уже на целое лето. Она поверила; но подумала: «А летом что будет? Опять то же, что теперь?» Этого теперь ей было уже мало — нужно было или совсем, совсем прежнее, а не повторение, или нераздельная жизнь с ним, без разлук, без новых мучений, без стыда напрасных ожиданий. Но она старалась гнать от

себя эту мысль, старалась представить себе все то летнее счастье, когда столько будет им свободы везде... — ночью и днем, в саду, в поле, на гумне, и он будет долго, долго возле нее...

Накануне его нового отъезда почь была уже предвесения, светлая и ветреная. За домом волновался сад, и все долетал оттуда разносимый ветром злой и беспомощный, отрывистый лай собак над ямой в елках: там сидела лисица, которую поймал в капкан и принес на барский двор лесник Казаковой.

Он лежал на тахте на спине с закрытыми глазами. Она рядом с ним на боку, подложив ладонь под грустную головку. Оба молчали. Наконец она прошептала:

— Петруша, вы спите?

Он открыл глаза, посмотрел в легкий сумрак комнаты, слева озаренный золотистым светом из бокового окна:

— Нет. А что?

— А ведь вы меня больше не любите, даром погубили, — спокойно сказала она.

— Почему же даром? Не говори глупостей.

— Грех вам будет. Куда ж я теперь денусь?

— А зачем тебе куда-нибудь деваться?

— Вот вы опять, опять уедете в эту свою Москву, а что ж я одна тут буду делать!

— Да все то же, что и прежде делала. А потом — ведь я тебе твердо сказал: на Святой на целое лето приеду.

— Да, может, и приедете... Только прежде вы мне не говорили таких слов: «А зачем тебе куда-нибудь деваться?» Вы меня правда любили, говорили, что милей меня не видали. Да и такая я разве была?

Да, не такая, подумал он. Ужасно изменилась. Даже телом стала как-то жиже, все косточки слышны...

— Прошло мое времечко, — сказала она. — Вскочу, бывало, к вам — и боюсь до смерти и радуюсь: ну, слава богу, старуха заснула. А теперь и ее не боюсь...

Он пожал плечами:

— Я тебя не понимаю. Дай-ка мне папиросы со столика...

Она подала. Он закурил:

— Не понимаю, что с тобой. Ты просто нездорова...

— Вот оттого-то, верно, и не мила я вам стала. А чем же я больна?

— Ты меня не понимаешь. Я говорю, что ты душевно нездорова. Потому что подумай, пожалуйста, что такое случилось, откуда ты взяла, что я тебя больше не люблю? И что ж одно и то же твердить: бывало, бывало...

Она не ответила. Светило окно, шумел сад, долетал отрывистый лай, злой, безнадежный, плачущий... Она тихонько слезла с тахты и, прижав рукав к глазам, подергивая головой, мягко пошла в своих шерстяных чулках к дверям в гостиную. Он негромко и строго окликнул ее:

— Таня.

Она обернулась, ответила чуть слышно:

— Чего вам?

— Поди ко мне.

— Зачем?

— Говорю, поди.

Она покорно подошла, склонив голову, чтобы он не видал, что все лицо у нее в слезах.

— Ну, что вам?

— Сядь и не плачь. Поцелуй меня — ну?

Он сел, она села рядом и обняла, тихо рыдая. «Боже мой, что же мне делать! — с отчаянием подумал он. — Опять эти теплые детские слезы на детском горячем лице... Она даже и не подозревает всей силы моей любви к ней! А что я могу? Увезти ее с собой? Куда? На какую жизнь? И что из этого выйдет? Связать, погубить себя навеки?» И стал быстро шептать, чувствуя, как и его слезы щекожут ему нос и губы:

— Танечка, радость моя, не плачь, послушай: я приеду весной на все лето, и вот правда пойдём мы с тобой «во зеленый сад» — я слышал эту твою песенку и вовеки не забуду ее, — поедём на шарабане в лес — помнишь, как мы ехали на шарабане со ставции?

— Никто меня с тобой не пустит! — горько прошептала она, мотая на его груди головой, в первый раз говоря ему «ты». — И никуда ты со мной не поедешь...

Но он уже слышал в ее голосе робкую радость, надежду.

— Поеду, поеду, Тавечка! И не смей мне больше говорить «вы». И плакать не смей...

Он взял ее под ноги в шерстяных чулках и пересадил ее, легонькую, к себе на колени:

— Ну скажи: «Петруша, я тебя очень люблю!»

Она туго повторила, икнув от слез:

— Я тебя очень люблю...

Это было в феврале страшного семнадцатого года. Он был тогда в деревне в последний раз в жизни.

22 октября 1940

В ПАРИЖЕ

Когда он был в шляпе, — шел по улице или стоял в вагоне метро, — и не видно было, что его коротко стриженные красноватые волосы остро серебрятся, по свежести его худого, бритого лица, по прямой выправке худой, высокой фигуры в длинном непромокаемом пальто, ему можно было дать не больше сорока лет. Только светлые глаза его смотрели с сухой грустью и говорили и держался он как человек, много испытавший в жизни. Одно время он арендовал ферму в Провансе, наслышался едких провансальских шуток и в Париже любил иногда вставлять их с усмешкой в свою всегда сжатую речь. Многие знали, что еще в Константинополе его бросила жена и что живет он с тех пор с постоянной раной в душе. Он никогда и никому не открывал тайны этой раны, но иногда несколько намекал на нее, — неприятно шутил, если разговор касался женщин:

— Rien n'est plus difficile que de reconnaître un bon melon et une femme de bien¹.

Однажды, в сырой парижский вечер поздней осенью, он зашел пообедать в небольшую русскую столовую в

¹ Нет ничего более трудного, как распознать хороший арбуз и порядочную женщину (*франц.*).

одном из темных переулков возле улицы Пасси. При столовой было нечто вроде гастрономического магазина — он бессознательно остановился перед его широким окном, за которым были видны на подоконнике розовые бутылки конусом с рябиновкой и желтые кубастые с зубровкой, блюдо с засохшими жареными пирожками, блюдо с посеревшими рублеными котлетами, коробка халвы, коробка шпротов, дальше стойка, уставленная закусками, за стойкой хозяйка с неприязненным русским лицом. В магазине было светло, и его потянуло на этот свет из темного переулка с холодной и точно соляной мостовой. Он вошел, поклонился хозяйке и прошел в еще пустую, слабо освещенную комнату, прилегающую к магазину, где белели накрытые бумажной столы. Там он не снеша повесил свою серую шляпу и длинное пальто на рога столчей вешалки, сел за столик в самом дальнем углу и, рассеянно потирая руки с рыжими волосатыми кистями, стал читать бесконечное перечисление закусок и кушаний, частью напечатанное, частью написанное расплывшимися лиловыми чернилами на просаленном листе. Вдруг его угол осветился, и он увидел безучастно-вежливо подходящую женщину лет тридцати, с черными волосами на прямой пробор и черными глазами, в белом переднике с прошивками и в черном платье.

— Bonsoir, monsieur¹, — сказала она приятным голосом.

Она показалась ему так хороша, что он смутился и неловко ответил:

— Bonsoir... Но вы ведь русская?

— Русская. Извините, образовалась привычка говорить с гостями по-французски.

— Да разве у вас много бывает французов?

— Довольно много, и все спрашивают непременно зубровку, блины, даже борщ. Вы что-нибудь уже брали?

— Нет, тут столько всего... Вы уже сами посоветуйте что-нибудь.

Она стала перечислять заученным топом:

— Ниче у нас щи флотские, битки по-казацки...

¹ Добрый вечер, сударь (франц.).

можно иметь отбивную телячью котлетку или, если желаете, шашлык по-карски...

— Прекрасно. Будьте добры дать щи и битки.

Она подняла висевший у нее на поясе блокнот и записала на нем кусочком карандаша. Руки у нее были очень белые и благородной формы, платье поношенное, но, видно, из хорошего дома.

— Водочки желаете?

— Охотно. Сырость на дворе ужасная.

— Закусить что прикажете? Есть чудная дупайская сельдь, красная икра недавней полочки, коркуновские огурчики малосольные...

Он опять взглянул на нее: очень красив белый передник с прошивками на черном платье, красиво выдаются под ним груди сильной молодой женщины... полные губы не окрашены, но свежи, на голове просто свернутая черная коса, но кожа на белой руке холеная, ногти блестящие и чуть розовые, — виден маникюр...

— Что я прикажу закусить? — сказал он, улыбаясь. — Если позволите, только селедку с горячим картофелем.

— А вино какое прикажете?

— Красное. Обыкновенное, — какое у вас всегда дают в столу.

Она отметила на блокноте и переставила с соседнего стола на его стол графин с водой. Он заказал голубой:

— Нет, мерси, ни воды, ни вина с водой никогда не пью. *L'eau gale le vin comme la charette le chemin et la femme — l'âme*¹.

— Хорошего же вы мнения о нас! — безразлично ответила она и пошла за водкой и селедкой. Он посмотрел ей вслед — на то, как ровно она держалась, как колебалось на ходу ее черное платье... Да, вежливость и безразличие, все повадки и движения скромной и достойной служащей. По дороге хорошие туфли. Откуда? Есть, вероятно, пожилой, состоятельный «аши»...² Он давно не был так оживлен, как в этот вечер, благодаря ей, и по-

¹ Вода портит вино так же, как повозка дорогу и как женщина душу (франц.).

² «Друг» (франц.).

следняя мысль возбудила в нем некоторое раздражение. Да, из году в год, изо дня в день, втайне ждешь только одного, — счастливой любовной встречи, живешь, в сущности, только надеждой на эту встречу — и все напрасно...

На другой день он опять пришел и сел за свой столик. Она была сперва занята, принимала заказ двух французов и вслух повторяла, отмечал на блокноте:

— Caviar rouge, salade russe... Deux chachlyks...¹

Потом вышла, вернулась и пошла к нему с легкой улыбкой, уже как к знакомому:

— Добрый вечер. Приятно, что вам у нас поправилось.

Он весело приподнялся:

— Доброго здоровья. Очень поправилось. Как вас величать прикажете?

— Ольга Александровна. А вас, позвольте узнать?

— Николай Платоныч.

Они пожали друг другу руки, и она подвинула блокнот:

— Нынче у нас чудный рассольник. Повар у нас замечательный, на яхте у великого князя Александра Михайловича служил.

— Прекрасно, рассольник так рассольник... А вы давно тут работаете?

— Третий месяц.

— А раньше где?

— Раньше была продавщицей в Printemps.

— Верно, из-за сокращений лишились места?

— Да, по доброй воле не ушла бы.

Он с удовольствием подумал: «Значит, дело не в «амі», — и спросил:

— Вы замужняя?

— Да.

— А муж ваш что делает?

— Работает в Югославии. Бывший участник белого движения. Вы, вероятно, тоже?

— Да, участвовал и в великой и в гражданской войне.

— Это сразу видно. И, вероятно, генерал, — сказала она, улыбаясь.

¹ Красной икры, винегрета... Два шашлыка... (франц.)

— Бывший. Теперь пишу истории этих войн по заказам разных иностранных издательств.. Как же это вы одна?

— Так вот и одна...

На третий вечер он спросил:

— Вы любите синема?

Она ответила, ставя на стол мисочку с борщом:

— Иногда бывает интересно.

— Вот теперь идет в синема «Etoile» какой-то, говорят, замечательный фильм. Хотите пойдем посмотрим? У вас есть, конечно, выходные дни?

— Мерси. Я свободна по понедельникам.

— Ну вот и пойдем в понедельник. Ничего что? Суббота? Значит послезавтра. Идет?

— Идет. Завтра вы, очевидно, не придете?

— Нет, еду за город, к знакомым. А почему вы спрашиваете?

— Не знаю... Это странно, но я уж как-то привыкла к вам.

Он благодарно взглянул на нее и покраснел:

— И я к вам. Знаете, на свете так мало счастливых встреч...

И поспешил переменить разговор:

— Итак, послезавтра. Где же нам встретиться? Вы где живете?

— Возле метро Motte-Picquet.

— Видите, как удобно,—прямой путь до Etoile. Я буду ждать вас там при выходе из метро ровно в восемь с половиной.

— Мерси.

Он шутливо поклонился:

— C'est moi qui vous remercie¹. Уложите детей,—улыбаясь, сказал он, чтобы узнать, нет ли у нее ребенка,—и приезжайте.

— Слава богу, этого добра у меня нет,—ответила она и плавно пошла от него тарелки.

Он был и растроган и хмурился, идя домой. «Я уже привыкла к вам...» Да, может быть, это и есть долгожданная счастливая встреча. Только поздно, поздно, Le bon

¹ Это я вас благодарю (франц.).

Dieu envoie toujours des culottes à ceux qui n'ont pas de derrière...¹

Вечером в понедельник шел дождь, мгlistое небо над Парижем мутно краснело. Надеясь поужинать с ней на Монпарнассе, он не обедал, зашел в кафе на Chaussée de la Muette, съел сэндвич с ветчиной, выпил кружку пива и, закулив, сел в такси. У входа в метро Etoile остановил шофера и вышел под дождь на тротуар — толстый, с багровыми щеками шофер доверчиво стал ждать его. Из метро несло банным ветром, густо и черно поднимался по лестницам народ, раскрывая на ходу зонтики, газетчик резко выкрикивал возле него низким утиным криком названия вечерних выпусков. Внезапно в подымавшейся толпе показалась она. Он радостно двинулся к ней навстречу:

— Ольга Александровна...

Нарядно и модно одетая, она свободно, не так, как в столовой, подняла на него черно-подведенные глаза, дамским движением подала руку, на которой висел зонтик, подхватив другой подол длинного вечернего платья, — он обрадовался еще больше: «Вечернее платье, — значит, тоже думала, что после синема поедem куда-нибудь», — и отвернул край ее перчатки, поцеловал кисть белой руки.

— Бедный, вы долго ждали?

— Нет, я только что приехал. Идем скорей в такси...

И с давно не испытанным волнением он вошел за ней в полутемную пахнущую сырм сукном карету. На повороте карету сильно качнуло, внутренность ее на мгновение осветил фонарь, — он невольно поддержал ее за талию, почувствовал запах пудры от ее щеки, увидел ее крупные колени под вечерним черным платьем, блеск черного глаза и полные в красной помаде губы: совсем другая женщина сидела теперь возле него.

В темном зале, глядя на сияющую белизну экрана, по которой косо летали и падали в облаках гулко жужжащие распластанные аэропланы, они тихо переговаривались:

¹ Милосердный господь всегда даст штаны тем, у кого пет зада... (франц.)

— Вы одна или с какой-нибудь подругой живете?

— Одна. В сущности, ужасно. ОТЕЛЬЧИК чистый, теплый, по, знаете, из тех, куда можно зайти на ночь или на часы с девицей... Шестой этаж, лифта, конечно, нет, на четвертом этаже красный коврик на лестнице кончается... Ночью, в дождь страшная тоска. Раскроешь окно — ни души нигде, совсем мертвый город, бог знает где-то внизу один фонарь под дождем... А вы, конечно, холостой и тоже в отеле живете?

— У меня небольшая квартирка в Пасси. Живу тоже один. Давний парижанин. Одно время жил в Провансе, снял ферму, хотел удалиться от всех и ото всего, жить трудами рук своих — и не вынес этих трудов. Взял в помощники одного карачка, оказался пьяница, мрачный, страшный во хмелю человек, завел кур, кроликов — дохнут, мул однажды чуть не загрыз меня, — очень злое и умное животное... И, главное, полное одиночество. Жена меня еще в Константинополе бросила.

— Вы шутите?

— Ничуть. История очень обыкновенная. *Qui se marie par amour a bonne nuits et mauvais jours*¹. А у меня даже и того и другого было очень мало. Бросила на второй год замужества.

— Где же она теперь?

— Не знаю...

Она долго молчала. По экрану дурачки бегал на раскинутых ступнях в пелено огромных разбитых башмаках и в котелке набок какой-то подражатель Чаплина.

— Да, вам, верно, очень одиноко, — сказала она.

— Да. Но что ж, надо терпеть. *Patience — médecine des pauvres*².

— Очень грустная *médecine*.

— Да, невеселая. До того, — сказал он, усмехаясь, — что я иногда даже в «Иллюстрированную Россию» заглядывал, — там, знаете, есть такой отдел, где печатается нечто вроде брачных и любовных объявлений: «Русская девушка из Латвии скучает и желала бы переписываться

¹ Кто женится по любви, тот имеет хорошие ночи и скверные дни (франц.).

² Терпенье — медицина бедных (франц.).

с чутким русским парижанином, прося при этом прислать фотографическую карточку... Серьезная дама шапелка, не модери, но симпатичная, вдова с девятилетним сыном, ищет переписки с серьезной целью с трезвым господином не моложе сорока лет, материально обеспеченным шоферской или какой-либо другой работой, любящим семейный уют. Интеллигентность не обязательна...» Вполне ее понимаю — не обязательна.

— Но разве у вас нет друзей, знакомых?

— Друзей нет. А знакомства плохая утеха.

— Кто же ваше хозяйство ведет?

— Хозяйство у меня скромное. Кофе варю себе сам, завтрак готовлю тоже сам. К вечеру приходит femme de ménage¹.

— Бедный! — сказала она, сжав его руку.

И они долго сидели так, рука с рукой, соединенные сумраком, близостью мест, делая вид, что смотрят на экран, к которому дымной синевато-меловой полосой шел над их головами свет из кабинки на задней стене. Подражатель Чаплина, у которого от ужаса отделился от головы проломленный котелок, бешено летел на телеграфный столб в обломках допотопного автомобиля с дымящейся самоварной трубой. Громкоговоритель музыкально ревел на все голоса, снизу, из провала дымного от папироз зала, — они сидели на балконе, — гремел вместе с рукоплесканиями отчаянно-радостный хохот. Он наклонился к ней:

— Знаете что? Поедьте куда-нибудь на Монпарнас, например, тут ужасно скучно и дышать печем...

Она кивнула головой и стала надевать перчатки.

Снова сев в полутемную карету и глядя на искристые от дождя стекла, то и дело загоравшиеся разноцветными алмазами от фонарных огней и переливавшихся в черной вышине то кровью, то ртутью реклам, он опять отвернул край ее перчатки и продолжительно поцеловал руку. Она посмотрела на него тоже странно искрящимися глазами с угольно-крупными ресницами и любовно-грустно потянулась к нему лицом, полными, с сладким помадным вкусом губами.

¹ Уборщица (франц.).

В кафе «Coupole» начали с устриц и апжу, потом заказали куропаток и красного бордо. За кофе с желтым шартрезом оба слегка охмелели. Много курили, пепельница была полна ее окровавленными окурками. Он среди разговора смотрел на ее разгоревшееся лицо и думал, что она вполне красавица.

— Но скажите правду,— говорила она, шепотками спывая с кончика языка крошки табаку,— ведь были же у вас встречи за эти годы?

— Были. Но вы догадываетесь, какого рода. Ночные отели... А у вас?

Она помолчала:

— Была одна очень тяжелая история... Нет, я не хочу говорить об этом. Мальчишка, сутенер в сущности... Но как вы разошлись с женой?

— Постыдно. Тоже был мальчишка, красавец греченок, чрезвычайно богатый. И в месяц, два не осталось и следа от чистой, трогательной девочки, которая просто молилась на белую армию, на всех на пас. Стала ужинать с ним в самом дорогом кабаке в Пера, получать от него гигантские корзины цветов... «Не понимаю, неужели ты можешь ревновать меня к нему? Ты весь день занят, мне с ним весело, он для меня просто милый мальчик — и больше ничего...» Милый мальчик! А самой двадцать лет. Не легко было забыть ее,— прежнюю, скатерноподарскую...

Когда подали счет, она внимательно просмотрела его и не велела давать больше десяти процентов на прислугу. После этого им обоим показалось еще страшнее расстаться через полчаса.

— Поедемто ко мне,— сказал он печально.— Поездим, поговорим еще...

— Да, да,— ответила она, вставая, беря его под руку и прижимая ее к себе.

Ночной шофер, русский, привез их в одинокий переулок, к подъезду высокого дома, возле которого, в металлическом свете газового фонаря, сыпался дождь на жестяной чан с отбросами. Вошли в осветившийся вестибюль, потом в тесный лифт и медленно потянулись вверх, обнявшись и тихо целуясь. Он успел попасть ключом

в замок своей двери, пока не погасло электричество, и ввел ее в прихожую, потом в маленькую столовую, где в люстре скучно зажглась только одна лампочка. Лица у них были уже усталые. Он предложил еще выпить вина.

— Нет, дорогой мой,— сказала она,— я больше не могу.

Он стал просить:

— Выпьем только по бокалу белого, у меня стоит за окном отличное пун.

— Пейте, милый, а я пойду разденусь и помоюсь. И спать, спать. Мы не дети, вы, я думаю, отлично знали, что раз я согласилась схватить к вам... И вообще, зачем нам расставаться?

Он от волнения не мог ответить, молча провел ее в спальню, осветил ее и ванную комнату, дверь в которую была из спальни открыта. Тут лампочки горели ярко, всюду шло тепло от топок, меж тем как по крыше бегло и мерно стучал дождь. Она тотчас стала снимать через голову длинное платье.

Он вышел, выпил подряд два бокала ледяного, горького вина и не мог удержать себя, опять пошел в спальню. В спальне, в большом зеркале на стене напротив, ярко отражалась освещенная ванная комната. Она стояла спиной к нему, вся голая, белая, крепкая, наклонившись над умывальником, мой шею и груди.

— Нельзя сюда! — сказала она и, скинув купальный халат, не закрыв налитые груди, белый сильный живот и белые тугие бедра, подошла и как жена обняла его. И как жену обнял и он ее, все ее прохладное тело, целуя еще влажную грудь, пахнущую туалетным мылом, глаза и губы, с которых она уже вытерла краску.

Через день, оставив службу, она переехала к нему.

Однажды зимой он уговорил ее взять на свое имя сейф в Лионском кредите и положить туда все, что им было заработано:

— Предосторожность никогда не мешает,— говорил он.— *L'amour fait danser les ânes*¹, и я чувствую себя так, точно мне двадцать лет. Но мало ли что может быть...

¹ Любовь заставляет даже ослов танцевать (франц.).

На третий день Пасхи он умер в вагоне метро, — читал газету, вдруг откинул к спинке сиденья голову, закрыл глаза...

Когда она, в трауре, возвращалась с кладбища, был милый весенний день, кое-где плыли в мягком парижском небе весенние облака, и все говорило о жизни юной, вечной — и о ее, конченной.

Дома она стала убирать квартиру. В коридоре, в плакате, увидела его давнюю летнюю шинель, серую, на красной подкладке. Она сняла ее с вешалки, прижала к лицу и, прижимая, села на пол, вся дергаясь от рыданий и вскрикивая, моля кого-то о пощаде.

26 октября 1940

ГАЛЯ ГАНСКАЯ

Художник и бывший моряк сидели на террасе парижского кафе. Был апрель, и художник восхищался: как прекрасен Париж весной и как очаровательны парижанки в первых весенних костюмах.

— А в мои золотые времена Париж весной был, конечно, еще прекраснее, — говорил он. — И не потому только, что я был молод, — сам Париж был совсем другой. Подумай: ни одного автомобиля. И разве так, как теперь, жил Париж!

— А мне почему-то вспомнилась одесская весна, — сказал моряк. — Ты, как одессит, еще лучше меня знаешь всю ее совершенно особенную прелесть — это смешение уже горячего солнца и морской еще зимней свежести, яркого неба и весенних морских облаков. И в такие дни весенняя женская нарядность на Дерибасовской...

Художник, раскуривая трубку, крикнул: «Garçon, un demi!»¹ — и живо обернулся к нему:

— Извини, я тебя перебил. Представь себе — говорил о Париже, я тоже думал об Одессе. Ты совершенно прав, — одесская весна действительно нечто особенное. Только я всегда вспоминаю как-то нераздельно париж-

¹ Гарсон, кружку пива! (франц.)

ские весны и одесские, они у меня чередовались, ты ведь знаешь, как часто ездил я в те времена в Париж весной... Помнишь Галю Ганскую? Ты видел ее где-то и говорил мне, что никогда не встречал прелестнейшей девочки. Не помнишь? Но все равно. Я сейчас, заговорив о тогдашнем Париже, думал как раз и о ней, и о той весне в Одессе, когда она впервые зашла ко мне в мастерскую. Вероятно, у каждого из нас найдется какое-нибудь особенно дорогое любовное воспоминание или какой-нибудь особенно тяжкий любовный грех. Так вот Галя есть, кажется, самое прекрасное мое воспоминание и мой самый тяжкий грех, хотя, видит бог, все-таки невольный. Теперь это дело столь давнее, что я могу рассказать тебе его с полной откровенностью...

Я знал ее еще подростком. Росла она без матери, при отце, которого мать уже давно бросила. Был он очень состоятельный человек, а по профессии неудавшийся художник, любитель, как говорится, по такой страстный, что, кроме живописи, не интересовался ничем в мире и всю жизнь занимался только тем, что стоял за мольбертом и загораживал свой дом — у него была усадьба в Отраде — старыми и новыми картинами, скупая все, что ему нравилось, всюду, где возможно. Очень красивый был человек, дородный, высокий, с чудесной бронзовой бородой, полуполяк, полухохол, с повадками большого барина, гордый и изысканно-вежливый, внутренне очень замкнутый, но делавший вид очень открытого человека, особенно с нами: одно время все мы, молодые одесские художники, гурьбой ходили к нему каждое воскресенье года два подряд, и он всегда встречал нас с распростертыми объятиями, держался с нами, при всей разнице наших лет, совсем по-товарищески, без конца говорил о живописи, угощал на славу. Гале было тогда лет тринадцать — четырнадцать, и мы восхищались ею, конечно, только как девочкой: мила, резва, грациозна была она на редкость, личико с русыми локонами вдоль щек, как у ангела, но так кокетлива, что отец однажды сказал нам, когда она вбежала зачем-то к нему в мастерскую, что-то шепнула ему в ухо и тотчас выскочила воп:

— Ой, ой, что за девочка растет у меня, друзья мои! Боюсь я за нее!

Потом, с грубостью молодости, мы как-то сразу и все до единого, точно сговорившись, бросили ходить к нему, что-то надоело нам в Отраде — верно, его непрестанные разговоры об искусстве и о том, что он наконец открыл еще один замечательный секрет того, как надо писать. Я как раз в ту пору провел две весны в Париже, вообразил себя вторым Мопассаном по части любовных дел и, возвращаясь в Одессу, ходил пошлейшим щеголем: цилиндр, гороховое пальто до колен, кремовые перчатки, полулаковые ботинки с пуговками, удивительная тросточка, а к этому прибавь волнистые усы, тоже под Мопассана, и обращение с женщинами совершенно подлое по безответственности. И вот иду я однажды в чудесный апрельский день по Дерибасовской, перехожу Преображенскую и на углу, возле кофейни Либмана, встречаюсь вдруг с Галей. Помнишь пятиэтажный угловой дом, где была эта кофейня, — на углу Преображенской и Соборной площади, знаменитый тем, что весной, в солнечные дни, он почему-то всегда бывал унизан по карнизам скворцами и их щебетом? Мило и весело было это чрезвычайно. И вот представь себе: весна, всюду множество нарядного, беззаботного и приветливого народа, эти скворцы, сыплющие немолчным щебетом, точно каким-то солнечным дождем, — и Галя. И уже не подросток, не ангел, а удивительно хорошенькая тоненькая девушка во всем повзрослевшем, светло-сером, весеннем. Лицо под серой шляпкой наполовину закрыто пепельной вуалью, и сквозь нее сияют аквамариновые глаза. Ну, конечно, восклицания, расспросы и упреки: как вы все забыли папу, как давно не были у нас! Ах, да, говорю, так давно, что вы успели вырасти. Тотчас купил ей у оборванной девчонки букетик фиалок, она с быстрой благодарной улыбкой глазами тотчас, как полагается у всех женщин, сует его к лицу себе. — Хотите присядем, хотите шоколаду? — С удовольствием. — Подняла вуальку, пьет шоколад, празднично поглядывает и все расспрашивает о Париже, а я все гляжу на нее. — Папа работает с утра до вечера, а вы много работаете или все парижанками увлекаетесь? — Нет, больше не увлекаюсь, работаю и написал несколько порядочных вещей. Хотите зайти ко мне в мастерскую? Вам можно, вы же дочь художника,

и живу я в двух шагах отсюда.— Ужасно обрадовалась: — Конечно, можно! И потом, я никогда не была ни в одной мастерской, кроме папиной! — Опустила вуальку, схватила зонтик, я беру ее под руку, она на ходу попадает мне в ногу и смеется. — Галя, — говорю, — ведь мне можно называть вас Галей? — Быстро и серьезно отвечает: вам можно. — Галя, что с вами случилось? — А что? — Вы и всегда были прелестны, а теперь прелестны просто ва удивление! — Опять попадает в ногу и говорит не то шутя, не то серьезно: — Это еще что, то ли будет! — Ты помнишь темную, узкую лестницу на мою вышку со двора? Тут она вдруг притихла, идет, шурша нижней шелковой юбочкой, и все оглядывается. В мастерскую вошла даже с некоторым благоговением, начала шепотом: как-ак у вас тут хорошо, таинственно, какой страшно большой диван! и сколько картин вы написали, и все Париж... И стала ходить от картины к картине с тихим восхищением, заставляя себя быть даже не в меру восторженной, внимательной. Насмотрелась, вздохнула: да, сколько прекрасных вещей вы создали! — Хотите рюмочку портвейна и печений? — Не знаю... — Я взяла у нее зонтик, бросила его на диван, взяла ее ручку в лайковой белой перчатке: можно поцеловать? — Но я же в перчатке... — Расстегнул перчатку, поцеловал начало маленькой ладони. Опустила вуальку, без выражения смотрит сквозь нее аквамаринными глазами, тихо говорит: ну, мне пора. — Нет, говорю, сперва посидим немного, я вас еще не рассмотрел хорошенько. Сел и посадил ее к себе на колени, — знаешь эту восхитительную женскую тяжесть даже легеньких? Она как-то загадочно спрашивает: я вам нравлюсь? Посмотрел я на нее на всю, посмотрел на фиалки, которые она приколотла к своей новенькой жакетке, и даже засмеялся от удивления: а вам, говорю, вот эти фиалки нравятся? — Я не понимаю. — Что ж тут не понимать? Вот и вы вся такая же, как эти фиалки. — Опустив глаза, смеется: У нас в гимназии такие сравнения барышень с разными цветами называли писарскими. — Пусть так, но как же иначе сказать? — Не знаю... — И слегка болтает всящими нарядными ножками, детские губки полуоткрыты, поблескивают... Подвинула вуальку, отклонил головку, поцеловал — еще немного отклонила. Пошел по

скользкому шелковому зелепопатову чулку вверх, до застегжки на нем, до резинки, отстегнул ее, поцеловал теплое розовое тело начала бедра, потом опять в полуоткрытый ротик — стала чуть-чуть кусать мне губы...

Моряк с усмешкой покачал головой:

— *Vieux satyre!*¹

— Не говори глупостей, — сказал художник. — Мне все это очень больно вспоминать.

— Ну, хорошо, рассказывай дальше.

— Дальше было то, что я не видал ее целый год. Однажды, тоже весной, пошел наконец в Отраду и был встречен Ганским с такой трогательной радостью, что сгорел от стыда, как по-свински мы его бросили. Очень постарел, в бороде серебрится, но все та же одушевленность в разговорах о живописи. С гордостью стал показывать мне свои новые работы — летят над какими-то голубыми дюнами огромные золотые лебеди — старается, бедняк, не отстать от века. Я вру напропалую: чудесно, чудесно, большой шаг вперед вы сделали! Крепитесь, по сияет, как мальчик. — Ну, очень рад, очень рад, а теперь завтракать. — А где дочка? — Уехала в город. Вы ее не узнаете! Не девочка, а уже девушка и, главное, совсем, совсем другая: выросла, вытянулась, як та тополя! — Вот не повезло, думаю, я и пошел-то к старику только потому, что ужасно захотелось видеть ее, и вот, как парочно, она в городе. Позавтракал, расцеловал мягкую, душистую бороду, наобещал быть непременно в следующее воскресенье, вышел — а навстречу мне она. Радостно остановилась: вы? какими судьбами? были у папы? ах, как я рада! — А я еще больше, говорю, папа мне сказал, что вас теперь и узнать нельзя, уже не тополек, а целый тополь, — так оно и есть. — И действительно так: даже как будто и не барышня, а молоденькая женщина. Улыбается и вертит на плече раскрытым зонтиком. Зонтик белый, кружевной, платье и большая шляпа тоже белые, кружевные, волосы сбоку шляпки с прелестнейшим рыжим оттенком, в глазах уже нет прежней наивности, личико удлинилось... — Да, я ростом даже немножко выше вас. — Я только качаю головой: правда, правда... Прой-

¹ Старый сатир! (франц.)

демся, говорю, к морю. — Пройдемся. — Пошли между садами переулком, вижу, все время чувствует, что, говоря, что попало, я не свожу с нее глаз. Идет, стройно поводит плечами, зонтик закрыла, левой рукой держит кружевную юбку. Вышли на обрыв — подул свежим ветром. Сады уже одеваются, млеют под солнцем, а море точно сеперное, низкое, ледяное, заворачивает крутой зеленой волной, все в барашках, вдали тонет в сизой мути, одним словом, Поит Эксинский. Замолчали, стоим, смотрим и будто чего-то ждем, она, очевидно, думает то же, что и я — как она сидела у меня на коленях год тому назад. Я взял ее за талию и так сильно прижал всю к себе, что она выгнулась, ловлю губы — старается высвободиться, вертит головой, уклоняется и вдруг сдастся, даст мне их. И все это молча — ни я, ни она ни звука. Потом вдруг вырвалась и, поправляя шляпку, просто и убежденно говорит:

— Ах, какой вы негодяй. Какой негодяй.

Попернулась и, не оборачиваясь, скоро пошла по переулку.

— Да было у вас тогда в мастерской что-нибудь или нет? — спросил моряк.

— До конца не было. Целовались ужасно, ну и все прочее, но тогда меня жалость взяла: вся раскраснелась, как огонь, вся растрепалась, и вижу, что уже не владеет собой совсем по-детски — и страшно и ужасно хочется этого страшного. Сделал вид, что обиделся: ну не надо, не надо, не хотите, так не надо... Стал нежно целовать ручки, успокоилась...

— Но как же после этого ты целый год не выдал ее?

— А черт его знает как. Боялся, что второй раз не пожалею.

— Плохой же ты был Мопассан.

— Может быть. Но погоди, дай уж до конца расскажу. Не видел я ее еще с полгода. Прошло лето, стали все возвращаться с дач, хотя тут-то бы и жить на даче — эта бессарабская осень нечто божественное по спокойствию однообразных жарких дней, по ясности воздуха, по красоте ровной синевы моря и сухой желтизны кукурузных полей. Вернулся с дачи и я, иду раз опять мимо Либмана — и, представь себе, опять встречу она. Под-

ходит ко мне как ни в чем не бывало и начинает хохотать, очаровательно кривя рот: «Вот роковое место, опять Либман!»

— Что это вы такая веселая? Страшно рад вас видеть, но что с вами?

— Не знаю. После моря все время ног под собой не чувю от удовольствия бегать по городу. Загорела и еще вытянулась — правда?

Смотрю — правда, и, главное, такая веселость и свобода в разговоре, в смехе и во всем обращении, точно замуж вышла. И вдруг говорит:

— У вас еще есть портвейн и печенья?

— Есть.

— Я опять хочу посмотреть нашу мастерскую. Можно?

— Господи боже мой! Еще бы!

— Ну, так идем. И быстро, быстро!

На лестнице я ее поймал, она опять выпулась, опять замотала головой, но без большого сопротивления. Я довел ее до мастерской, целуя в закинутое лицо. В мастерской таинственно зашептала:

— Но послушайте, ведь это же безумие... Я с ума сошла...

А сама уже сдернула соломенную шляпку и бросила ее в кресло. Рыжеватые волосы подняты на макушку и заколоты черепаховым стоячим гребнем, на лбу подвигая челка, лицо в легком ровном загаре, глаза глядят бессмысленно-радостно... Я стал как попало раздевать ее, она поспешно стала помогать мне. Я в одну минуту скинул с нее шелковую белую блузку, и у меня, понимаешь, просто потемнело в глазах при виде ее розоватого тела с загаром на блестящих плечах и млечности приподнятых корсетом грудей с алыми торчащими сосками, потом от того, как она быстро выдернула из упавших юбок одна за другой стройные юбки в золотистых туфельках, в ажурных кремовых чулках, в этих, знаешь, батистовых широких панталонах с разрезом в шагу, как носили в то время. Когда я зверски кинул ее на подушки дивана, глаза у ней почернели и еще больше расширились, губы горячечно раскрылись, — как сейчас все это вижу, страстна она была необыкновенно... Но оставим это. Вот что случилось недели через две, в течение которых

она чуть не каждый день бывала у меня. Неожиданно вбегает она однажды ко мне утром и прямо с порога:

— Ты, говорят, на дпх в Италию уезжаешь?

— Да. Так что ж с того?

— Почему же ты не сказал мне об этом ни слова?

Хотел тайком уехать?

— Бог с тобой. Как раз пыпче собирался пойти к вам и сказать.

— При папе? Почему не мне наедине? Нет, ты никуда не поедешь!

Я по-дурацки вспыхнул:

— Нет, поеду.

— Нет, не поедешь.

— А я тебе говорю, что поеду.

— Это твое последнее слово?

— Последнее. Но пойми, что я вернусь через какой-нибудь месяц, много через полтора. И вообще, послушай, Галья...

— Я вам не Галья. Я вас теперь поняла — все, все поняла! И если бы вы сейчас стали клясться мне, что вы никуда и никогда вовеки не поедете, мне теперь все равно. Дело уже не в том!

И, распахнув дверь, с размаху хлопнула ею и зачастила каблучками вниз по лестнице. Я хотел кипуться за ней, но удержался: нет, пусть придет в себя, вечером отправлюсь в Отраду, скажу, что не хочу огорчать ее, в Италию не еду, и мы помиримся. Но часов в пять вдруг входит ко мне с дикими глазами художник Синани:

— Ты знаешь — у Ганского дочь отравилась! На-смерть! Чем-то, черт его знает, редким, молинепосным, стащила что-то у отца — помнишь, этот старый идиот показывал нам целый шкафчик с лдами, воображая себя Леопардо да Винчи. Вот сумасшедший народ эти проклятые поляки и польки! Что с пей вдруг случилось — непостижимо.

— Я хотел застрелиться, — тихо сказал художник, помолчав и набивая трубку. — Чуть с ума не сошел...

28 октября 1940

ГЕНРИХ

В сказочный морозный пестер с сирпевым пвеем в садах лнхач Касаткин мчал Глебова на высоких, узких санках впиз по Тверской в Лоскутную гостиницу — заезжали к Елисеєву за фруктами и вином. Над Москвой было еще светло, зеленело к западу чистое и прозрачное небо, тонко сквозили пролетами верхи колоколов, по впизу, в сизой морозной дымке, уже темнело и неподвижно и нежно сияли огни только что зажженных фонарей.

У подъезда Лоскутной, откидывая волчью полость, Глебов приказал засыпанному снежной пылью Касаткину приехать за ним через час:

— Отвезешь мепя на Брестский.

— Слушаю-с,— ответил Касаткин.— За границу, значит, отправляется.

— За границу.

Круто поворачивая высокого старого рысака, скребя подрезами, Касаткин неодобрительно качнул шапкой:

— Охота лучше неволи!

Большой и несколько запущенный вестибюль, просторный лифт и пестроглазый, в ржавых веспушках, мальчик Вася, вежливо стоявший в своем мундирчике, пока лифт медленно тянулся вверх,— вдруг стало жалко

покидать все это, давно знакомое, привычное. «И правда, зачем я еду?» Он посмотрел на себя в зеркало: молод, бодр, сухо-породист, глаза блестят, иней на красивых усах, хорошо и легко одет... в Ницце теперь чудесно, Генрих отличный товарищ... а главное, всегда кажется, что где-то там будет что-то особенно счастливое, какая-нибудь встреча... остановишься где-нибудь в пути — кто тут жил перед тобою, что висело и лежало в этом гардеробе, чьи это забытые в почтом столике женские шпильки? Опять будет запах газа, кофе и пива на вепском вокзале, ярлыки на бутылках австрийских и итальянских вин на столиках в солпечном вагоне-ресторане и снегах Земмеринга, лица и одежды европейских мужчин и женщин, наполняющих этот вагон к завтраку... Потом ночь, Италия... Утром по дороге вдоль моря к Ницце то пролеты в грохочущей и дымлящей темноте тупелей и слабо горящие лампочки на потолке купе, то остановки и что-то нежно и непрерывно звяпящее на маленьких станциях в цветущих розах, возле млеющего в жарком солнце, как сплав драгоценных камней, заливишке... И он быстро пошел по коррам теплых коридоров Лоскутной.

В номере было тоже тепло, приятно. В окна еще светила вечерняя заря, прозрачное погнутое небо. Все было прибрано, чемоданы готовы. И опять стало немного грустно — жаль покидать привычную комнату и всю московскую зимнюю жизнь, и Надю, и Ли...

Надя должна была вот-вот забежать проститься. Он поспешно спрятал в чемодан вино и фрукты, бросил пальто и шапку на диван за круглым столом и тотчас услышал скорый стук в дверь. Не успел отворить, как она вошла и обняла его, вся холодная и нежно-душистая, в беличьей шубке, в беличьей шапочке, во всей свежести своих шестнадцати лет, мороза, раскрасневшегося личика и ярких зеленых глаз.

— Едешь?

— Еду, Надюша...

Она вздохнула и упала в кресло, расстегивая шубку.

— Знаешь, я, слава богу, ночью заболела... Ах, как бы я хотела проводить тебя на вокзал! Почему ты мне не позволяешь?

— Надюша, ты же сама знаешь, что это невозможно, меня будут провожать совсем незнакомые тебе люди, ты будешь чувствовать себя лишней, одинокой...

— А за то, чтобы поехать с тобой, я бы, кажется, жизнь отдала!

— А я? Но ты же знаешь, что это невозможно...

Он тесно сел к ней в кресло, целуя ее в теплую шею, и почувствовал на своей щеке ее слезы.

— Надюша, что же это?

Она подвила лицо и с усилием улыбнулась:

— Нет, нет, я не буду... Я не хочу по-жепски стеснять тебя, ты поэт, тебе необходима свобода.

— Ты у меня умница,— сказал он, умиляясь ее серьезностью и ее детским профилем — чистотой, нежностью и горячим румянцем щеки, треугольным разрезом полураскрытых губ, вопрошающей невинностью поднятой ресницы в слезах.— Ты у меня не такая, как другие женщины, ты сама поэтесса,

Она топнула в пол:

— Не смей мне говорить о других женщинах!

И с умоляющими глазами зашептала ему в ухо, лаская мехом и дыханием:

— На минутку... Нынче еще можно...

Подъезд Брестского вокзала светил в синей тьме морозной ночи. Войдя в гулкий вокзал вслед за торопящимся посыльщиком, он тотчас увидал Ли: тонкая, длинная, в прямой черно-маслянистой каракулевой шубке и черном бархатном большом берете, из-под которого длинными завитками висели вдоль щек черные бусы, держа руки в большой каракулевой муфте, она зло смотрела на него своими страшными в своем великолепии черными глазами.

— Все-таки уезжаешь, негодяй,— безразлично сказала она, беря его под руку и спеша вместе с ним своими высокими серыми ботинками вслед за посыльщиком.— Погоди, пожалеешь, другой такой не найдешь, останешься со своей дурочкой поэтессой.

— Эта дурочка еще совсем ребенок, Ли, — как тебе не грех думать бог знает что.

— Молчи. Я-то не дурочка. И если правда есть это бог знает что, я тебя серной кислотой оболью.

Из-под готового поезда, сверху освещенного матовыми электрическими шарами, валил горячо шипящий серый пар, пахнувший каучуком. Международный вагон выделялся своей желтоватой деревянной обшивкой. Внутри, в его узком коридоре под красным ковром, в пестром блеске степ, обитых тисценой кожей, и толстых, зернистых дверных стекол, была уже загралица. Проводник-поляк в форменной коричневой куртке отворил дверь в маленькое купе, очень жаркое, с тугой, уже готовой постелью, мягко освещенное настольной лампочкой под шелковым красным абажуром.

— Какой ты счастливый! — сказала Ли. — Тут у тебя даже собственный пужник есть. А рядом кто? Может, какая-нибудь стерва-спутница?

И она подергала дверь в соседнее купе:

— Нет, тут заперто. Ну, счастлив твой бог! Целуй меня скорей, сейчас будет третий звонок...

Она вынула из муфты руку, голубовато-бледную, изысканно-худую, с длинными, острыми ногтями, и, взвиваясь, порывисто обняла его, неумеренно сверкая глазами, целовала и кусала то в губы, то в щеки и шепча:

— Я тебя обожаю, обожаю, негодяй!

За черным окном огненной ведьмой неслись назад крупные оранжевые искры, мелькали освещаемые поездом белые снежные скаты и черные чащи соснового леса, таинственные и угрюмые в своей неподвижности, в загадочности своей зимней почной жизни. Он закрыл под столиком раскаленную топку, опустил на холодное стекло плотную штору и постучал в дверь возле умывальника, соединявшую его и соседнее купе. Дверь оттуда отворилась, и, смеясь, вышла Генрих, очень высокая, в сером платье, с греческой притеской рыже-лимонных волос, с тонкими, как у англичанки, чертами лица, с живыми лютарио-коричневыми глазами.

— Ну что, попрощался? Я все слышала. Мне больше всего понравилось, как она ломилась ко мне и обложила меня стервой.

— Начинаясь ревновать, Генрих?

— Не начинаю, я продолжаю. Не будь она так опасна, я давно бы потребовала ее полной отставки.

— Вот в том-то и дело, что опасна, попробуй-ка сразу оставить такую! А потом, ведь переносу же я твоего австрийца и то, что послезавтра ты будешь почевать с ним.

— Нет, почевать я с ним не буду. Ты отлично знаешь, что я еду прежде всего затем, чтобы развизаться с ним.

— Могла бы сделать это письменно. И отлично могла бы ехать прямо со мной.

Она вздохнула и села, поправляя блестящими пальцами волосы, мягко касаясь их, положив ногу на ногу в серых дамшевых туфлях с серебряными пряжками:

— Нет, мой друг, я хочу расстаться с ним так, чтобы иметь возможность продолжать работать у него. Он человек расчетливый и пойдет на мирный разрыв. Кого он найдет, кто бы мог, как я, снабжать его журнал всеми театральными, литературными, художественными скандалами Москвы и Петербурга? Кто будет переводить и устраивать его гениальные повеллы? Нынче пятнадцатое. Ты, значит, будешь в Ницце восемнадцатого, а я не позднее двадцатого, двадцать первого. И довольно об этом, мы ведь с тобой прежде всего добрые друзья и товарищи.

— Товарищи... — сказал он, радостно глядя на ее тонкое лицо в алых прозрачных пятнах на щеках. — Конечно, лучшего товарища, чем ты, Генрих, у меня никогда не будет. Только с тобой одной мне всегда легко, свободно, можно говорить обо всем действительно как с другом, но, знаешь, какая беда? Я все больше влюбляюсь в тебя.

— А где ты был вчера вечером?

— Вечером? Дома.

— А с кем? Ну да бог с тобой. А ночью тебя видел в «Стрельце», ты был в какой-то большой компании в

отдельном кабинете, с цыганами. Вот это уже дурной тон — Степы, Груши, их роковые очи...

— А пенские пропойцы, вроде Пшибышевского?

— Они, мой друг, случайность и совсем не по моей части. Она правда так хороша, как говорят, эта Маша?

— Цыганщина тоже не по моей части, Говрих. А Маша...

— Ну, пу, опиши мне ее.

— Нет, вы положительно становитесь ревнивы, Елена Геприховна. Что ж тут описывать, не видала ты, что ли, цыганок? Очень худа и даже не хороша — плоские дегтярные волосы, довольно грубое кофейное лицо, бессмысленные сипелатые белки, лошадиные ключицы в каком-то желтом крупном ожерелье, плоский живот... это-то, впрочем, очень хорошо вместе с длинным шелковым платьем цвета золотистой луковой шелухи. И знаешь — как подберет на руки шаль из тяжелого старого шелка и пойдет под бубны мелькать из-под подола маленькими башмачками, мотая длинными серебряными серьгами, — просто несчастье! Но идем обедать.

Она встала, легонько усмехнувшись:

— Идем. Ты несправим, друг мой. Но будем довольны тем, что бог дает. Смотри, как у нас хорошо. Две чудесных комнаты!

— И одна совсем лишняя...

Она накиннула на волосы вязаный оренбургский платок, он надел дорожную каскетку, и они, качаясь, пошли по бесконечным туннелям вагонов, переходя железные лязгающие мостики в холодных, сквозящих и сыплющих снежной пылью гармониках между вагонами.

Он вернулся один, — сидел в ресторане, курил, — она ушла вперед. Когда вернулся, почувствовал в теплом купе счастье совсем семейной ночи. Она откинула на постели угол одеяла и простыни, вынула его ночное белье, поставила на столик вино, положила плетеную из драпок коробку с грушами и стояла, держа шпильки в губах, подняв голые руки к волосам и выставив полные груди, перед зеркалом над умывальником, уже в одной рубашке и на босу ногу в ночных туфлях,

оторочепных песком. Талия у нее была тонкая, бедра полновесные, щиколки легкие, точеные. Он долго целовал ее стоя, потом они сели на постель и стали пить рейнское вино, опять целуясь холодными от випа губами.

— А Ли? — сказала она. — А Маша?

Ночью, лежа с ней рядом в темноте, он говорил с шутиливой грустью:

— Ах, Генрих, как люблю я вот такие вагонные ночи, эту темноту в мотающемся вагоне, мелькающие за шторой огни станции — и вас, вас, «жены человеческие, сеть прельщения человеком»! Эта «сеть» нечто поистине неизъяснимое, божественное и дьявольское, и когда я пишу об этом, пытаюсь выразить его, меня упрекают в бесстыдстве, в низких побуждениях... Подлые души! Хорошо сказано в одной старинной книге: «Сочинитель имеет такое же полное право быть смелым в своих словесных изображениях любви и лиц ее, каковое во все времена предоставлено было в этом случае живописцам и ваятелям: только подлые души видят подлое даже в прекрасном или ужасном».

— А у Ли, — спросила Генрих, — груди, конечно, острые, маленькие, торчащие в разные стороны? Верный признак истеричек.

— Да.

— Она глупа?

— Нет... Впрочем, не знаю. Иногда как будто очень умная, разумная, проста, легка и весела, все схватывает с первого слова, а иногда несет такой высокопарный, пошлый или злой, запальчивый вздор, что я сижу и слушаю ее с напряжением и тупостью идиота, как глухопемой... Но ты мне надоела с Ли.

— Надоела, потому что не хочу больше быть товарищем тебе.

— И я этого больше не хочу. И еще раз говорю: напиши этому венскому прохвосту, что ты увидишься с ним на возвратном пути, а сейчас нездорова, должна отдохнуть после инфлуэнции в Ницце. И поедем, не расставаясь, и не в Ниццу, а куда-нибудь в Италию...

— А почему не в Ниццу?

— Не знаю. Вдруг почему-то расхотелось. Главное — поедем вместе!

— Милый, мы об этом уже говорили. И почему Италия? Ты же уверял меня, что возненавидел Италию.

— Да, правда. Я зол на нее из-за наших эстетствующих болванов. «Я люблю во Флоренции только треченто...» А сам родился в Белеве и во Флоренции был всего одну неделю за всю жизнь. Треченто, кватроченто... И я возненавидел всех этих Фра Анжелико, Гирляндайо, треченто, кватроченто и даже Беатриче и сухиликого Давте в бабьем шлыке и лавровом венке... Ну, если не в Италию, то поедем куда-нибудь в Тироль, в Швейцарию, вообще в горы, в какую-нибудь каменную деревушку среди этих торчащих в небе пестрых от снега гранитных дьяволов... Представь себе только: острый, сырой воздух, эти дикие каменные хлипы, крутые крыши, сбитые в кучу возле горбатого каменного моста, подним быстрый шум молочно-зеленой речки, бряканье колоколов тесно, тесно идущего овечьего стада, тут же аптека и магазин с альпенштоками, страшно теплый отельчик с ветвистыми оленьими рогами над дверью, словно нарочно вырезанными из пемзы... словом, дно ущелья, где тысячу лет живет эта чуждая всему миру горная дикость, родит, венчает, хоропит, и века веков высокоглядит из-за гранитов над нею какая-нибудь вечно белая гора, как испанский мертвый ангел... А какие там девки, Генрих! Тугие, краснощекие, в черных корсажах и красных шерстяных чулках...

— Ох, уж мне эти поэты! — сказала она с ласковым зевком. — И опять девки, девки... Нет, в деревушке холодно, милый. И никаких девок я больше не желаю...

В Варшаве, под вечер, когда переезжали на Венский вокзал, дул навстречу мокрый ветер с редким и крупным холодным дождем, у морщинистого извозчика, сидевшего на козлах просторной коляски и сердито гвавшего пару лошадей, трепались литовские усы и текло с кожаного картуза, улицы казались провинциальными.

На рассвете, подняв штору, он увидел бледную от жидкого снега равнину, на которой кое-где краснели кирпичные домики. Тотчас после того остановились и довольно долго стояли на большой станции, где, после России, все казалось очень мало — вагончики на путях, узкие рельсы, железные столбики фонарей — и всюду чернели вороха каменного угля; маленький солдат с винтовкой, в высоком кепи, усеченным конусом, и в короткой мышино-голубой шинели шел, переходя пути, от паровозного депо; по деревянной пастилке под окнами ходил долговязый усатый человек в клетчатой куртке с воротником из заячьего меха и зеленой тирольской шляпе с пестрым перышком сзади. Генрих проснулась и шепотом попросила опустить штору. Он опустил и лег в ее тепло, под одеяло. Она положила голову на его плечо и заплакала.

— Генрих, что ты? — сказал он.

— Не знаю, милый, — ответила она тихо. — Я на рассвете часто плачу. Проснешься, и так вдруг станет жалко себя... Через несколько часов ты уедешь, а я осталась одна, пойду в кафе ждать своего австрийца... А вечером опять кафе и венгерский оркестр, эти режущие душу скрипки...

— Да, да, и пропитательные цимбалы... Вот я и говорю: пошли австрийка к черту и поедем дальше.

— Нет, милый, пельзя. Чем же я буду жить, поссорившись с ним? Но клянусь тебе, ничего у меня с ним не будет. Знаешь, в последний раз, когда я уезжала из Вены, мы с ним уже выясняли, как говорится, отношения — ночью, на улице, под газовым фонарем. И ты не можешь себе представить, какая ненависть была у него во мне! Лицо от газа и злобы бледно-зеленое, оливковое, фисташковое... Но, главное, как я могу теперь, после тебя, после этого купе, которое сделало нас уж такими близкими...

— Слушай, правда?

Она прижала его к себе и стала целовать так крепко, что у него перехватывало дыхание.

— Генрих, я не узнаю тебя.

— И я себя. Но иди, иди ко мне.

- Погоди...
- Нет, нет, сию минуту!
- Только одно слово: скажи точно, когда ты выедешь из Вены?
- Нынче вечером, нынче же вечером!
- Поезд уже двигался, мимо двери мягко шли и звенели по ковру шпору пограничников.

И был венский вокзал, и запах газа, кофе и пива, и уехала Генрих, нарядная, грустно улыбающаяся, на нервной, деликатной европейской кляче, в открытом ландо с красноносым извозчиком в пелерине и лакированном цилиндре на высоких козлах, снявшим с этой клячи одеяльце и загнувшим и захлопавшим длинным бичом, когда она задергала своими аристократическими, длинными, разбитыми ногами и косо побежала с своим коротко обрезанным хвостом вслед за желтым трамваем. Был Земмеринг и вся заграничная праздничность горного полдня, левое жаркое окно в вагоне-ресторане, букетик цветов, аполлинарис и красное вино «Феслау» на ослепительно-белом столике возле окна и ослепительно-белый полуденный блеск снеговых вершин, восстававших в своем торжественно-радостном облачении в райское индиго неба, рукой подать от поезда, извивавшегося по обрывам над узкой бездной, где холодно синела зима, еще утренняя тень. Был морозный, первозданно-непорочный, чистый, мертвенно алевший и синевший к ночи вечер на каком-то перевале, тонувшем со всеми своими зелеными слямями в великом обилии свежих пухлых снегов. Потом была долгая стоянка в темной теснине, возле итальянской границы, среди черного Дантова ада гор, и какой-то воспаленно-красный, дымящийся огонь при входе в законченную пасть туннеля. Потом — все уже совсем другое, ни на что прежнее не похожее: старый, облезло-розовый итальянский вокзал и петушинная гордость и петушьи перья на касках коротконогих вокзальных солдатиков, и вместо буфета на вокзале — одинокий мальчишка, лениво кативший мимо поезда тележку, на которой были только апельсины и фиаски. А даль-

ше уже вольный, все ускоряющийся бег поезда вниз, вниз и все мягче, все теплее бьющий из темноты в открытые окна ветер Ломбардской равнины, усеянной вдали ласковыми огнями милой Италии. И перед вечером следующего, совсем летнего дня — вокзал Ниццы, сезонное многолюдство на его платформах...

В синие сумерки, когда до самого Антибского мыса, песельным призраком таявшего на западе, протянулись изогнутой алмазной цепью несконченные береговые огни, он стоял в одном фраке на балконе своей компании в отеле на набережной, думал о том, что в Москве теперь двадцать градусов морозу, и ждал, что сейчас постучат к нему в дверь и подадут телеграмму от Генриха. Обедая в столовой отеля, под сверкающими люстрами, в тесноте фраков и вечерних женских платьев, опять ждал, что вот-вот мальчик в голубой форменной курточке до пояса и в белых вязаных перчатках почтительно поднесет ему на подносе телеграмму; расселинно ел жидкий суп с кореньями, пил красное бордо и ждал; пил кофе, курил в вестибюле и опять ждал, все больше волнуясь и удивляясь: что это со мною, с самой ранней молодости не испытывал ничего подобного. Но телеграммы все не было. Блестя, мелькая, скользили вверх и вниз лифты, бегали взад и вперед мальчики, разнося папиросы, сигары и вечерние газеты, ударил с астрады струнный оркестр — телеграммы все не было, а был уже одиннадцатый час, а поезд из Вены должен был привезти ее в двенадцать. Он выпил за кофе пять рюмок коньяку и, утомленный, брезгливый, поехал в лифте к себе, злобно глядя на мальчика в форме: «Ах, какая каналья вырастет из этого хитрого, услужливого, уже насквозь развращенного мальчишки! И кто это выдумывает всем этим мальчишкам какие-то дурацкие шапочки и курточки, то голубые, то коричневые, с погончиками, каптиками!»

Не было телеграммы и утром. Он позвонил, молодой лакей во фраке, итальянский красавчик с газельими глазами, принес ему кофе: «Pas de lettres, monsieur, pas de télégrammes»¹. Он постоял в пижаме

¹ Нет писем, сударь, нет телеграмм (франц.).

возле открытой на балкон двери, щурясь от солнца и пляшущего золотыми иглами моря, глядя на пабережную, на густую толпу гуляющих, слушая доносящиеся снизу, из-под балкона, итальянское пение, изнемогающее от счастья, и с наслаждением думал:

«Ну и черт с ней. Все понятно».

Он поехал в Монте-Карло, долго играл, проиграл двести франков, поехал назад, чтобы убить время, на извозчике — ехал чуть не три часа: топ-топ, топ-топ, уи! и крутой выстрел бича в воздухе... Портье радостно осклабился:

— Pas de télégrammes, monsieur!

Он тупо одевался к обеду, думая все одно и то же:

«Если бы сейчас вдруг постучали в дверь и она вдруг вошла, спеша, волнуясь, на ходу объясняя, почему она не телеграфировала, почему не приехала вчера, я бы, кажется, умер от счастья! Я сказал бы ей, что никогда в жизни, никого на свете так не любил, как ее, что бог многое простит мне за такую любовь, простит даже Надю, — возьми меня всего, всего, Генрих! Да, а Генрих обедает сейчас со своим австрийком. Ух, какое это было бы упоение — дать ей самую зверскую пощечину и проломить ему голову бутылкой шампанского, которое они распивают сейчас вместе!»

После обеда он ходил в густой толпе по улицам, в теплом воздухе, в сладкой вошн копеечных итальянских сигар, выходил на пабережную, к смоляной черноте моря, глядел на драгоценное ожерелье его черного изгиба, печально пропадающего вдаль направо, заходил в бары и все пил, то копыль, то джин, то виски. Возвращаясь в отель, он, белый как мел, в белом галстуке, в белом жилете, в цилиндре, важно и небрежно подошел к портье, бормоча мертвеющими губами:

— Pas de télégrammes?

И портье, делая вид, что ничего не замечает, ответил с радостной готовностью:

— Pas de télégrammes, monsieur!

Он был так пьян, что заснул, сбросив с себя только цилиндр, пальто и фрак, — упал навзничь и тотчас головокружительно полетел в бездонную темноту, испещренную огненными звездами.

На третий день он крепко заснул после завтрака и, проснувшись, вдруг взглянул на все свое жалкое и постыдное поведение трезво и твердо. Он потребовал к себе в комнату чаю и стал убирать из гардероба вещи в чемоданы, стараясь больше не думать о пей и не жалеть о своей бессмысленной, испорченной поездке. Перед вечером спустился в вестибюль, заказал приготовить счет, спокойным шагом пошел к Куку и взял билет в Москву через Венецию в вечернем поезде: пробуду в Венеции день и в три часа ночи прямым путем, без остановок, домой, в Лоскутную... Какой он, этот австрияк? По портретам и по рассказам Генриха, рослый, жилистый, с мрачным и решительным — конечно, наигранным — взглядом кососклоненного из-под широкополой шляпы лица... Но что о нем думать! И мало ли что будет еще в жизни! Завтра Венеция. Опять пение и гитары уличных певцов на набережной под отелем, — выделяется резкий и безучастный голос черной простоволосой женщины, с шалью на плечах, вторящей разливающемуся коротконогому, кажущемуся с высоты карликом, тенору в шляпе пищего... старичок в лохмотьях, помогающий входить в гондолу — прошлый год помогал входить с огнеглазой сицилианкой в хрустальных качающихся серьгах, с желтой кистью цветущей мимозы в волосах цвета маслины... запах гниющей воды канала, погребально лакированная внутри гондола с зубчатой, хищной секирой на носу, ее покачивание и высоко стоящий на корме молодой гребец с тонкой, перепоясанной красным шарфом талией, однообразно подающийся вперед, налегая на длинное весло, классически отставивши левую ногу назад...

Вечерело, вечернее бледное море лежало спокойно и плоско, зеленоватым сплавом с опаловым гляncем, над ним зло и жалостно надрывались чайки, чуя на завтра непогоду, дымчато-сизый запад за Антибским мысом был мутен, в нем стоял и мерк диск маленького солнца, апельсина-королька. Он долго глядел на него, подавленный ровной безнадежной тоской, потом очнулся и бод-

ро пошел к своему отелю. «Journaux étrangers!»¹ — крикнул бежавший навстречу газетчик и на бегу сунул ему «Новое время». Он сел на скамью и при гаснущем свете зари стал рассеянно развертывать и просматривать еще свежие страницы газеты. И вдруг вскочил, оглушенный и ослепленный как бы взрывом магии:

«Вена. 17 декабря. Сегодня, в ресторане «Gränzenging» известный австрийский писатель Артур Шпиглер убил выстрелом из револьвера русскую журналистку и переводчицу многих современных австрийских и немецких повеллистов, работавшую под псевдонимом «Георих»,

10 ноября 1940

¹ Иностраные газеты! (франц.)

НАТАЛИ

I

В то лето я впервые падел студенческий картуз и был счастлив тем особым счастьем начала молодой свободной жизни, что бывает только в эту пору. Я вырос в строгой дворянской семье, в деревне, и юношей, горячо мечтая о любви, был еще чист душой и телом, краснел при вольных разговорах гимназических товарищей, и они морщились: «Шел бы ты, Медерский, в мопахи!» В то лето я уже не краснел бы. Приехав домой на каникулы, я решил, что настало и для меня время быть, как все, нарушить свою чистоту, искать любви без романтики, и, в силу этого решения, да и желания показать свой голубой околыш, стал ездить в поисках любовных встреч по соседним имениям, по родным и знакомым. Так попал я в имение моего дяди по матери, отставного и давно овдовевшего улана Черкасова, отца единственной дочери, а моей двоюродной сестры Софии...

Я приехал поздно, и в доме встретила меня только София. Когда я выскочил из тарантаса и вбежал в темную прихожую, она вышла туда в почпном фланелевом халатике, высоко держа в левой руке свечку, подстави-

ла мне для поцелуя щеку и сказала, качая головой со своей обычной насмешливостью:

— Ах, вечно и всюду опаздывающий молодой человек!

— Ну, уж на этот раз никак не по своей вине, — ответил я. — Опоздал не молодой человек, а поезд.

— Тише, все спят. Целый вечер умирали от нетерпения, ожидания и наконец махнули на тебя рукой. Папа ушел спать рассерженный, обругав тебя вертопрахом, а Ефрема, очевидно оставшегося на станции до утреннего поезда, старым дураком, Натали ушла обиженная, прислуга тоже разошлась, одна я оказалась терпелива и верна тебе... Ну, раздевайся и пойдем ужинать.

Я ответил, любуясь ее синими глазами и поднятой, открытой до плеча рукой:

— Спасибо, милый друг. Убедиться в твоей верности мне теперь особенно приятно — ты стала совершенной красавицей, и я имею на тебя самые серьезные виды. Какая рука, шел и как соблазнителен этот мягкий халатик, под которым, верно, ничего нет!

Она засмеялась:

— Почти ничего. Но и ты стал хоть куда и очень возмужал. Живой взгляд и пошлые черные усики... Только что это с тобой? Ты за эти два года, что я не видала тебя, превратился из вечно вспыхивающего от застенчивости мальчишки в очень интересного пахала. И это сулило бы нам много любовных утех, как говорили наши бабушки, если бы не Натали, в которую ты завтра же утром влюбишься до гроба.

— Да кто это Натали? — спросил я, входя за ней в освещенную яркой висюльей лампой столовую с открытыми в черноту теплой и тихой летней почти окнами.

— Это Наташа Станкевич, моя подруга по гимназии, приехавшая погостить у меня. И вот это уж действительно красавица, не то что я. Представь себе: прелестная головка, так называемые «золотые» волосы и черные глаза. И даже не глаза, а черные солища, выражаясь по-персидски. Ресницы, конечно, огромные и тоже черные, и удивительный золотистый цвет лица, плечей и всего прочего.

— Чего прочего? — спросил я, все больше восхищаясь тоном нашего разговора.

— А вот мы завтра утром пойдем с ней купаться — советую тебе залезть в кусты, тогда увидишь чего. И сложена, как молоденькая нимфа...

На столе в столовой были холодные котлеты, кусок сыру и бутылка красного крымского вина.

— Не прогневайся, больше ничего нет, — сказала она, садясь и наливая вина мне и себе. — И водки нет. Ну, дай бог, чокнемся хоть вином.

— А что имеешь дай бог?

— Найти мне поскорей такого жениха, что пошел бы к нам «во двор». Ведь мне уже двадцать первый год, а выйти куда-нибудь замуж на сторону я никак не могу: с кем же останется папа?

— Ну, дай бог!

И мы чокнулись, и, медленно выпив весь бокал, она опять со странной усмешкой стала глядеть на меня, на то, как я работаю вилок, стала как бы про себя говорить:

— Да, ты ничего себе, похож на грузина и довольно красив, прежде был уж очень тощ и зелен лицом. Вообще очень изменился, стал легкий, приятный. Только вот глаза бегают.

— Это потому, что ты меня смущаешь своими престестиями. Ты ведь тоже не совсем такая была прежде...

И я весело осмотрел ее. Она сидела с другой стороны стола, вся взобравшись на стул, поджав под себя ногу, положив полное колено на колено, немного боком ко мне, под лампой блеснул ровный загар ее руки, были синие-лиловые усмехающиеся глаза и красновато отливали каштаном густые и мягкие волосы, заплетенные на ночь в большую косу; ворот распахнувшегося халатника открывал круглую загорелую шею и начало полнющей груди, на которой тоже лежал треугольник загара: на левой щеке у нее была родинка с красивым завитком черных волос.

— Ну, а что папа?

Она, продолжая глядеть все с той же усмешкой, вынула из кармана маленький серебряный портсигар и се-

ребрявую коробочку со спичками и закурила с некоторой даже излишней ловкостью, поправляя под собой поджатое бедро:

— Папа, слава богу, молодцом. По-прежнему прям, тверд, постукивает костылем, избивает седой кок, тайком подкрашивает чем-то бурым усы и баки, молодецки поглядывает на Христа... Только еще больше прежнего и еще настойчивее трясет, качает головой. Похоже, что никогда ни с чем не соглашается,— сказала она и засмеялась.— Хочешь папиросу?

Я закурил, хотя еще не курил тогда, она опять палила мне и себе и посмотрела в темноту за открытым окном:

— Да, пока все слава богу. И прекрасное лето,— ночь-то какал, а? Только соловьи уж замолчали. И я правда очень тебе рада. Послала за тобой еще в шесть часов, боялась, как бы не опоздал выживший из ума Ефрем к поезду. Ждала тебя нетерпеливее всех. А потом даже довольна была, что все разошлись и что ты опаздываешь, что мы, если ты приедешь, посидим наедине. Я почему-то так и думала, что ты очень изменился, с такими, как ты, всегда бывает так. И знаешь, это такое удовольствие — сидеть одной по всем доме в летнюю ночь, когда ждешь кого-нибудь с поезда, и наконец услышать, что едут, погромыхивают бубенчики, подкатывают к крыльцу...

Я крепко взял через стол ее руку и подержал в своей, уже чувствуя тягу ко всему ее телу. Она с веселым спокойствием пускала из губ колечки дыма. Я бросил руку и будто шутя сказал:

— Вот ты говоришь Натали... Никакая Натали с тобой не сравнится... Кстати, кто она, откуда?

— Наша воронежская, из прекрасной семьи, очень богатой когда-то, теперь же просто нищей. В доме говорят по-английски и по-французски, а есть нечего... Очень трогательная девочка, стройненькая, еще хрупкая. Умница, только очень скрытная, не сразу разберешь, умна или глупа... Эти Станкевичи педалекие соседи твоего милейшего кузена Алексея Мещерского, и Натали говорит, что он что-то частенько стал засажать к ним и жаловаться на свою холостую жизнь. Но он ей не нравится. А по-

том — богат, подумают, что вышла из-за денег, пожертвовала собой для родителей.

— Так,— сказал я.— Но вернемся к делу. Натали, Натали, а как же наш-то с тобой роман?

— Натали нашему роману все-таки не помешает,— ответила она.— Ты будешь сходить с ума от любви к ней, а целоваться будешь со мной. Будешь плакать у меня на груди от ее жестокости, а я буду тебя утешать.

— Но ведь ты же знаешь, что я давным-давно влюблен в тебя.

— Да, но ведь это была обычная влюбленность в куклу и притом уж слишком подколодная, ты тогда только смешон и скучен был. Но бог с тобой, прощаю тебе твою прежнюю глупость и готова начать наш роман завтра же, несмотря на Натали. А пока идем спать, мне завтра рано вставать по хозяйству.

И она встала, запахивая халатик, взяла в прихожей почти догоревшую свечу и повела меня в мою комнату. И на пороге этой комнаты, радуясь и дивясь тому, чему я в душе дивился и радовался весь ужин,— такой счастливой удаче своих любовных надежд, которая вдруг выпала на мою долю у Черкасовых,— я долго и жадно целовал и прижимал ее к прилолке, а она сумрачно закрывала глаза, все ниже опуская капающую свечу. Уходя от меня с пуцовым лицом, она погрозила мне пальцем и тихо сказала:

— Только смотри теперь: завтра, при всех, не смей пожирать меня «страстными взорами»! Избавь бог, если заметит что-нибудь папа. Он меня бонется ужасно, а я его еще больше. Да и не хочу, чтобы Натали заметила что-нибудь. Я ведь очень стыдлива, не суди, пожалуйста, по тому, как я веду себя с тобой. А не исполнишь моего приказания, сразу станешь противен мне..

Я разделся и упал в постель с головокружением, но уснул сладко и мгновенно, разбитый счастьем и усталостью, совсем не подозревая, какое великое несчастье ждет меня впереди, что шутки Сони окажутся не шутками.

Впоследствии я не раз вспоминал, как некое злое предзнаменование, что, когда я пошел в свою комнату и чиркнул спичкой, чтобы зажечь свечу, на меня

метнулась крупная летучая мышь. Она метнулась к моему лицу так близко, что я даже при свете спички ясно увидал ее мерзкую темную бархатистость и ушастую, курносую, похожую на смерть, хищную мордочку, потом с гадким трепетанием, изламываясь, нырнула в черноту открытого окна. Но тогда я тотчас забыл о ней.

II

В первый раз я видел Наталью на другой день утром только мельком: она вдруг вскочила из прихожей в столовую, гляннула, — была еще не причесана и в одной легкой распахонке из чего-то оранжевого; — и, сверкнув ярким оранжевым, золотистой яркостью волос и черными глазами, исчезла. Я был в ту минуту в столовой один, только что копчил пить кофе, — улан кончил раньше и ушел, — и, встав из-за стола, случайно обернулся...

Я проснулся в то утро довольно рано, в еще полной тишине всего дома. В доме было столько комнат, что я иногда путался в них. Я проснулся в какой-то дальней комнате, окнами в теневую часть сада, крепко выспавшись, с удовольствием вымылся, оделся во все чистое, — особенно приятно было пасть новую косоворотку красного шелка, — покрасивее причесал свои черные мокрые волосы, подстриженные вчера в Воронеже, вышел в коридор, повернул в другой и оказался перед дверью в кабинет и вместе спальню улана. Зная, что он встает летом часов в пять, постучался. Никто не ответил, и я отворил дверь, заглянул и с удовольствием убедился неизменности этой старой просторной комнаты с тройным итальянским окном под столетний серебристый тополь: налево вся стена в дубовых книжных шкапах, между ними в одном месте высится часы красного дерева с медным диском неподвижного маятника, в другом стоит целая куча трубок с бисерными чубуками, а над ними висит барометр, в третьем вдвинуто бюро дедовских времен с порыжевшим зеленым сукном откинутой доски орехового дерева, а на сукне клещи, молотки, гвозди, медная подзорная труба; на стене возле двери, над стопудовым деревянным диваном, целая галерея выцвет-

ших портретов в овальных рамках; под окном письменный стол и глубокое кресло — то и другое тоже огромных размеров; правее, над широчайшей дубовой кроватью картина во всю стену: почерневший лаковый фон, на нем еле видные клубы смугло-дымчатых облаков и зеленовато-голубых портических деревьев, а на переднем плане блещет точно окаменевшим личным белком голая дорожная красавица, чуть не в натуральную величину, стоящая вполоборот к зрителю гордым лицом и всеми выпуклостями полновесной спины, крутого зада и тыла могучих ног, соблазнительно прикрывая удлиненными расставленными пальцами одной руки сосок груди, а другой низ живота в жирных складках. Оглянув все это, я услышал сзади себя сильный голос улана, с костылем проходившего ко мне из прихожей:

— Нет, братец, меня в эту пору в спальне не найдешь. Это ведь вы валаетесь по кроватям до трех дубов.

Я поцеловал его широкую сухую руку и спросил:

— Каких дубов, дядя?

— Так мужики говорят, — ответил он, мотая седым коком и оглядывая меня желтыми глазами, еще зоркими и умными. — Солнце на три дуба поднялось, а ты все еще мордой в подушке, говорят мужики. Ну, пойдем пить кофе...

«Чудесный старик, чудесный дом», — думал я, входя за ним в столовую, в открытые окна которой глядела зелень утреннего сада и все летнее благополучие деревенской усадьбы. Служила старая пливка, маленькая и горбатая, улан пил из толстого стакана в серебряном подстаканнике крепкий чай со сливками, придерживая в стакане широким пальцем тонкое и длинное, витое стебло круглой золотой старинной ложечки, я ел ломоть за ломтем черпый хлеб с маслом и все подливал себе из горячего серебряного кофейника; улан, интересуясь только собой, ни о чем не спросил меня, рассказывал о соседях-помещиках, на все лады бранил и высмеивая их, я притворялся, что слушаю, глядел на его усы, баки, на крупные волосы на конце носа, а сам так ждал Натали и Соню, что не сиделось на месте: что это за Натали и как мы встретимся с Соней после вчерашнего? чувствовал к ней восторг, благодарность, порочно думал о спаль-

пях ее и Натали. обо всем том, что делается в утреннем беспорядке женской спальни... Может, Соня все-таки сказала Натали что-нибудь о нашей начавшейся вчера любви? Если так, то я чувствую нечто вроде любви и к Натали, и не потому, что она будто бы красавица, а потому, что она уже стала нашей с Соней тайной соучастницей, — отчего же пельзля любить двух? Вот они сейчас войдут во всей своей утренней свежести, увидят меня, мою грузинскую красоту и красную косоворотку, заговорят, засмеются, сидят за стол, красиво паливая из этого горячего кофейника, — молодой утренний аппетит, молодое утреннее возбуждение, блеск выпавшихся глаз, легкий налет пудры на как будто еще помолодевших после спа щеках и этот смех за каждым словом, не совсем естественный и тем более очаровательный... А перед завтраком они пойдут по саду к реке, будут раздеваться в купальне, освещаемые по голому телу сверху сияющей небой, а снизу отблеском прозрачной воды... Воображение всегда было живо у меня, я мысленно видел, как Соня и Натали станут, держась за перила лесенки в купальне, пеловко сходить по ее ступенькам, погруженным в воду, мокрым, холодным и скользким от противного зеленого бархата слизи, наростшей на них, как Соня, откинув назад свою густоволосую голову, решительно упадет вдруг на воду поднятыми грудями — и, вся странно видная в воде голубовато-меловым телом, косо разведет в разные стороны углы рук и ног, совсем как лягушка...

— Ну, до обеда, ты ведь поминишь: обед в двенадцать, — отрицательно качая головой, сказал улан и встал со своим выбритым подбородком, в бурых усах, соседипенных с такими же баками, высокий, старчески твердый, в просторном чесучовом костюме и тупоносых башмаках, с костылем в широкой руке, покрытой гречкою, потрепал меня по плечу и скорым шагом ушел. И вот тут-то, когда я тоже встал, чтоб выйти через соседнюю комнату на балкон, она и вскочила, мелькнула и скрылась, сразу поразив меня радостным восхищением. Я вышел на балкон изумленный: в самом деле, красавица! — и долго стоял так, как бы собираясь с мыслями. Я так ждал их в столовую, но когда наконец услышал их в столовой с балкона, вдруг сбежал в сад, — охватил ка-

кой-то страх не то перед обенни, с одной из которых я имел уже пленительную тайну, не то больше всего перед Натали, перед тем мгновенным, чем она полчасу тому назад ослепила меня в своей быстроте. Я походил по саду, лежавшему, как и вся усадьба, в речной низменности, наконец преодолел себя, вошел с напускной простотой и встретил веселую смелость Соня и милую шутку Натали, которая с улыбкой вскинула на меня из черных ресниц сияющую черноту своих глаз, особенно поразительную при цвете ее волос:

— Мы уже виделись!

Потом мы стояли на балконе, облокотясь на каменную балюстраду, с летним удовольствием чувствуя, как горячо печет нам раскрытые головы, и Натали стояла возле меня, а Соня, обняв ее и будто рассеянно глядя куда-то, с усмешкой напевала: «Средь шумного бала, случайно...» Потом выпрямилась:

— Ну, купаться! В первую очередь мы, потом пойдешь ты...

Натали побежала за простынями, а она задержалась и шепнула мне:

— Изволь с нынешнего дня притворяться, что ты влюбился в Натали. И берегись, если окажется, что тебе притворяться не надо.

И я чуть не ответил с веселой дерзостью, что да, уже не надо, а она, покосаясь на дверь, тихо прибавила:

— Приду к тебе после обеда...

Когда они вернулись, пошел в купальню я — сперва по длинной березовой аллее, потом среди разных старых деревьев прибрежья, где тепло пахло речной водой и орала на древесных верхушках грачи, шел и опять думал с двумя совершенно противоположными чувствами о Натали и о Соне, о том, что я буду купаться в той же воде, в которой только что купались они...

После обеда среди всего того счастливого, бесцельного, привольного и спокойного, что глядело из сада в открытые окна, — небо, зелень, солнце, — после долгого обеда с окрошкой, жареными пылятами и малиной со сливками, за которым я тайне замирал от присутствия

Натали и от ожидания того часа, когда затихнет весь дом на послеобеденное время и Соня (вышедшая к обеду с темно-красной бархатистой розой в волосах) тайком прибежит ко мне, чтобы продолжить вчерашнее уже не паспех и не как-нибудь, я тотчас ушел в свою комнату и притворил сквозные ставни, стал ждать ее, лежа на турецком диване, слушая жаркую тишину усадьбы и уже томное, послеполуденное пение птиц в саду, из которого шел в ставни сладкий от цветов и трав воздух, и безвыходно думал: как же мне теперь жить в этой двойственности — в тайных свиданиях с Соней и рядом с Натали, одна мысль о которой уже охватывает меня таким чистым любовным восторгом, страстной мечтой глядеть на нее только с тем радостным обожанием, с которым я давеча глядел на ее топкий склоненный стан, на острые девичьи локти, которыми она, полустоя, опиралась на нагретый солнцем старый камень балюстрады? Соня, облокотясь рядом с ней и обняв ее за плечо, была в своем батистовом пеньюаре с оборками похожа на только что вышедшую замуж молодую женщину, а она в холстинковой юбочке и вышитой малороссийской сорочке, под которыми угадывалось все юное совершенство ее сложения, казалась чуть не подростком. В том-то и была высшая радость, что я даже помыслить не смел о возможности поцеловать ее с теми же чувствами, с какими целовал вчера Соню! В легком и широком рукаве сорочки, вышитой по плечам красным и синим, была видна ее топкая рука, к сухо-золотистой коже которой прилепали рыжеватые волоски, — я глядел и думал: что испытал бы я, если бы посмел коснуться их губами! И, чувствуя мой взгляд, она вскинула на меня блестящую черноту глаз и всю свою яркую головку, обвитую плетью довольно крупной косы. Я отошел и поспешно опустил глаза, увидав ее погн сквозь просвечивающий на солнце подол юбки и тонкие, крепкие, пористые щиколки в сером прозрачном чулке...

Соня, с розой в волосах, быстро отворила и затворила дверь, тихо воскликнула: «Как, ты спал!» Я вскочил — что ты, что ты, мог ли я спать! — схватил ее руки. «Запри дверь на ключ...» Я кинулся к двери, она села на диван, закрывая глаза, — «Ну, иди ко мне», — и

мы сразу потеряли всякий стыд и рассудок. Мы не проговорили почти ни слова за эти минуты, и она, во всей прелести своего жаркого тела, позволяла целовать себя уже всюду — только целовать — и все сумрачней закрывала глаза, все больше разгоралась лицом. И опять, уходя и поправляя волосы, шепотом пригрозила:

— А что до Натали, то повторяю: берегись перейти за притворство. Характер у меня повсе не такой милый, как можно думать!

Роза валялась на полу. Я спрятал ее в стол, и к вечеру ее темно-красный бархат стал вялым и лиловым.

III

Жизнь моя пошла вполне обыденно, но внутренне я не знал ни минуты покоя, все больше и больше привыкая к Соне, к сладкой привычке изнурительно-страстных свиданий с ней по ночам, — она теперь приходила ко мне только поздно вечером, когда весь дом засыпал, — и все мучительнее и восторженнее следя тайком за Натали, за каждым ее движением. Все шло обычным летним порядком: встречи утром, купанье перед обедом и обед, потом отдых по своим комнатам, потом сад, — или что-нибудь вышивали, сидя в березовой аллее и заставляя меня читать вслух Гончарова, или варили варенье на тенистой полянке под дубами, недалеко от дома, вправо от балкона; в пятом часу чай на другой тенистой полянке, влево, вечером прогулки или крокет на широком дворе перед домом, — я с Натали против Сони или Сопя с Натали против меня, — в сумерки ужин в столовой... После ужина улан уходил спать, а мы еще долго сидели в темноте на балконе, мы с Сопей шутили и куря, а Натали молча. Наконец Сопя говорила: «Ну, спать!» — и, простясь с ними, я шел к себе, с холодеющими руками ждал того заветного часа, когда весь дом станет тише и так тих, что слышно, как непрерывно тикающей пыточкой бегут карманные часы у моего изголовья под пагоревшей свечой, и все дивился, ужасаясь: за что так наказал меня бог, за что дал сразу две любви, такие разные и такие страстные, такую мучи-

тельную красоту обожания Натали и такое телесное упоение Соней. Я чувствовал, что вот-вот мы с ней не выдержим нашей неполной близости и что я совсем сойду тогда с ума от ожидания наших ночных встреч и от ощущения их потом весь день, и все это рядом с Натали! Соня уже ревновала, грозно вспыхивала иногда, а вместе с тем падалине говорила мне:

— Боюсь, что мы с тобой за столом и при Натали не достаточно просты. Папа, мне кажется, начинает что-то замечать. Натали тоже, а нянька, конечно, уже уверена в нашем романе и небось паушничает папе. Сиди побольше в саду с Натали вдвоем, читай ей этот несносный «Обрыв», уводи ее иногда гулять по вечерам... Это ужасно, я ведь замечаю, как идиотски ты плишь на все глаза, временами чувствую к тебе ненависть, готова, как какая-нибудь Одарка, вцепиться при всех тебе в волосы, да что же мне делать?

Ужаснее всего было то, что, как мне казалось, начала не то страдать, не то негодовать, чувствовать, что что-то есть между мной и Соней тайное, Натали. Она, и без того молчаливая, становилась все молчаливее, играла в крокет или вышивала излишне пристально. Мы как будто привыкли друг к другу, сблизились, но вот я как-то пошутил, сидя с ней вдвоем в гостиной, где она перелистывала поты, полулежа на диване:

— А я слышал, Натали, что, может быть, мы с вами породнимся.

Она резко взглянула на меня:

— Как это?

— Мой кузен, Алексей Николаич Мещерский...

Она не дала мне договорить:

— Ах, вот что! Ваш кузен, этот, простите, ушатастый, весь заросший черными блестящими волосами, картавдий великан с красным сочным ртом... И кто дал вам право на подобные разговоры со мной?

Я испугался:

— Натали, Натали, за что вы так строги ко мне! Даже пошутить нельзя! Ну простите меня,— сказал я, беря ее руку.

Она не отняла руки и сказала:

— Я до сих пор не понимаю... не знаю вас... Но довольно об этом...

Чтобы не видеть ее томительно плещущих к себе теннисных белых башмачков, вкось подобранных на диване, я встал и вышел на балкон. Заходила из-за сада туча, тускнел воздух, все шире и ближе шел по саду мягкий летний шум, сладко дуло полевым дождевым ветром, и меня вдруг так сладко, молодо и вольно охватило какое-то беспричинное, на все согласное счастье, что я крикнул:

— Натали, на минутку!

Она подошла к порогу:

— Что?

— Вдохните — какой ветер! Какой радостью могло бы быть все!

Она помолчала.

— Да.

— Натали, как вы неласковы со мной! Вы что-то имеете против меня?

Она гордо пожала плечом:

— Что и почему я могу иметь против вас?

Вечером, лежа в темноте в плетёных креслах на балконе, мы все трое молчали, — звезды только кое-где мелькали в темных облаках, слабо тянуло со стороны реки вливым ветром, так дремотно журчали лягушки.

— К дождю, спать хочется, — сказала Соня, подавляя зевок. — Нянька сказала, пародился молодой месяц и теперь с неделю будет «обмываться». — И, помолчав добавила: — Натали, что вы думаете о первой любви?

Натали откликнулась из темноты:

— Я в одном убеждена: в страшном различии первой любви юноши и девушки.

Соня подумала:

— Ну, и девушки бывают разные...

И решительно встала:

— Нет, спать, спать!

— А я еще подремлю тут, мне ночь правится, — сказала Натали.

Я прошептал, слушая удаляющиеся шаги Сони:

— Что-то нехорошо говорили мы нынче с вами!

Она ответила:

— Да, да, мы пехорошо говорили...

На другой день мы встретились как будто спокойно. Ночью шел тихий дождь, по утру погода разгулялась, после обеда стало сухо и жарко. Перед чаем в пятом часу, когда Соя делала какие-то хозяйственные подсчеты в кабинете узана, мы сидели в березовой аллее и пытались продолжать чтение вслух «Обрыва». Она, наклонясь, что-то шила, мелькая правой рукой, я читал и от времени до времени с сладкой тоской взглядывал на ее левую руку, видную в рукаве, на рыжеватые волоски, прилежавшие к пей выше кисти и на такие же там, где шея сзади переходила в плечо, и читал все оживленнее, не понимая ни слова. Наконец сказал:

— Ну теперь почитайте вы...

Она разогнулась, под тонкой блузкой обозначились точки ее груди, отложила шитье и, опять наклонясь, низко опустив свою странную и чудесную голову и показывая мне затылок и начало плеча, положила книгу на колени, стала читать скорым и неверным голосом. Я глядел на ее руки, на колени под книгой, изнемогая от восторженной любви к ним и звуку ее голоса. В разных местах предвечернего сада вскрикивали на лету иволги, против нас высоко висел, прижавшись к стволу сосны, одиноко росшей в аллее среди берез, красновато-серый дятел...

— Натали, какой удивительный цвет волос у вас! А коса немного темнее, цвета спелой кукурузы...

Она продолжала читать.

— Натали, дятел, посмотрите!

Она взглянула вверх:

— Да, да, я его уже видела, и нынче видела, и вчера видела... Не мешайте читать.

Я помолчал, потом снова:

— Посмотрите, как это похоже на засохших серых червячков.

— Что, где?

Я указал на скамью между нами, на засохший птичий известковый помет:

— Правда?

И взял и сжал ее руку, бормоча и смеясь от счастья:

— Натали, Натали!

Она тихо и долго поглядела на меня, потом выговорила:

— Но вы же любите Сою!

Я покраснел, как пойманный мошенник, но с такой горячей поспешностью отсекся от Сони, что она даже слегка раскрыла губы:

— Это неправда?

— Неправда, неправда! Я ее очень люблю, но как сестру, ведь мы знаем друг друга с детства!

IV

На другой день она не вышла ни утром, ни к обеду.

— Соя, что с Натали? — спросил улан, и Соя ответила, нехорошо засмеявшись:

— Лежит все утро в распашонке, печесая, по лицу видно, что ревела, принесли ей кофе — не допила... Что такое? «Голова болит». Уж не влюбилась ли!

— Очень просто, — сказал улан бодро, с одобрительным намаском глянув на меня, но отрицая головой.

Вышла Натали только к вечернему чаю, но вошла на балкон легко и живо, улыбнулась мне приветливо и как будто чуть виновато, удивив меня этой живостью, улыбкой и некоторой новой нарядностью: волосы убраны туго, спереди немного подвиты, волнисто тронуты щипцами, платье другое, из чего-то зеленого, цельное, очень простое и очень ловкое, особенно в перехвате на талии, туфельки черные, на высоких каблучках, — я внутренне ахнул от нового восторга. Я, сидя на балконе, просматривал «Исторический вестник», несколько книг которого дал мне улан, когда она вдруг вошла с этой живостью и несколько смущенной приветливостью:

— Добрый вечер. Идем чай пить. Сегодня за самоваром я. Соя нездорова.

— Как? То вы, то она?

— У меня просто болела голова с утра. Стыдно сказать, только сейчас привела себя в порядок...

— До чего удивительно это зеленое при ваших глазах и волосах! — сказал я. И вдруг спросил, краснея: — Вы вчера мне поверили?

Она тоже покраснела — тонко и ало — и отвернулась:
— Не сразу, не совсем. Потом вдруг сообразила, что не имею оснований не верить вам... и что, в сущности, какое же мне дело до ваших с Соней чувств? Но идем...

К ужину вышла и Соня и улучила минуту сказать мне:

— Я заболела. У меня это проходит всегда очень тяжело, дней пять лежу. Нынче еще могла выйти, а завтра уж нет. Веди себя умно без меня. Я тебя страшно люблю и ужасно ревную.

— Неужто даже не заглянешь пьяноте ко мне?

— Ты глуп!

Это было и счастье и несчастье: пять дней полной свободы с Натали и пять дней не видеть по ночам у себя Сони!

С неделю правила домом, всем распоряжалась, ходила в белом передничке через двор в поварскую Натали — я никогда еще не видал ее такой деловитой, видно было, что роль заместительницы Сони и заботливой хозяйки доставляет ей большое удовольствие и что она как будто отдыхает от тайной внимательности к тому, как мы с Соней говорим, переглядываемся. Все эти дни, пережив за обедом сперва тревогу, все ли хорошо, а потом довольство, что все хорошо и старик-повар и Христя, хохлушка-горничная, приносили и подавали вовремя, не раздражая улапа, она после обеда уходила к Соне, куда меня не пускали, и оставалась у ней до вечернего чая, а после ужина весь вечер. Бывать со мной падалине она, очевидно, избегала, и я недоумевал, скучал и страдал в одиночестве. Почему стала ласкова, а избегает? Боятся Сони или себя, своего чувства ко мне? И страстно хотелось верить, что себя, и я упивался все крепнувшей мечтой: не навек же я связан с Соней, не век же мне — да и Натали — гостить тут, через неделю-другую я все равно должен буду уехать — и тогда конец моим мучениям... найду предлог поехать познакомиться со Стайкевичами, как только Натали вернется домой... Уехать от Сони, да еще с обманом, с этой тайной мечтой о Натали, с надеждой на ее любовь и руку, будет, конечно, очень больно, — разве только с одной страстью целую я Соню, разве я не люблю и ее? — но что же делать, этого, рано или

поздно, все равно не избежишь.. И непрестанно думая так, в непрестанном душевном волнении, в ожидании чего-то я старался вести себя при встречах с Натали как можно сдержаннее, милее — терпеть, терпеть до поры, до времени. Я страдал, скучал, — как нарочно, дня три шел дождь, мерно бежал, стучал тысячами лапок по крыше, в доме было сумрачно, на потолке и на лампе в столовой спали мухи, — по крепился, по часам сидел иногда в кабинете улана, слушая его всякие рассказы...

Соля начала выходить сперва в халатике, на час, па два, с томной улыбкой к своей слабости, ложилась на балконе в полотняное кресло и, к моему ужасу, говорила со мной капризно и не в меру нежно, не стесняясь присутствием Натали:

— Посиди возле меня, Витик, мне больно, мне грустно, расскажи что-нибудь смешное... Месяд-то и правда обмывался, да уж обмылся, кажется; распогодилось и как сладко пахнет цветами...

Я, втайне раздражаясь, отвечал:

— Раз цветы сильно пахнут, будет опять обмываться.

Она била меня по руке:

— Не смей возражать больно!

Наконец стала выходить и к обеду, и к вечернему чаю, только еще бледная и приказывая подавать себе кресло. Но к ужину и на балкон после ужина еще не выходила. И раз Натали сказала мне после вечернего чая, когда она ушла к себе и Христия понесла со стола самовар в поварскую:

— Соля сердится, что я все сижу возле нее, что вы все один и один. Она еще не совсем поправилась, а вы без нее скучаете.

— Я скучаю только без вас, — ответил я. — Когда вас нет...

Она изменилась в лице, но справилась, с усилием улыбнулась:

— Но мы же условились не ссориться больше... Послушайте лучше вот что: вы засиделись дома, пойдите погуляйте до ужина, а потом я посижу с вами в саду, предсказаний насчет месяца, слава богу, не сбылись, ночь будет прекрасная...

— Соне меня жаль, а вам? Нисколько?

— Страшно жаль,— ответила она и неловко засмеялась, ставя на поднос чайную посуду.— Но, слава богу, Соня уже здорова, скоро не будете скучать...

При словах «а вечером я посижу с вами» сердце у меня сжалось сладко и таинственно, но я тотчас подумал: да нет! это просто только ласковое слово! Я пошел к себе и долго лежал, глядя в потолок. Наконец встал, взял в прихожей картуз и чью-то палку и бессознательно вышел из усадьбы на широкий шлях, пролежавший между усадьбой и хохлацкой деревней немногим выше ее, на степном голом взгорье. Шлях вел в пустые вечерние поля. Всюду было холмисто, но просторно, далеко видно. Слева от меня лежала речная низменность, за ней слегка поднимались к горизонту тоже пустые поля, там только что село солнце, горел закат. Справа краснел против него правильный ряд белых одинаковых хат точно вымершей деревни, и я с тоской смотрел то на закат, то на них. Когда повернул назад, навстречу тянуло то теплым, то почти горячим ветром и уже светил в небе молодой месяц, блеснула половина его, не сулившая ничего доброго: как прозрачная паутинка, видна была и другая половина, а все вместе напоминало желудь.

За ужином — ужинали на этот раз тоже в саду, в доме было жарко, — я сказал улану:

— Дядя, что вы думаете о погоде? Мне кажется, завтра будет дождь.

— Почему, мой друг?

— Я только что ходил в поле, с грустью думал, что скоро покину вас...

— Это почему?

Натали тоже вскинула на меня глаза:

— Вы собираетесь уезжать?

Я притворно засмеялся:

— Не могу же я...

Улан особенно энергично закачал головой, на этот раз кстати:

— Вздор, вздор! Папа и мама отлично могут потерпеть разлуку с тобой. Раньше двух недель я тебя не отпущу. Да пот и она не отпустит.

— Я не имею никаких прав на Виталия Петровича,— сказала Натали.

Я жалобно воскликнул:

— Дядя, запретите Натали называть меня так!

Улап хлопнул ладонью по столу:

— Запрещаю. И довольно болтать о твоём отъезде. Вот насчет дождя ты прав, вполне возможно, что погода опять испортится.

— В поле было уже слишком чисто, ясно,— сказал я.— И месяц очень чист и похож на желудь, и дуло с юга. И вот, видите, уже падают облака...

Улап повернулся, посмотрел в сад, где то мерк, то разгорался лунный свет:

— Из тебя, Виталий, выйдет второй Брюс...

В десятом часу она вышла на балкон, где я сидел, ожидая ее, в унынии думал: все это вздор, если у нее и есть какие-то чувства ко мне, то совсем несерьезные, переменчивые, мимолетные... Молодой месяц играл все выше и ярче в горах все больше скоплавшихся облаков, дымчато-белых, величаво загромаздивших небо, и когда выходил из-за них своей белой половиной, похожей на человеческое лицо в профиль, яркое и мертвенно-бледное, все озарялось, заливалось фосфорическим светом. Вдруг я оглянулся, почувствовал что-то: Натали стояла на пороге, заложив руки за спину, молча глядя на меня. Я встал, она безразлично спросила:

— Вы еще не спите?

— Но вы же мне сказали...

— Простите, я очень устала нынче. Пройдемтесь по аллее, и я пойду спать.

Я пошел за ней, она приостановилась на ступеньке балкона, глядя на вершины сада, из-за которых уже клубами туч подымались облака, подергиваясь, ссержаясь беззвучными молниями. Потом вошла под длинный прозрачный навес березовой аллеи, в пестроту, в пятна света и тени. Равняясь с ней, я сказал, чтобы сказать что-нибудь:

— Как волшебю блестят вдали березы. Нет ничего страшнее и прекраснее внутренности леса в лунную ночь и этого белого шелкового блеска березовых стволов в его глубине...

Она остановилась, в упор мне чернел в сумраке глаза:

- Вы правда уезжаете?
— Да, пора.
— Но почему так сразу и скоро? Я не скрываюсь: вы меня давеча поразили, сказав, что уезжаете.
— Натали, можно мне приехать представиться вам, когда вы вернетесь домой?
Она промолчала. Я взял ее руки, поцеловал, весь замирая, правую.
— Натали...
— Да, да, я вас люблю,— сказала она поспешно и невыразительно и пошла назад к дому. Я лунатически пошел за ней.
— Уезжайте завтра же,— сказала она на ходу, не оборачиваясь.— Я вернусь домой через несколько дней.

▼

Войдя к себе, я, не зажигая свечи, сел на диван и застыл, оцепенел в том страшном и дивном, что так внезапно и нежданно совершилось в моей жизни. Я сидел, потеряв всякое представление о месте и времени. Комната и сад уже потопули в темноте от туч, в саду, за открытыми окнами, все шумело, трепетало, и меня все чаще и ярче озаряло быстрым и в ту же секунду исчезающим зелено-голубым пламенем. Быстрота и сила этого безгромного света все увеличивались, потом комната озарилась вдруг до неправдоподобной видимости, на меня понесло свежим ветром и таким шумом сада, точно его охватил ужас: вот оно, загорается земля и небо! Я вскочил, с трудом затворил одно за другим окна, лопя их рамы, преодолевая трепавший меня ветер, и на цыпочках побежал по темным коридорам в столовую: мне, казалось бы, было в тот час не до раскрытых окон в столовой и гостиной, где буря могла перебить стекла, но я все-таки побежал и даже с большой озабоченностью. Все окна в столовой и гостиной оказались закрыты — я увидел это при том зелено-голубом озарении, в цвете, яркости которого было истинно что-то неземное, сразу раскрывавшееся всюду, точно быстрые глаза, и делавшее огромными и видимыми до последнего переплета все

оковные рамы, а затем тотчас же затоплявшееся густым мраком, на секунду оставлявшее в ослепшем зрении след чего-то жестяного, красного. Когда же я быстро, точно боясь, не случилось ли чего там без меня, вошел в свою комнату, из темноты послышался сердитый шепот:

— Где ты был? Мне страшно, зажги скорей огонь...

Я чиркнул спичкой и увидел сидевшую на диване Соню в одной ночной рубашке, в туфлях на босу ногу.

— Или нет, нет, не надо,— поспешно сказала она,— иди скорей ко мне, обними меня, я боюсь...

Я покорно сел и обнял ее за холодные плечи. Она зашептала:

— Ну поцелуй же меня, поцелуй, возьми совсем, я целую неделю не была с тобой!

И с силой откинула меня и себя на подушки дивана.

В ту же минуту на пороге растворенной двери метнулась Натали в своей распашонке, со свечой в руке. Она сразу увидела нас, но все-таки бессознательно крикнула:

— Соня, где ты? Я страшно боюсь...

И тотчас исчезла. Соня кинулась вслед за ней,

VI

Через год она вышла за Мещерского. Венчали ее в его Благодатном при пустой церкви — и мы и прочие родные и знакомые с его и с ее стороны не получили приглашения на свадьбу. И обычных после свадьбы визитов молодые не делали, тотчас уехали в Крым.

В январе следующего года, в Татьянин день, был бал воронежских студентов в Благородном собрании в Воронеже. Я, уже московский студент, проводил Святки дома, в деревне, и приехал в тот вечер в Воронеж. Поезд пришел весь белый, дымящийся снегом от вьюги, по дороге со станции в город, пока извозничьи сани несли меня в Дворянскую гостиницу, едва видны были мелькавшие сквозь вьюгу огни фонарей. Но после деревни эта городская вьюга и городские огни возбуждали, сулили близкое удовольствие войти в теплый, слишком даже теплый номер старой губернской гостиницы, спросить самовар и начать переодеваться, готовиться к долгой бальной ночи

и студенческому пьянству до рассвета: За то время, что прошло с той страшной ночи у Черкасовых, а потом с ее замужества, я постепенно оправился, — во всяком случае, привык к тому состоянию душевнобольного человека, которым втайне был, и внешне жил, как все.

Когда я приехал, бал только что начался, но уже полны были все прибывающим пародом парадная лестница и площадка на ней, а из главной залы, с ее хор, все покрывала, заглушала полковая музыка, звучно гремля печально-торжествующими тактами вальса. Еще свежий с мороза, в новеньком мундире и от этого не в меру изысканно, с излишней нежливостью пробираясь в толпе по красному ковру лестницы, я поднялся на площадку, вошел в особенно густую и уже горячую толпу, стеснившуюся перед дверями залы, и зачем-то стал пробираться дальше так настойчиво, что меня приняли, верно, за распорядителя, имеющего в зале неостуженное дело. И наконец пробрался, остановился на пороге, слушая разливы и раскаты оркестра над самой моей головой, глядя на сверкающую зыбь люстр и на десятки пар, разнообразно мелькавших под ними в вальсе, — и вдруг подался назад: из этой кружившейся толпы внезапно выделилась для меня одна пара, быстрыми и ловкими глissадами летевшая среди всех прочих все ближе ко мне. Я отшатнулся, глядя, как он, несколько сутулый в вальсировании, велик, дорожен, весь череп блестящими черными волосами и фраком и легок той легкостью, которой удивляют в танцах некоторые грузные люди, и как высока она в бальной высокой прическе, в бальном белом платье и стройных золотых туфельках, кружившаяся несколько откинувшись, опустив глаза, положив на его плечо руку в белой перчатке до локтя с таким изгибом, который делал руку похожей на шею лебедя. На мгновение черные ресницы ее взмахнулись прямо на меня, чернота глаз сверкнула совсем близко, но тут он, со старательностью грузного человека, ловко скользя на лакированных носках, круто повернул ее, губы ее приоткрылись вздохом на повороте, серебристо мелькнул подол платья, и они, удаляясь, пошли глissадами обратно. Я опять протиснулся в толпу на площадке, выбрался из толпы, постоял... В двери залы наискось против меня, еще совсем пустой

и прохладной, видны были стоявшие в праздном ожидании за буфетом с шампанским две курящие в малороссийских парядах,— хорошенькая блондинка и сухая, темполикая красавица казачка, чуть не вдвое выше ее ростом. Я вошел, с поклоном протянул сторублевую бумажку. Они, столкнувшись головами и засмеявшись, вытащили под стойкой из ведра со льдом тяжелую бутылку и перешитительно переглянулись — откупоренных бутылок еще не было. Я зашел за стойку и через минуту молодецки хлопнул пробкой. Потом весело предложил им по бокалу — *Gaudeamus igitur!*¹ — остальное допил бокал за бокалом один. Они смотрели на меня сперва с удивлением, потом с жалостью:

— Ой, но вы и так страшно бледный!

Я допил и тотчас уехал. В гостинице спросил в номер бутылку кавказского коньяку и стал пить чайными чашками, в надежде, что у меня разорвется сердце...

И прошло еще полтора года. И однажды в конце мая, когда я опять приехал из Москвы домой, парочный со станции привез ее телеграмму из Благодатного: «Сегодня утром Алексей Николаевич скоростийно скопчался от удара». Отец перекрестился и сказал:

— Царство небесное. Какой ужас. Прости меня, боже, никогда не любил я его, но все-таки это ужасно. Ведь ему еще и сорока не было. И ее ужасно жаль — вдова в такие годы, с ребенком на руках... Никогда ее не видал, — он был так мил, что даже ни разу не привез ее ко мне, — но, говорят, очаровательна. Как же теперь быть? Ни я, ни мама ехать при нашей старости за полтораста верст, конечно, не можем, надо ехать тебе...

Отказаться было нельзя, — в силу чего я мог отказаться? Да я и не мог бы отказаться в том полубезумии, в которое внезапно опять повергла меня эта неожиданная весть. Я одно знал: я ее увижу! Предлог для встречи был страшный, но законный.

Мы послали ответную телеграмму, и на другой день, майской вечерней зарею, лошади из Благодатного в полчаса доставили меня со станции в усадьбу. Подъезжая к ней по взгорью вдоль заливных лугов, я еще издали уви-

¹ Будем веселиться (лат.).

дал, что по западной стене дома, обращенной к еще светлому закату, все окна в зале закрыты ставнями, и содрогнулся от страшной мысли: за ними лежал он и была она! Во дворе, густо заросшем молодой травой, погромыхивали бубенчиками возле каретного сарая чьи-то две тройки, но не было ни души, кроме кучеров на козлах, — и презрение и дворня уже стояли в доме на папикиде. Всюду была тишина деревенской майской зари, веселая чистота, свежесть и новизна всего — полевого и речного воздуха, этой молодой густой травы во дворе, густого цветущего сада, надвинувшегося на дом сзади и с южной стороны, а на низком парадном крыльце, у пастежь раскрытых в сени дверей, стоймя прислонена была к стене большая желтая газетовая крышка гроба. В теплом холодке вечернего воздуха сильно пахло сладким цветом груш, молочно белевших своей белой густотой в юго-восточной части сада на ровном и от этой млечности матовом небосклоне, где горел один розовый Юпитер. И молодость, красота всего этого, и мысль о ее красоте и молодости, и о том, что она любила меня когда-то, вдруг так разорвали мне сердце скорбью, счастьем и потребностью любви, что, выскочив у крыльца из коляски, я почувствовал себя точно перед пропастью — как вступить в этот дом, вновь увидеть ее лицом к лицу после трех лет разлуки и уже вдовой, матерью! И все же я пошел в сумрак и ладаи этой страшной залы, иснещенной желтыми свечными огоньками, в черноту стоявших с этими огоньками перед гробом, наискось позывавшимся своим возглавием в передний угол, озаренный сверху большой красной лампадой перед золотыми ризами икон, а внизу серебряным текучим блеском трех высоких церковных свечей, — вошел под возгласы и пение священнослужителей, с каждым и поклонами обходивших гроб, и тотчас опустил голову, чтобы не видеть желтой парчи на гробе и лица покойника, пуще же всего боясь увидеть ее. Кто-то подал мне зажженную свечу, я взял и стал держать ее, чувствуя, как она, дрожа, греет и освещает мне лицо, стянутое бледностью, и с тупой покорностью слушая эти возгласы и бряцание кадила, исподлобья видя плывущий к потолку торжественно и приторно пахнущий дым, и вдруг, подняв лицо, все-таки увидал ее, — впе-

реди всех, в трауре, со свечой в руке, озарявшей ее щеку и золотистость волос,— и уже как от иконы не мог оторвать от нее глаз. Когда все смолкло, запахло потушенными свечами и все осторожно задвигались и пошли целовать ее руку, я ждал, чтобы подойти последним. И, подойдя, с ужасом восторга взглянул на инопоческую стройность ее черного платья, делавшего ее особенно непорочной, на чистую, молодую красоту лица, ресниц и глаз, при виде меня опустившихся, низко, низко поклонился, целуя ее руку, сказал едва слышным голосом все, что должен был сказать, следуя приличию и родству, и попросил разрешения тотчас же уйти и почевать в саду, в той старинной ротонде, в которой я почевал еще гимназистом, приезжая в Благодатное,— там была спальня Мещерского на жаркие летние ночи. Она ответила, не поднимая глаз:

— Я сейчас распоряжусь, чтобы вас проводили туда и подали вам ужин.

Утром, после отпевания и погребения, я немедленно уехал.

Прощаясь, мы опять обменялись только несколькими словами и опять не глядели друг другу в глаза.

VII

Я кончил курс, потерял вскоре после того почти одновременно отца и мать, поселился в деревне, хозяйствовал, сошелся с крестьянской сиротой Гашей, выросшей у нас в доме и служившей в комнатах моей матери... Теперь она, вместе с Иваном Лукичом, нашим бывшим дворовым, седым до зелени стариком с большими лопатками, служила мне. Вид она имела еще полудетский — маленькая, худенькая, черноволосая, с ничего не выражающими глазами цвета сажки, загадочно молчаливая, будто ко всему безучастная и настолько вся темная топкой кожей, что отец когда-то говорил: «Вот, верно, такая была Агарь». Мила она была мне бесконечно, я любил носить ее на руках, целуя; я думал: «Вот и все, что осталось мне в жизни!» И она, казалось, понимала, что я думаю. Когда она родила,— маленького, черненького маль-

чика, — и перестала служить, поселилась в моей прежней детской, я хотел повенчаться с нею. Она ответила:

— Нет, мне этого не нужно, мне только стыдно будет перед всеми, какая же я барыня! А нам зачем? Вы меня тогда еще скорее разлюбите. Вам надо поехать в Москву, а то вы совсем соскучитесь со мной. А я теперь скучать не буду, — сказала она, глядя на ребенка, который на руках у нее сосал грудь. — Поезжайте, поживите в свое удовольствие, только одно помните: если влюбитесь в кого как следует и жениться задумаете, ни минутки не помедлю, утоплюсь вот вместе с ним.

Я посмотрел на нее — ей не верить было невозможно. И поник головой: да, а мне ведь всего двадцать шесть лет... Влюбиться, жениться — этого я и представить себе не мог, но слова Гаши еще раз напомнили мне о моей конченной жизни.

Ранней весной я уехал за границу и пропел там месяца четыре. Возвращаясь в конце июня через Москву домой, думал так: проживу осень в деревне, а на зиму опять куда-нибудь уеду. По дороге из Москвы в Тулу спокойно грустил: вот опять я дома, а зачем? Вспомнил Натали — и подумал: да, та любовь «до гроба», которую насмешливо предрекала мне Соня, существует; только я уже привык к ней, как привыкает кто-нибудь с годами к тому, что у него отрезали, например, руку или ногу... И, сидя на вокзале в Туле в ожидании пересадки, вдруг послал телеграмму: «Еду из Москвы мимо вас, буду на вашей станции в девять вечера, позвольте заехать, узнать, как вы поживаете».

Она встретила меня на крыльце, — сзади нее светила лампой горничная, — и с полуулыбкой протянула мне обе руки:

— Я страшно рада!

— Как это так странно, вы еще немного выросли, — сказал я, целуя и чувствуя их уже с мучением. И взглянул на нее на всю при свете лампы, которую приподняла горничная и вокруг стекла которой, в мягком после дождя воздухе, кружились мелкие розовые бабочки: черные глаза смотрели теперь тверже, увереннее, вся она была уже в полном расцвете молодой женской красоты, стройная, скромно наряженная, в платье из зеленой чесучи.

— Да, я все еще расту,— ответила она, грустно улыбаясь.

В зале по-прежнему висела в переднем углу большая красная лампада перед старыми золотыми иконами, только не зажженная. Я поспешил отвести глаза от этого угла и прошел за ней в столовую. Там на блестящей скатерти стоял чайник на спиртовке, блестела тонкая чайная посуда. Горничная принесла холодную телятину, пикант, графинчик с водкой, бутылку лафиту. Она взялась за чайник:

— Я не ужинаю, выпью только чаю, но вы сперва покупайте... Вы из Москвы? Почему? Что ж там делать летом?

— Возвращаюсь из Парижа.

— Вот как! И долго там пробыли? Ах, если б я могла поехать куда-нибудь! Но ведь моей девочке всего четвертый год... Вы, говорят, усердно хозяйствуете?

Я выпил рюмку подки, не закусывая, и попросил позволения курить.

— Ах, пожалуйста!

Я закурил и сказал:

— Натали, не пужно вам быть со мной светски любезной, не обращайтесь на меня особого внимания, я заехал только взглянуть на вас и опять скрыться. И не чувствуйте неловкости — ведь все, что было, было, прошло и прошло без возврата. Вы не можете не видеть, что я опять ослеплен вами, но теперь вас никак не может стеснять мое восхищение — оно теперь бескорыстно и спокойно...

Она сложила голову и ресницы,— к дивной противоположности того и другого никогда нельзя было привыкнуть,— и лицо ее стало медленно розоветь.

— Это совершенно точно,— сказал я, бледнел, но крепким голосом, сам себя уверяя, что говорю правду.— Ведь все на свете проходит. Что до моей страшной вины перед вами, то я уверен, что она уже давным-давно стала для нас безразлична и гораздо более понятна, простительна, чем прежде: вина моя была все-таки не совсем вольная и даже в ту пору заслуживала списывания по моей крайней молодости и по тому удивительному стечению обстоятельств, в которое я попал. И по-

том, я уже достаточно наказан за эту вину — всей своей гибелью.

— Гибелью?

— А разве не так? Вы и до сих пор не понимаете, не знаете меня, как сказали когда-то?

Она помолчала.

— Я видела вас на балу в Воронеже... Как еще молодая была я тогда и как удивительно несчастна! Хотя разве бывает несчастная любовь? — сказала она, поднимая лицо и спрашивая всем черным раскрытием глаз и ресниц. — Разве самая скорбная в мире музыка не дает счастья? Но расскажите мне о себе, неужели вы навсегда поселились в деревне?

Я с усилием спросил:

— Значит, вы тогда меня еще любили?

— Да.

Я замолчал, чувствуя, что лицо у меня теперь уже горит огнем.

— Это правда, что я слышала... что у вас есть любовь, ребенок?

— Это не любовь, — сказал я. — Страшная жалость, нежность, но и только.

— Расскажите мне все.

И я рассказал все — вплоть до того, что сказала мне Гаши, посоветовавши мне «поехать, пожить в свое удовольствие». И кончил так:

— Теперь вы видите, что я всячески погиб...

— Полноте! — сказала она, думая что-то свое. — У вас еще вся жизнь впереди. Но брак для вас, конечно, невозможен. Она, конечно, из таких, что и ребенка не пожалеет, не то что себя.

— Не в браке дело, — сказал я. — Бог мой! Мне жаль!

Она в раздумье посмотрела на меня:

— Да, да. И как странно. Ваше предсказание сбылось — мы породнились. Вы чувствуете, что ведь вы мною двоюродный брат теперь?

И положила руку на руку мне:

— Но вы ужасно устали с дороги, даже не притронулись ни к чему. На вас лица нет, довольно разговоров

на сегодня, идите, постель для вас в павильоне приготовлена...

Я покорно поцеловал её руку, она позвала горничную, и та с лампой, хотя было довольно светло от месяца, низко стоявшего за садом, провела меня сперва главной, потом боковой аллеей на просторную поляну, в эту старинную ротонду с деревянными колоннами. И я сел у раскрытого окна, в кресле возле постели, стал курить, думая: напрасно совершил я этот глупый, внезапный поступок, напрасно заехал, попался на свое спокойствие, на свои силы... Ночь была необыкновенно тиха, было уже поздно. Должно быть, прошел еще небольшой дождь — еще теплее, мягче стал воздух. И в прелестном соответствии с этим неподвижным теплом и тишиной протяжно и осторожно пели вдали, в разных местах села, первые петухи. Светлый круг месяца, стоявшего против ротонды, за садом, как будто замер на одном месте, как будто выжидательно глядел, блеснул среди дальних деревьев и ближних раскидистых яблонь, мешая свой свет с их тенями. Там, где свет проливался, было ярко, стекляно, в тени же пестро и таинственно... И она, в чем-то длинном, темном, шелковисто блестящем, подошла к окну, тоже так таинственно, неслышно...

Потом месяц снял уже над садом и смотрел прямо в ротонду, и мы поочередно говорили — она, лежа на постели, я, стоя на коленях возле и держа ее руку:

— В ту страшную ночь с молниями я любил уже только тебя одну, никакой другой страсти, кроме самой восторженной и чистой страсти к тебе, во мне уже не было.

— Да, я со временем все пошла. И все-таки, когда вдруг вспоминала эти молнии тотчас после воспоминания о том, что за час перед тем было в аллее...

— Нигде в мире нет тебе подобной. Когда я давеча смотрел на эту зеленую чесучу и на твои колени под ною, я чувствовал, что готов умереть за одно прикосновение к ней губами, только к ней.

— Ты никогда, никогда не забывал меня все эти годы?

— Забывал только так, как забываешь, что живешь, дышишь. И ты правду сказала: нет несчастной любви.

Ах, эта твоя оранжевая распаховка и вся ты, еще почти девочка, мелькнувшая мне в то утро, первое утро моей любви к тебе! Потом твоя рука в рукаве малороссийской сорочки. Потом наклон головы, когда ты читала «Обрыв» и я бормотал: «Натали, Натали!»

— Да, да.

— А потом ты на балу — такая высокая и такая страшная в своей уже женской красоте, — как хотел я умереть в ту ночь в восторге своей любви и погибел! Потом ты со свечой в руке, твой траур и твоя непорочность в нем. Мне казалось, что святой стала та свеча у твоего лица.

— И вот ты опять со мной и уже навсегда. Но даже видеться мы будем редко — разве могу я, твоя тайная жена, стать твоей явной для всех любовницей?

В декабре она умерла на Женевском озере в преждевременных родах.

4 апреля 1941

В ОДНОЙ ЗНАКОМОЙ УЛИЦЕ

Весенней парижской почью шел по бульвару в сумраке от густой, свежей зелени, под которой металлически блестели фонари, чувствовал себя легко, молодо и думал:

В одной знакомой улице
Я помню старый дом
С высокой темной лестницей,
С завешенным окном...

Чудесные стихи! И как удивительно, что все это было когда-то и у меня! Москва, Пресня, глухие спящие улицы, деревянный мещанский домишко — и я, студент, какой-то тот я, в существование которого теперь уже не верится...

Там огонек таинственный
До полночи светил...

И там светил. И мела метель, и ветер сдувал с деревянной крыши снег, дымом развевал его, и слетилось вперху, в мезонине, за красной ситцелой занавеской...

Ах, что за чудо девушка,
В заветный час почтой,
Меня встречала в доме том
С распушенной косой...

И это было. Дочь какого-то дьячка в Серпухове, бросившая там свою нищую семью, уехавшая в Москву па курсы... И вот я поднимался на деревянное крылечко, занесенное снегом, дергал кольцо шуршащей проволоки, проведенной в сенцы, в сенцах жестью дребезжал звонок — и за дверью слышались быстро сбегавшие с крутой деревянной лестницы шаги, дверь отворялась — и на нее, на ее шаль и белую кофточку несло ветром, метелью... Я кидался целовать ее, обнимая от ветра, и мы бежали наверх, в морозном холоде и в темноте лестницы, в ее тоже холодную комнатку, скучно освещенную керосиновой лампочкой... Красная занавеска на окне, столик под ним с этой лампочкой, у стены железная кровать. Я бросал куда попало шинель, картуз и брал ее к себе на колени, сев на кровать, чувствуя сквозь юбочку ее тело, ее косточки... Распущенной косы не было, была заплетенная, довольно бедная русая, было простонародное лицо, прозрачное от голода, глаза тоже прозрачные, крестьянские, губы той пестроты, что бывают у слабых девушек...

Как не по-детски пламенно
Прильнув к устам моим,
Она, дрожа, шептала мне:
«Послушай, убежим!»

Убежим! Куда, зачем, от кого? Как прелестна эта горячая, детская глупость: «Убежим!» У нас «убежим» не было. Были эти слабые, сладчайшие в мире губы, были от избытка счастья выступавшие на глаза горячие слезы, тяжкое томление юных тел, от которого мы клонили на плечо друг другу головы, и губы ее уже горели, как в жару, когда я расстегивал ее кофточку, целовал млечную девичью грудь с твердевшим недозрелой земляничкой острием... Придя в себя, она вскакивала, зажигала спиртовку, подогревала жидкий чай, и мы запивали им белый хлеб с сыром в красной шкурке, без конца говоря о нашем будущем, чувствуя, как несет из-под занавески зимой, свежим холодом, слушая, как сыплет в окно снегом... «В одной знакомой улице я помню старый дом...» Что еще помню? Помню, как весной провожал ее на Кур-

ском вокзале, как мы спешили по платформе с ее ивовой корзинкой и свертком красного одеяла в ремнях, бежали вдоль длинного поезда, уже готового к отходу, заглядывали в переполненные народом зеленые вагоны... Помню, как наконец она взобралась в сепцы одного из них и мы говорили, прощались и целовали друг другу руки, как я обещал ей приехать через две недели в Серпухов... Больше ничего не помню. Ничего больше и не было.

25 мая 1944

РЕЧНОЙ ТРАКТИР

В «Праге» сверкали люстры, играл среди обеденного шума и говора струнный португальский оркестр, не было ни одного свободного места. Я постоял, оглядываясь, и уже хотел уходить, как увидел знакомого военного доктора, который тотчас пригласил меня к своему столу возле окна, открытого на весеннюю теплую ночь, на гремящий трамваями Арбат. Пообедали вместе, порядочно выпив водки и кахетинского, разговаривая о недавно созванной Государственной думе, спросили кофе. Доктор вынул старый серебряный портсигар, предложил мне свою асмоловскую «пушку» и, закуривая, сказал:

— Да, все Дума да Дума... Не выпить ли нам коньяку? Грустно что-то.

Я принял это в шутку, человек он был характера спокойного и суховатого (крепкий и сильный сложением, в котором очень шла военная форма, жестко рыжий, с серебром на висках), но он серьезно прибавил:

— От весны, должно быть, грустно. К старости, да еще холостой, мечтательной, становишься вообще гораздо чувствительнее, чем в молодости. Слышите, как нахпет топодем, как звонко гремят трамваи? Кстати, закроем-ка окно, неуютно,— сказал он, вставая.— Иван Степанович, шутовского...

Пока старый половой Иван Степаныч ходил за шустовским, он рассеянно молчал. Когда подали и палили по рюмке, задержал бутылку на столе и продолжал, хлебнув коньяку и из горячей чашечки:

— Тут еще вот что — некоторые воспоминания. Перед вами заходил сюда поэт Брюсов с какой-то худенькой, маленькой девицей, похожей на бедную курящуюся, что-то четко, резко и гневно выкрикивал своим картавым, в нос лающим голосом метростроителю, подбежавшему к нему, видимо, с извинениями за отсутствие свободных мест, — место, должно быть, было заказано по телефону, но не оставлено, — потом надменно удалился. Вы его хорошо знаете, но и я с ним немного знаком, встречаюсь в кружках, интересующихся старыми русскими иконами, — я ими тоже интересуюсь и уже давно, с волжских городов, где служил когда-то несколько лет. Кроме того, и слышан о нем достаточно, о его романах, между прочим, так что испытал некоторую жалость к этой, несомненно, очередной его поклоннице и жертве. Трогательна была она ужасно, растерянно и восторженно глядела то на этот, верно, совсем непривычный ей ресторанный блеск, то на него, пока он скандировал свой лад, демонически играя черными глазами и ресницами. Все это-то и навело меня на воспоминания. Расскажу вам одно из них, вызванное именно им, благо оркестр уходит и можно посидеть спокойно...

Он уже покраснел от водки, от кахетинского, от коньяку, как всегда краснеют рыжие от вина, но палил еще по рюмке.

— Я вспомнил, — начал он, — как лет двадцать тому назад шел однажды по улицам одного приволжского города пекий довольно молодой военный врач, то есть, попросту говоря, я самый. Шел по пустыкам, чтобы бросить какое-то письмо в почтовый ящик, с тем беззаботным благополучием в душе, что иногда испытывает человек без всякой причины в хорошую погоду. А тут как раз погода была прекрасная, тихий, сухой, солнечный вечер начала сентября, когда на тротуарах так приятно шуршат под ногами олавшие листья. И вот, что-то думал, случайно поднимаю я глаза и вижу: идет впереди меня скорым шагом очень стройная, изящная девушка в сером

костюме, в серебристой, красиво изогнутой шляпке, с серым зонтиком в руке, обтянутой оливковой лайковой перчаткой. Вижу и чувствую, что что-то мне в ней ужасно нравится, а кроме того, кажется несколько странным: почему и куда так спешит? Удивляться, казалось бы, нечему — мало ли бывает у людей спешных дел. Но все-таки это почему-то интригует меня. Бессознательно прибавляю шаг и себе, почти нагоняю ее — и, оказывается, не напрасно. Впереди, на углу, старая низкая церковь, и я вижу, что она направляется прямо к ней, хотя день будничнейший и такой час, когда никакой службы по церквам еще нет. Там она избегает на вапeрть, с трудом отворяет тяжелую дверь, а я опять за ней и, войдя, остаиваиваюсь у порога. В церкви пусто, и она, не видя меня, скорым и легким шагом идет к амвону, крестится и гибко опускается на колени, закидывает голову, прижимает руки к груди, уронив зонтик на пол, и смотрит на алтарь тем, как видно по всему, настойчиво молящим взглядом, каким люди просят божьей помощи в большом горе или в горячем желании чего-нибудь. В узкое с железной решеткой окно слева от меня светит желтоватый печерный свет, спокойный и будто тоже старинный, задумчивый, а впереди, в сводчатой и приземистой глубине церкви, уже сумрачно, только мерцает золото кованых с чудесной древней грубостью риз на образах алтарной стелы, и она, на коленях, не сводит с них глаз. Тонкая талия, лира зада, каблучки уткнувшейся носками в пол легкой, изящной обуви... Потом несколько раз прижимает платочек к глазам, быстро берет с полу зонтик, точно решившись на что-то, гибко встает, бежит к выходу, внезапно видит мое лицо — и меня просто поражает своей красотой ужаснейший испуг, вдруг мелькнувший в ее блестящих слезами глазах...

В соседней зале потухла люстра, — ресторана уже опустел, — и доктор взглянул на часы...

— Нет, еще не поздно, — сказал он. — Всего десять. Вы пикуда не спешите? Ну так посидим еще немного, я доскажу вам эту довольно странную историю. Странно было в ней прежде всего то, что в тот же вечер, то есть, вернее, поздно вечером, я опять встретил ее. Мне вдруг вздумалось поехать в летний трактир на Волге, где я

был всего два-три раза за все лето, да и то только затем, чтобы посидеть на речном воздухе после жаркого дня в городе. Почему я поехал именно в этот уже свежий вечер, бог ведает: словно руководило мною что-то. Можно, конечно, сказать, что вышла простая случайность: поехал человек от нечего делать, и нет ничего удивительного в новой случайной встрече. Разумеется, все это вполне справедливо. Но почему же вышло и другое, то есть то, что я встретил ее черт знает где и что вдруг оправдались какие-то смутные догадки и предчувствия, испытанные мной, когда я в первый раз увидел ее и ту сосредоточенность, какую-то тайную тревожную цель, с которой она шла в церковь и там так напряженно и молча, то есть чем-то самым главным, самым подлинным, что есть в нас, молила о чем-то бога? Приехав и совсем забыв о пей, я долго и скучно сидел один в этом речном кабаке, очень дорогом, кстати сказать, известном своими купеческими почными кутежами, передко тысячными, и без всякого вкуса глотал от времени до времени жигулевское пиво, вспоминая Рейн и швейцарские озера, на которых был летом в прошлом году, и думая о том, как вульгарны все провинциальные русские места загородных развлечений, в частности, и приволжские. Вы бывали в приволжских городах и в подобных трактирах на воде, на сваях?

Я ответил, что Волгу знаю мало, на поплавах там не бывал, по-легко представляю себе их.

— Ну, конечно, — сказал он. — Русская провинция везде довольно одинакова. Одно только там ни на что не похоже — сама Волга. С ранней весны и до зимы она всегда и всюду необыкновенна, во всякую погоду, и что днем, что ночью. Ночью сидишь, например, в таком трактире, смотришь в окна, из которых состоит три его ступени, а когда в летнюю ночь они все открыты на воздух, смотришь прямо в темноту, в черноту ночи, и как-то особенно чувствуешь все это дикое величие водных пространств за ними: видишь тысячи рассыпанных разноцветных огней, слышишь плеск идущих мимо плотов, перекличку мужицких голосов на них или на баржах, на беляках, предостерегающие друг друга крики, разнотонную музыку то гулких, то низких пароходных

гудков и сливающиеся с ними терции каких-нибудь шибко бегущих речных паровичков, вспоминаешь все эти разбойничьи и татарские слова — Балахна, Васильсурск, Чебоксары, Жигули, Батраки, Хвалыньск — и страшные орды грузчиков на их пристанях, потом всю несравненную красоту старых волжских церквей — и только головой качаешь: до чего в самом деле ни с чем не сравнима эта самая наша Русь! А посмотришь вокруг — что это, собственно, такое, этот трактир? Спайпал постройка, бревенчатый сарай с окнами в топорных рамах, уставленный столами под белыми, но печистыми скатертями с тяжелыми дешевыми приборами, где в солонках соль перемешана с перцем и салфетки пахнут серым мылом, дощатый помост, то есть балаганная эстрада для балалаечников, гармонистов и арфлянок, освещенная по задней стене керосиновыми лампочками с ослепительными жесткими рефлекторами, желтоволосые половые, холяки из мужиков с толстыми волосами, с медвежьими глазками — и как соединить все это с тем, что тут то и дело выпивается за ночь на тысячу рублей мумму и редеру! Все это, знаете, тоже Русь... Но не надоел ли я вам?

— Помилуйте! — сказал я.

— Ну так позвольте копнуть. Я все это клоню к тому, в каком похабном месте вдруг опять встретил я ее во всей ее чистой, благородной прелести, с каким спутником! К полночи трактир стал оживать и наполняться: зажгли под потолком огромную и страшно жаркую лампу, лампы по стенам, лампочки на стене за помостом, вышел целый полк половых, повалила толпа гостей: конечно, купеческие сынки, чиновники, подрядчики, парходные капитаны, труппа актеров, гастролировавших в городе... половые, развратно лгзгбаясь, забегали с подносами, в компаниях за столами пошел галдеж, хохот, поплыл табачный дым, на помост вышли и в два ряда сели по его бокам балалаечники в оперно-крестьянских рубашках, в чистеньких опучах и повеньких лаптях, за ними вышел и фронтал стал хор напумьявенных и набеленных блядчопок, однаково заложивших руки за спину и резкими голосами, с ничего не выражающими лицами подхвативших под зазвеневшие балаалайки жалостную, протяжную песню про какого-то несчастного «вои-

па», будто бы вернувшегося из долгого турецкого плена: «Ивво рад-нын-и ни узнали-и, спроси-и-ли вопи-а, кто ты-ты...» Потом вышел с огромной гармоньей в руках какой-то «знаменитый Иван Грачев», сел на стул у самого края помоста и тряхнул густыми, хамски разобравными на прямой ряд белобрсыми волосами: морда полотера, желтая косоворотка, расшитая по высокому вороту и подолу красным шелком, жгут красного пояса с длинно висшими махрами, новые сапоги с лакированными голенищами... Тряхнул волосами, уложил на подпоятое колено гармонию-трехрядку в черных с золотом мехах, устремил оловянные глаза куда-то вверх, сделал залихватский перебор на ладах — и зарычал, запел ими, ломая, извивая и растягивая меха толстой змеей, перебирая по ладам с удивительнейшими выкрутасами, да все громче, решительнее и разнообразнее, потом вскинул морду, закрыл глаза и зазвучал женским голосом: «Я вчор в лужках гуляла, грусть хотела разогнать...» Вот в эту-то самую минуту и увидал я ее, и, конечно, не одну: как раз в то время встал, чтобы позвать полового и заплатить за пиво, да и так и ахнул: отворилась спаружки дверь за помостом, и появилась она, в каком-то картузике цвета хаки, в непромокаемом пальто того же цвета с полсом,— правда, хороша она было во всем этом удивительно, похожа на высокого мальчика,— а за ней, держа ее за локоть, некто небольшого роста, в поддежке и в дворянском картузе, темноликий и уже морщинистый, с черными беспокойными глазами. И, понимаете, я, что называется, света божьего неувидел! Я узнал в нем одного моего знакомого, промотавшегося помещика, пьяницу, развратника, бывшего гусарского поручика, выгнанного из полка, и, ничего не соображая, не думая, кипуче вперед между столами так стремительно, что настиг его и ее почти при входе,— Иван Грачев еще кричал: «Я цветочек там искала, чтобы милому послать...» Когда я подбежал к ним, он, взглянув на меня, успел весело крикнуть: «А, доктор, здравствуйте!», в то время как она поблелела до гробовой синевы, по я оттолкнул его и бешено зашептал ей: «Вы, в этом кабаке! В полночь, с развратным пьяницей, шулером, известным всему уезду и городу!» Я схватил ее за руку, грозил изуво-

чить его, если она сию же минуту не выйдет со мной отсюда вон. Он одеревенел — что ж он мог, зная, что я могу вот этими руками подковы ломать! Она повернулась и, наклонив голову, пошла к выходу. Я догнал ее под первым фонарем на булыжной набережной, взял под руку. — Она не подвигала головы, не освободила руку. За вторым фонарем, возле скамьи, она остановилась и, уткнувшись в меня, задрожала от слез. Я посадил ее на скамью, одной рукой держа ее мокрую от слез, милую, тонкую девичью руку, другой обнимая за плечо. Она несвязно выговаривала: «Нет, неправда, неправда, он хороший... он несчастный, но он добрый, великодушный, беззаботный...» Я молчал, — возражать было бесполезно. Потом кликнул проезжавшего мимо извозчика. Она стихла, и мы в молчании поднялись в город. На площади она тихо сказала: «Теперь пустите меня, я дойду пешком, я не хочу, чтобы вы знали, где я живу», — и, вдруг поцеловав мне руку, соскочила и, не оглядываясь, пеловко пошла вкось по площади... Больше я никогда не видел ее и так и не знаю до сих пор, кто она, что она...

Когда мы расплатились, оделись внизу и вышли, доктор дошел со мной до угла Арбата, и мы приостановились, чтобы проститься. Было пусто и тихо — до нового оживления к полпочи, до разъезда из театров и ужिनгов по ресторанам, в городе и за городом. Небо было черно, чисто блестели фонари под молодой, парядной зеленью на Пречистенском бульваре, мягко пахло весенним дождем, помочившим мостовые, пока мы спдели в «Праге».

— А знаете, — сказал доктор, поглядев кругом, — я жалел потом, что, так сказать, спас ее. Были со мной и другие случаи в этом роде... А зачем, позвольте спросить, я вмешивался? Не все ли равно, чем и как счастлив человек! Последствия? Да ведь все равно они всегда существуют: ведь ото всего остаются в душе жестокие следы, то есть воспоминания, которые особенно жестоки, мучительны, если вспоминается что-нибудь счастливое... Ну, до свидания, очень рад был встретиться с вами...

27 октября 1943

КУМА

Дачи в сосновых лесах под Москвой. Мелкое озеро, купальни возле топких берегов.

Одна из самых дорогих дач недалеко от озера: дом в шведском стиле, прекрасные старые сосны и яркие цветники перед обширной террасой.

Хозяйка весь день в легком нарядном мати́не с кружевами, сияющая тридцатилетней купеческой красотой и спокойным довольством летней жизни. Муж уезжает в контору в Москву в девять утра, возвращается в шесть вечера, сильный, усталый, голодный, и тотчас идет купаться перед обедом, с облегчением раздевается в нагретой за день купальне и пахнет здоровым потом, крепким простонародным телом...

Вечер в конце июня. Со стола на террасе еще не убран самовар. Хозяйка чистит на варенье ягоды. Друг мужа, приехавший на дачу в гости на несколько дней, курит и смотрит на ее обнаженные до локтей холеные, круглые руки. (Знаток и собиратель древних русских икон, изысканный и сухой сложенней человек с небольшими подстриженными усами, с живым взглядом, одетый как для тенниса.) Смотрит и говорит:

— Кума, можно поцеловать руку? Не могу спокойно смотреть.

- Руки в соку, — подставляет блестящий локоть.
Чуть коснувшись его губами, говорит с запинкой:
- Кума...
 - Что, кум?
 - Знаете, какая история: у одного человека сердце ушло из рук и он сказал уму: прощай!
 - Как это сердце ушло из рук?
 - Это из Саади, кума. Был такой персидский поэт.
 - Знаю. Но что значит сердце ушло из рук?
 - А это значит, что человек влюбился. Вот как я в вас.
 - Похоже, что и вы сказали уму: прощай.
 - Да, кума, сказал.
- Улыбается рассеянно, будто занятая только своим делом:
- С чем вас и поздравляю.
 - Я серьезно.
 - На здоровье.
 - Это не здоровье, кума, а очень тяжелая болезнь.
 - Бедный. Надо лечиться. И давно это с вами?
 - Давно, кума. Знаете, с каких пор? С того дня, когда мы с вами ни с того ни с сего крестили у Савельевых, — не понимаю, какая нелегкая дернула их познать крестить именно нас с вами... Помните, какая метель была в тот день, и как вы приехали вся в снегу, возбужденная быстрой ездой и метелью, как я сам снял с вас соболью шубку, и вы вошли в залу в скромном белом шелковом платье, с жемчужным крестиком на слегка открытой груди, а потом держали ребенка на руках с завернутыми рукавками, стояли со мной у купели, глядя на меня с какой-то смущенной полуулыбкой... Тут-то и началось между нами что-то тайное, какая-то греховная близость, наше как бы уже родство и оттого особенное вожделение.
 - Parlez pour vous...¹
 - А потом мы рядом сидели за завтраком, и я не понимал — то ли это от гиацинтов на столе так чудесно, молодо, свежо пахнет или от вас... Вот с тех пор я и заболел. И вылечить меня можете только вы.

¹ Говорите за себя... (франц.)

Посмотрела исподлобья.

— Да, я этот день хорошо помню. А что до лечения, то жаль, что Дмитрий Николаевич нынче почует в Москве, — он бы вам тотчас посоветовал настоящего доктора.

— А почему он почует в Москве?

— Сказал утром, уходя на станцию, что нынче у них заседание пайщиков, перед разездом. Все разъезжают — кто в Kisловодск, кто за границу.

— Но он мог бы с двенадцатичасовым вернуться.

— А прощальное пльпство после заседания в «Мавритании»?

За обедом он грустно молчал, неожиданно пошутил:

— А не закатиться ли и мне в «Мавританию» с десятичасовым: вдребезги напиться там, выпить на брудершафт с метроте́лем?

Она посмотрела длительно.

— Закатиться и меня одну оставить в пустом доме? Так-то вы помните гнацинты!

И тихо, будто задумавшись, положила ладонь на его лежавшую на столе руку...

Во втором часу ночи, в одном шлафроке, он прокрался из ее спальни по темному, тихому дому, подчеткий стук часов в столовой, в свою комнату, в сумраке которой светился в открытые на садовый балкон окна дальний неживой свет всю ночь не гаснувшей зари и пахло почной лесной свежестью. Блаженно повалился навзничь на постель, нашарил на почном столике спички и портсигар, жадно закурил и закрыл глаза, вспоминая подробности своего неожиданного счастья.

Утром в окна тянуло сыростью тихого дождя, по балкону ровно стучали его капли. Он открыл глаза, с паслажденным почувствовал сладкую простоту будничной жизни, подумал: «Нынче уеду в Москву, а послезавтра в Тироль или на озеро Гарда», — и опять заснул.

Выйдя к завтраку, почтительно поцеловал ее руку и скромно сел за стол, развернул салфетку...

— Не взыщите, — сказала она, стараясь быть как можно проще, — только холодная курица и простокваша. Саха, принесите красного вина, вы опять забыли...

Потом, не подвигая глаз:

— Пожалуйста, уезжайте побыче же. Скажите Дмитрию Николаевичу, что вам тоже страшно захотелось в Кисловодск. Я приеду туда педели через две, а его отправлю в Крым к родителям, там у них чудная дача в Мисхоре... Спасибо, Саша. Вы простокваши не любите,— хотите сыру? Саша, принесите, пожалуйста, сыр...

— «Вы любите ли сыр, спросили раз ханжу»,— сказал он, иловко смеясь.— Кума...

— Хороша кума!

Он взял через стол и сжал ее руку, тихо говоря:

— Правда приедете?

Она ответила ровным голосом, глядя на него с легкой усмешкой:

— А как ты думаешь? Обману?

— Как мне благодарить тебя!

И тотчас подумал: «А там я ее, в этих лакированных сапожках, в амазонке и в котелке, вероятно, тотчас же люто возненавижу!»

25 сентября 1943

НАЧАЛО

— А я, господа, в первый раз влюбился, или, вернее, потерял невинность, лет двенадцати. Был я тогда гимназистом и ехал из города домой, в деревню, на рождественские каникулы, в один из тех теплых серых дней, что так часто бывают на Святках. Поезд шел среди сосновых лесов в глубоких снегах, я был детски счастлив и спокоен, чувствуя этот мягкий зимний день, эти снега и сосны, мечтая о лыжах, ожидавших меня дома, и совсем один сидел в жарко натопленном первом классе старинного вагона-микст, состоявшего всего из двух отделений, то есть из четырех красных бархатных диванов с высокими спинками, — от этого бархата было как будто еще жарче и душевнее, — и четырех таких же бархатных диванчиков возле окон с другой стороны, с проходом между ними и диванами. Там беззаботно, мирно и одиноко провел я больше часа. Но на второй от города станции отворилась дверь из сеней вагона, отрадио запахло зимним воздухом, вошел поспыщик с двумя чемоданами в чехлах и с портпледом из шотландской материи, за ним очень бледная черноглазая молодая дама в черном атласном капоре и в каракулевой шубке, а за дамой рослый барин с желтыми совиными глазами, в оленьей шап-

ке с поднятыми паушниками, в поярковых валенках выше колен и в блестящей оленьей дохе. Я, как воспитанный мальчик, тотчас, конечно, встал и с большого дивана возле двери в сенцы пересел во второе отделение, но не на другой диван, а на диванчик возле окна, лицом к первому отделению, чтобы иметь возможность наблюдать за вошедшими: ведь дети так же внимательны и любопытны к новым лицам, как собаки к незнакомым собакам. И вот тут-то, на этом диване, и погибла моя невинность. Когда носильщик положил вещи в сетку над диваном, на котором я только что сидел, сказал барину, сунувшему в руку ему бумажный рубль, «счастливого пути, ваше сиятельство!» и уже на ходу поезда выбежал из вагона, дама тотчас легла павзничь на диван под сеткой, затылком на его бархатный валик, а барин пеловко, не привычными ни к какому делу руками, стащил с сетки портплед на противоположный диван, выдернул из него белую подушечку и, не глядя, подал ей. Она тихо сказала: «Благодарствуй, мой друг», — и, подсушив ее под голову, закрыла глаза, он же, сбросив доху на портплед, стал у окна между диванчиками своего отделения и закурил толстую папиросу, густо распространив в духоте вагона ее ароматический запах. Он стоял во весь свой мощный рост, с торчащими вверх паушниками оленьей шапки, и, казалось, не спускал глаз с бегущих назад сосен, а я сперва не спускал глаз с него и чувствовал только одно — ужасную несправедливость к нему за то, что он совершенно не заметил моего присутствия, ни разу даже не взглянул на меня, точно я и не был в вагоне, а в силу этого и за все прочее: за его барское снокоичество, за княжески-мужицкую величину, хищные круглые глаза, небрежно запущенные каштановые усы и бороду и даже за плотный и просторный коричневый костюм, за легкие бархатистые валенки, цалпнутые выше колен. Но не прошло и минутой, как я уже забыл о нем: я вдруг вспомнил ту мертвенную, но прекрасную бледность, которой неосознанно поражен был при входе дамы, лежавшей теперь павзничь на диване против меня, перевел взгляд на нее — и уже ничего более, кроме нее, ее лица и тела, не видел до следующей станции, где мне надо было сходить. Она вздохнула и

легла поудобнее, пониже, распахнула, не открывая глаз, шубку на фланелевом платье, скинула пога об ногу на пол теплые ботики с открытых замшевых ботинок, сняла с головы и уронила возле себя атласный капор,— черные волосы ее оказались, к моему великому удивлению, по-мальчишески коротко стриженными,— потом справа и слева отстегнула что-то от шелковых серых чулок, поднимая платье до голого тела между ним и чулками, и, оправив подол, задремала: гелиотроповые, по женски-молодые губы с темным пушком над ними слегка приоткрылись, бледное до прозрачной белизны лицо с явными на нем черными бровями и ресницами потеряло великое выражение... Сон жепщины, желанной вам, все ваше существо влекущей к себе,— вы знаете, что это такое! И вот я в первый раз в жизни увидел и почувствовал его,— до того я видел только сон сестры, матери,— и все глядел, глядел остановившимися глазами, с пересохшим ртом на эту мальчишески-женскую черпую голову, на неподвижное лицо, на чистой белизне которого так дивно выделялись тонкие черные брови и черные сомкнутые ресницы, на темный пушок над полураскрытыми губами, совершенно мучительными в своей притягательности, уже постигал и поглощал все то непередаваемое, что есть в лежащем женском теле, в полноте бедер и тонкости щиколок, и с страшной яркостью все еще видел мысленно тот ни с чем не сравнимый женский, пещерный телесный цвет, который она печально показала мне, что-то отстегивая от чулок под фланелевым платьем. Когда неожиданно привел меня в себя толчок остановившегося перед нашей станцией поезда, я вышел из вагона на сладкий зимний воздух, шатаюсь. За деревянным вокзалом стояли троечные сани, запряженные серой парой, гремевшей бубенцами; с епотовой шубой в руках ждал возле саней наш старый кучер, неприветливо сказавший мне:

— Мамаша приказали беспременно падеть...

И я покорно влез в эту пахучую мехом и зимней свежестью дедовскую шубу с огромным уже желтым и длинноостистым воротом, утонул в мягких и просторных саях и под глухое, полное бормотанье бубенцов зака-

чался по глубокой и беззвучной снежной дороге в сосновой просеке, закрывая глаза и все еще млея от только что пережитого, смутно и горестно-сладко думая только о нем, а не о том прежнем, милом, что ждало меня дома вместе с лыжами и волчонком, взятым на охоте в августе в логове убитой волчицы и теперь сидевшим у пас в яме в саду, из которой еще осебью, когда я приезжал домой на два дня на Покров, уже так дико и чудесно вопило зверем.

23 октября 1943

«ДУБКИ»

Шел мне тогда, друзья мои, всего двадцать третий год, — дело, как видите, давнее, еще двоей блаженной памяти Николая Павловича, — только что произведен я был в чин гвардейского корнета, уволен зимой в том для меня достопамятном году в двухнедельный отпуск в свою рязанскую вотчину, где, по кончине родителей, одиноко жила моя матушка, и, приехав, вскорости жестоко влюбился: заглянул однажды в давно пустовавшую дедовскую усадьбу при некоем селъце Петровском, по соседству нашей, да и стал под всякими предлогами заглядывать туда все чаще и чаще. Дика и поныне русская деревня, зимой пуще всего, а что ж было в мои времена! Таково дико было и Петровское с этой пустовавшей усадьбой на его окраине, называвшейся «Дубки», ибо при въезде в нее росло несколько дубов, в мою пору уже древних, могучих. Под теми дубами стояла старая грубая изба, за избой разрушенные временем службы, еще дальше пустыри вырубленного сада, занесенного снегами, и развалина барского дома с темными провалами окон без рам. И вот в этой-то избе под дубами и сиживал я чуть не каждый день, болтая всякий будто бы хозяйственный вздор жившему в ней нашему старосте Лавру, даже шутко ища его дружества и тайком бросая

горестные взоры на его молчаливую жену Анфису, схожую скорее с испанкой, чем с простою русскою дворовой, бывшую чуть не вдвое моложе Лавра, рослого мужика с кирпичным лицом в темно-красной бороде, из которого легко мог бы выйти атаман шайки муромских разбойников. С утра я без разбору читал что попадет под руку, брел на фортепьяно, подпевал с томлением: «Когда, душа, просилась ты погибнуть или любить», — а пообедав, уезжал до вечера в «Дубки», невзирая на жгучие ветры и выюги, неустанно летевшие к нам из саратовских степей. Так прошли Святки и приблизился срок моего возвращения к должности, о чем я осведомил однажды с притворной непринужденностью Лавра и Анфису. Лавр резонно заметил на то, что служба царская, вестимо, первое всего, и тут за чем-то вышел из избы, Анфиса же, сидевшая с шитьем в руках, опустила вдруг шитье на колени, посмотрела вслед мужу своими кастильскими глазами и, лишь только захлопнулась дверь за ним, стремительно-страстно блеснула ими в меня и сказала горячим шепотом:

— Барин, завтра он уедет с ночевкой в город, приезжайте ко мне скоротать вечерок на прощанье. Танлась я, а теперь скажу: горько мне будет расставаться с вами!

Я, конечно, был сражен таким призывом и только успел головой кивнуть в знак согласия — Лавр воротился в избы.

После того я, как понимаете, не чал в неизъяснимом нетерпении и дожидать до завтрашнего вечера, не знал, что с собой делать, думая только одно: пренебрегу всем своим карьером, брошу полк, остаюсь пазеки в деревне, соединю судьбу свою с нею по смерти Лавра — и прочее подобное... «Ведь он уже стар, — думал я, невзирая на то, что Лавру еще и пятидесяти не было, — он должен скоро умереть...» Наконец прошла ночь, — я до самого утра то трубку курил, то ром пил, пимало не пьянел, все разгораясь в своих безрассудных мечтах, — прошел и короткий зимний день, стало темнеть, а на дворе — прежестокый буря. Как тут уехать из дому, что сказать матушке? Теряюсь, не знаю, как быть, как вдруг простая мысль: да съезжу тайком, вот и вся недолга! Сказался педомо-

ганием, не буду, мол, ужинать, пойду в постель, а как только матушка откушала и удалилась к себе, — наступила уже ранняя зимняя ночь, — с великою поспешностью оделся, побежал в избу к конюхам, приказал запрячь легонькие санки и был таков. На дворе зги не видно в белой метельной тьме, по дороге лошади знакомая, пустил ее наугад, и не прошло и полчаса, как зачернели в этой тьме гудящие дубы над заветной избой, засветилось сквозь снег ее окошко. Привязал я лошадь к дубу, бросил на нее попоны — и, вне себя, через сугроб, в темные сенцы! Нашарил дверь избы, шагнул за порог, а она уж наряджена, набелена, нарумянена, сидит в блеске и красном дыму лучины на лавке близ стола, уставленного по белой скатерти угощением, во все глаза ждет меня. Все маячит, дрожит в этом блеске, в дыму, но глаза и сквозь них видны — столь они широки и пристальны! Лучина в светце на припечном столбе, над лоханью с водой, трещит, сплит быстрым багровым пламенем, роиет огненные искры, шипящие в воде, на столе тарелки с орехами и мятыми жамками, штоф с наливкою, два стакачика, а она, близ стола, спиной к белому от снега окошку, сидит в шелковом лиловом сарафане, в миткалевой сорочке с распахнутыми рукавами, в коралловом ожерелье — смолочившая головка, делавшая бы честь любой светской красавице, гладко причесана на прямой пробор, в ушах висят серебряные серьги... Увидав меня, вскочила, мигом скинула с меня оснеженную шапку, лисью поддевку, толкнула к лавке, — все как в испуге, вопреки всем моим прежним мыслям о ее гордой неприступности, — бросилась на колени ко мне, обняла, прижимая к моему лицу свои жаркие ланиты...

— Что ж ты таилась, — говорю, — дождалась до разлуки нашей!

Отвечает отчаянно:

— Ах, что ж я могла! Сердце заходилось, как ты приезжал, видела твоё мучение, да я крепка, не выдавала себя! Да и где могла открыться тебе? Ведь ни минуты не была глаз на глаз с тобой, а при нем даже взглядом не откроешься, зорек, как орел, заметит что — укусит, рука не дрогнет!

И опять обнимает, жмет мою робкую руку, кладет па колени себе... Чувствую ее тело па своих ногах сквозь легкий сарафан и уж не владею собой, как вдруг она вся чутко и дико выпрямляется, вскакивает, глядя на меня глазами Пифии:

— Слышишь?

Слушаю — и ничего не слышу, кроме шума снега за стеной: что, мол, такое?

— Подъехал кто-то! Лошадь заржала! Оп!

И, забежав и сев за стол, преодолая тяжкое дыхание, громко говорит простым голосом, наливая дрожащей рукою из штофа:

— Выкушайте, сударь, паливочки. Поедете — озлбнете...

Вот тут он и взмог, весь косматый от снега, в бараньем треухе и тулупе, глгнул, молвил: «Здравствуйте, сударь», — усердно положил тулуп на хоры, снял, отряхнул треух и, вытирая полою полушубка мокрое лицо и бороду, не спеша заговорил:

— Ну и погодка! Добился кое-как до Больших Дворов, — нет, думаю, пропадешь, не доедешь, — въехал на заезжий двор, поставил кобылу под навес в затишье, задал корму, а сам в избу, за щи, — попал как раз в обед, — да так и просидел почесть до вечера. А потом думаю — э, была не была, поеду-ка я домой, эвось бог донесет, — не до города, не до дел в такую страсть! Вот и доехал, слава богу...

Мы молчим, сидим в оцепенении, в ужаснейшем замешательстве, понимаем, что он сразу понял все, она не подымает ресниц, я изредка на него взглядываю... Признаюсь, живописец он был. Велик, плечист, туго подпоясан зеленой подпояской по короткому полушубку с цветными татарскими разводами, крепко обут в казанские валенки, кирпичное лицо горит с ветру, борода блестящая снегом, глаза — грозным умом... Подойдя к светцу, запалил новую лучину, потом сел за стол, взял штоф толстыми пальцами, налил, выпил до дна и говорит в сторону:

— Уж и не знаю, сударь, как вы теперь доедете. А ехать вам давно пора, лошадь вашу всю снегом занесло, вся согнулась стоит... Уж не гневайтесь, что не

выйду провожать — больно намаялся за день, да и жену весь день не видал, а есть у меня о чем с ней побеседовать...

Я, без слова в ответ, поднялся, оделся и вышел...

А наутро, чем свет, верховой из Петровского: ночью Лавр удавил жену своей зеленой подполской на железном крюку в дверной притолке, а утром пошел в Петровское, заявил мужикам:

— У меня, соседи, горе. Жена удавилась — видно, с расстройства ума. Проснулся на рассвете, а она висит уж вся сипля с лица, голова на грудь свалилась. Нарядилась зачем-то, нарядилась — и висит, малость не достает до полу... Присвидетельствуйте, православные.

Те посмотрели на него и говорят:

— Ишь ты, что с собою наделала! А что ж это у тебя, староста, вся борода клоками вырвана, все лицо сверху донизу когтями изрезано, глаз кровью течет? Вляжи его, ребята!

Был он бит плетью и отправлен в Сибирь, в рудники.

30 октября 1913

«МАДРИД»

Поздним вечером шел в лунном свете вверх по Тверскому бульвару, а она навстречу: идет гуляющим шагом, держит руки в маленькой муфте и, поводя круглой каракулевой шапочкой, надетой слегка набекрень, что-то напевает. Подойдя, приостановилась:

— Не хотите ли разделить компанию?

Он посмотрел: небольшая, курносенькая, немпожко широкоскулая, глаза в лунном полусвете блестят, улыбка милая, несмелая, голосок в тишине, в морозном воздухе чистый...

— Отчего же нет? С удовольствием.

— А вы сколько дадите?

— Рубль за любовь, рубль на булавки.

Она подумала.

— А вы далеко живете? Недалеко, так пойду, после вас еще успею походить.

— Два шага. Тут, на Тверской, номера «Мадрид».

— А, знаю! Я там раз пять была. Меня туда один шулер водил. Еврей, а ужасно добрый.

— Я тоже добрый.

— Я так и подумала. Вы симпатичный, сразу мне понравились...

— Тогда, значит, пошли.

По дороге, все поглядывая на нее, — на редкость милую девчонку! — стал расспрашивать:

— Что ж ты это одна?

— Я не одна, мы всегда троим выходим: я, Мур и Анеля. Мы и живем вместе. Только нынче суббота, их приказчики взяли. А меня никто за весь вечер не взял. Меня не очень берут, любят больше полных или уж что-бы как Анеля. Она хоть худая, а высокая, дерзкая. Пьет — страсть и по-цыгански умеет пить. Она и Мур мужички терпеть не могут, влюблены друг в друга ужас как, живут как муж с женой...

— Так, так... Мур... А тебя как зовут? Только не ври, не выдумывай.

— Меня Нина.

— Вот и врешь. Скажи правду.

— Ну, вам скажу. Поля.

— Гуляешь, должно быть, недавно?

— Нет, уж давно, с самой весны. Да что все расспрашивать! Дайте лучше паниросочку. У вас, верно, очень хорошие, лишь какой на вас клош и шляпа!

— Да, когда придет. На морозе предно курить.

— Ну, как хотите, а мы всегда на морозе курим, и ничего. Вот Анели вредно, у ней чахотка... А отчего вы бритый? Он тоже был бритый...

— Это ты все про шулера? Однако запомнись он тебе!

— Я его до сих пор помню. У него тоже чахотка, а курит ужас как. Глаза горят, губы сухие, грудь провалилась, щеки провалились, темные...

— А кисти волосатые, страшные...

— Правда, правда! Ай вы его знаете?

— Ну вот, откуда же я могу его знать!

— Потом он в Киев уехал. Я его на Брянский вокзал ходила провожать, а он и не знал, что приду. Пришла, а поезд уж пошел. Побежала за вагонами, а он как раз из окошка высунулся, увидал меня, замахал рукой, стал кричать, что скоро опять приедет и киевского сухого варенья мне привезет.

— И не приехал?

— Нет, его, верно, поймали.

— А откуда же ты узнала, что он шулер?

— Он сам сказал. Напился портвейну, стал грустный и сказал. Я, говорит, шулер, все равно, что вор, да что же делать, волка ноги кормит... А вы, может, актер?

— Вроде этого. Ну, пришли...

За входной дверью горела над конторкой маленькая лампочка, никого не было. На доске на стене висели ключи от номеров. Когда он спял свой, она зашептала:

— Как же это вы оставляете? Обворуют!

Он посмотрел на нее, все больше веселея.

— Обворуют — в Сибирь пойдут. Но что за прелесть мордашка у тебя!

Она смутилась:

— Все сместось... Пойдемте за ради бога скорей, ведь все-таки это не дозволяется водить к себе так поздно...

— Ничего, не бойся, я тебя под кровать спрячу. Сколько тебе лет? Восемнадцать?

— Чудной вы! Все знаете! Восемнадцатый.

Поднялись по крутой лестнице, по истертому коврику, повернули в узкий, слабо освещенный, очень душный коридор, он остановился, вставив ключ в дверь, она поднялась на цыпочки и посмотрела, какой номер:

— Пятый! А он стоял в пятнадцатом, в третьем этаже...

— Если ты мне про него еще хоть слово скажешь, я тебя убью.

Губы у нее сморщились довольной улыбкой, она, слегка покачиваясь, вошла в прихожую освещенного номера, на ходу расстегивая пальто с каракулевым воротничком.

— А вы ушли и забыли свет погасить...

— Не беда. Где у тебя носовой платочек?

— На что вам?

— Раскраснелась, а все-таки нос озяб...

Она поняла, поспешно вынула из муфты комочек платка, утерлась. Он поцеловал ее холодную щеку и потрепал по спине. Она сняла шапочку, тряхнула волосами и стоя стала стягивать с ноги ботинок. Ботинок не поддавался, она, сделав усилие, чуть не упала, схватилась за его плечо и звонко засмеялась:

— Ой, чуть не полетела!

Он снял пальтецо с ее черного платыща, пахнущего материей и теплым телом, легонько толкнул ее в номер, к дивану:

— Сядь и давай ногу.

— Да нет, я сама...

— Сядь, тебе говорят.

Она села и протянула правую ногу. Он встал на одно колено, ногу положил на другое, она стыдливо одернула подол на черный чулок:

— Вот какой вы, ей-богу! Опп, правда, у меня страсть тесные...

— Молчи.

И, быстро стащив ботинки один за другим вместе с туфлями, откинул подол с ноги, крепко поцеловал в голое тело выше колена и встал с красным лицом:

— Ну, скорей! Не могу...

— Что не можете? — спросила она, стоя на ковре маленькими ногами в одних чулках, трогательно уменьшившись в росте.

— Совсем дурочка! Ждать не могу, — поняла?

— Раздеваться?

— Нет, одеваться!

И, отвернувшись, подошел к окну и торопливо закурил. За двойными стеклами, снизу заморзшими, бледно светили в месячном свете фонари, слышно было, как, гремя, неслись мимо, вверх по Тверской, бубенцы на «голубцах»... Через минуту она окликнула его:

— Я уж лежу.

Он потушил свет и, как попало раздевшись, торопливо лег к ней под одеяло. Она, вся дрожа, прижалась к нему и зашептала с мелким, счастливым смехом:

— Только за ради бога не дуйте мне в шею, на весь дом закричу, страсть боюсь щекотки...

С час после того она крепко спала. Лежа рядом с ней, он глядел в полутьму, смешанную с мутным светом сулицы, думая с перазревающимся недоумением: как же это может быть, что она под утро куда-то уйдет? Куда? Живет с какими-то стервами над какой-нибудь прачечной, каждый вечер выходит с ними как на службу, чтобы заработать под каким-нибудь скотом два целковых, — и какая детская беспечность, простосердечная идиотич-

пость! Я, мне кажется, тоже «на весь дом закричу» от жалости, когда она завтра соберется уходить...

— Поля,— сказал он, садясь и трогая ее за голое плечо.

Она испуганно очнулась:

— Ох, батюшки! Извините, пожалуйста, совсем нечаянно заснула... Я сейчас, сейчас...

— Что сейчас?

— Сейчас встану, оделюсь...

— Да нет, давай ужинать. Никуда я тебя не пушу до утра.

— Что вы, что вы! А полиция?

— Глупости. А мадера у меня ничуть не хуже портвейна твоего шулера.

— Что ж вы мне все попрекаете им?

Он внезапно зажег свет, резко ударивший ей в глаза, она сунула голову в подушку. Он сдернул с нее одеяло, стал целовать в затылок, она радостно забила ногами:

— Ой, не щекотите!

Он принес с подоконника бумажный мешочек с яблоками и бутылку крымской мадеры, взял с умывальника два стакана, сел опять на постель и сказал:

— Вот, ешь и пей. А то убью.

Она крепко мадкусила яблоко и стала есть, запивая мадерой и рассудительно говоря:

— А что ж вы думаете? Может, кто и убьет. Наше дело такое. Идешь неизвестно куда, неизвестно с кем, а оп либо пьяный, либо полоумный, кипетс и задушит, либо ножиком зарежет... А до чего у вас теплый номер! Сидишь вся голая, и все тепло. Это мадера? Вот люблю! Куда ж сравнить с портвейном, он завсегда пробкой пахнет.

— Ну, не завсегда.

— Нет, ей-богу, пахнет, хоть два рубля за бутылку заплати, одна честь.

— Ну, давай еще налью. Давай чокнемся, выпьем и поцелуемся. До дна, до дна.

Она выпила, и так поспешно, что задохнулась, закашлялась и, смеясь, упала головой к нему на грудь. Он поднял ей голову и поцеловал в мокрые, деликатно сжатые губки.

— А меня придется провожать на вокзал?
Она удивленно раскрыла рот:
— Вы тоже уедете? Куда? Когда?
— В Петербург. Да это еще не скоро.
— Ну, слава богу! Я теперь только к вам буду ходить. Вы хотите?
— Хочу. Только ко мне одному. Слышишь?
— Ни за какие деньги ни к кому не пойду.
— Ну то-то же. А теперь — спать.
— Да мне пужло па минуточку...
— Вот тут, в тумбочке.
— Мне на виду стыдно. Погасите па минуточку огонь...

— И совсем погашу. Третий час...
В постели она легла ему на руку, опять вся прижавшись к нему, но уже тихо, ласково, а он стал говорить:

— Завтра мы с тобой будем вместе завтракать...
Она живо подняла голову:
— А где? Вот я раз была в «Тереме», это за Триумфальными воротами, дешево до того, прямо даром, а уж сколько дают — съесть нельзя!

— Ну, это мы посмотрим где. А потом ты пойдешь домой, чтобы твои стервы не подумали, что тебя убили, да и у меня дела есть, а к семи опять приходи ко мне, поедем обедать к Патрикееву, там тебе понравится — оркестрион, балалаечники...

— А потом в «Эльдорадо» — правда? Там сейчас идет чудная фильма «Мертвец-беглец».

— Великолечно. А теперь — спи.

— Сичас, сичас... Нет, Мур не стерва, она страсть несчастная. Я бы без нее пропала.

— Как это?

— Она папина сестра двоюродная...

— Ну?

— Папа мой был сцепщиком па товарной станции в Серпухове, ему там грудь раздавило буферами, а мама умерла, когда я была еще маленькой, я и осталась одна па всем свете и поехала к ней в Москву, а она, оказывается, давно уж не служит по номерам горничной, мне дали ее адрес в адресном столе, я приехала к ней с кор-

звонкой па извозчике па Смоленский рынок, смотрю, а
опа с этой Анелей живет и вместе с ней ходит по вече-
рам па бульвары... Ну и оставила меня у себя, а потом
уговорила тоже выходить...

— А говоришь, что ты без нее пропала бы.

— А куда ж бы я делась в Москве одна? Конечно,
опа меня погубила, да разве опа мне зла желала? Ну да
что об этом говорить. Может, бог даст, место какое
найду тоже в номерах, только уж место не брошу и уж
никого к себе не подпущу, мне и чаевых будет доволь-
но, да еще па всем готовом. Вот если бы тут, в вашем
«Мадриде»! Чего бы лучше!

— Я об этом подумаю; может, и устрою тебе где-
нибудь такое место.

— Я бы вам в ножки поклонилась!

— Чтоб вышла уж полная идилия...

— Что?

— Нет, ничего, это я со спа... Спи.

— Сейчас, сейчас... Я что-й-то раздумалась...

26 апреля 1944

ВТОРОЙ КОФЕЙНИК

Она и натурщица его, и любовница, и хозяйка — живет с ним в его мастерской на Знаменке: желтоволосая, невысокая, но ладная, еще совсем молодая, миловидная, ласковая. Теперь он пьет ее по утрам «Купальщицей»: она, на маленьком помосте, как будто возле речки в лесу, не решаясь пойти в воду, откуда должны глядеть глазастые лягушки, стоит вся голая, простопародно развитая телом, прикрывая рукой золотистые волосы внизу. Проработав с час, он отклоняется от мольберта, смотрит на полотно и так и этак, прищуриваясь, и расселинно говорит:

— Ну, стацция. Подогревай второй кофеиник.

Она облегченно вздыхает и, топая босыми ногами по циновкам, бежит в угол мастерской, к газовой плитке. Он что-то соскребаёт с полотна тонким ножичком, плитка шумит, кисло пахнет своими зелеными рожками и душисто кофею, а она беззаботно запекает на всю мастерскую звонким голосом:

Начинала ту-учка, ту-учка золота-ая...
На груди-и утеса велика-ана...

И, повернув голову, радостно говорит:

— Это мне художник Ярцев выучил. Вы его знали?

— Знал немного. Долговязый такой?

— Он самый.

— Даровитый малый был, но дубина порядочная. Он ведь, кажется, помер?

— Помер, помер. Спился. Нет, он добрый был. Я с ним год жила, вот как с вами. Он и невинности меня лишил всего на втором сеансе. Вскочил вдруг от мольберта, бросил палитру с кистями и сбил мне с ног на ковер. Я испугалась до того, что и крикнуть не смогла. Вцепилась ему в грудь, в пинжак, да куда тебе! Глаза бешеные, веселые... Как пожом зарезал.

— Да, да, ты мне это уж рассказывала. Молодец. И ты все-таки любила его?

— Конечно, любила. Очень боялась. Надругался надо мной, выпимши, не приведи господи. Я молчу, а он: «Катька, молчать!»

— Хорош!

— Пьяный. Кричит на всю студию: «Катька, молчать!» А я и так молчу. Потом как зальется, зальется: «Начивала тучка...» И сейчас же подхватит на иные слова: «Начивала сучка, сучка молодая» — это я-то, запачит. Со смеху помрешь! И опять — трах ногой в пол: «Катька, молчать!»

— Хорош. Но постой, я забыл: ведь тебя какой-то твой дядя привез в Москву?

— Дядя, дядя. Осталась я сиротой по шашнадцатому году, а он мне и привез. Это уж к моему другому дяде в его извозничий трактир. Я там посуду мыла, белье хозяйское стирала, потом тетя вздумала в бордель меня продать. И продала бы, да бог спас. Приехали раз под утро из «Стрельны» опохмеляться Шалипин с Коровиным, увидали, как я тащила на стойку с Родькой-половым кипичный ведерный самовар, и давай кричать и хохотать: «С добрым утром, Катенька! Хотим, чтобы бесприемно ты, а не этот сукин сын половой подавал нам!» Ведь как угадали, что меня Катей зовут! Дядя уж проснулся, вышел, зевает, насунился — она, говорит, не к этому делу приставлена, не может подавать. А Шалипин как рявкнет: «В Сибири сгною, в кандалы закую — слушай мой приказ!» Тут дядя сразу испужался, я тоже пасмерть испужалась, уперлась было, а дядя шипит: «Иди

подавай, а то я потом шкуру с тебя спущу, это самые знаменитые люди во всей Москве». Я и пошла, а Коровин оглядел мне всю, дал десять рублей и велел к нему завтра прийти, писать мне придумал, дал свой адрес. Я пришла, а он уж раздумал писать и послал к доктору Голоушеву, он был страшный приятель со всеми художниками, пьяных и мертвых свидетельствовал при полиции и тоже немножко писал. Ну, он и пустил мне по рукам, не велел ворочаться в трактир, я так и осталась в одном платьишке.

— То есть как это пустил по рукам?

— А так. Но мастерским. Сперва я позировала вся одетая, в желтом платочке, и все художникам, Купчинниковой, сестре Чехова, — она, по правде сказать, совсем никуда была в нашем деле, дилитантка, — потом попала аж к самому Малявину: он мне посадил голую на ноги, на пятки, спиной к себе, с рубашкой над головой, будто я ее надеваю, и написал. Спина и зад вышли отлично, сильная лепка, только он испортил пятками и подошвами, совсем противно вывернул их под задом...

— Ну, Катька, молчать. Второй звонок. Давай кофеиник.

— Ой, батюшки, заговорила! Даю, даю...

30 апреля 1944

ХОЛОДНАЯ ОСЕНЬ

В июне того года он гостил у нас в имении — всегда считался у нас своим человеком: покойный отец его был другом и соседом моего отца. Пятнадцатого июня убили в Сараеве Фердинанда. Утром шестнадцатого привезли с почты газеты. Отец вышел из кабинета с московской вечерней газетой в руках в столовую, где он, мама и я еще сидели за чайным столом, и сказал:

— Ну, друзья мои, война! В Сараеве убит австрийский кронпринц. Это война!

На Петров день к нам съехалось много пароду, — были именины отца, — и за обедом он был объявлен моим женихом. Но девятнадцатого июля Германия объявила России войну...

В сентябре он приехал к нам всего на сутки — проститься перед отъездом на фронт (все тогда думали, что война кончится скоро, и свадьба наша была отложена до весны). И вот настал наш прощальный вечер. После ужина подали, по обыкновению, самовар, и, посмотрев на затеплевшие от его пара окна, отец сказал:

— Удивительно ранняя и холодная осень!

Мы в тот вечер сидели тихо, лишь изредка обменивались незначительными словами, преувеличенно спокойными, скрывая свои тайные мысли и чувства. С при-

творной простотой сказал отец и про осень. Я подошла к балконной двери и протерла стекло платком: в саду, на черном небе, ярко и остро сверкали чистые ледяные звезды. Отец курил, откинувшись в кресло, рассеянно глядя на висевшую над столом жаркую лампу, мама, в очках, старательно зашивала под ее светом маленький шелковый мешочек, — мы знали какой, — и это было и трогательно и жутко. Отец спросил:

— Так ты все-таки хочешь схать утром, а не после завтрака?

— Да, если позволите, утром, — ответил оп. — Очень грустно, но я еще не совсем распорядился по дому.

Отец легонько вздохнул:

— Ну, как хочешь, душа моя. Только в этом случае пам с мамой пора спать, мы непременно хотим проводить тебя завтра...

Мама встала и перекрестила своего будущего сына, оп склонился к ее руке, потом к руке отца. Оставшись один, мы еще немного побыли в столовой, — я вздумала раскладывать пасьянс, — он молча ходил из угла в угол, потом спросил:

— Хочешь пройдемся немного?

На душе у меня делалось все тяжелее, я безразлично отозвалась:

— Хорошо...

Одевался в прихожей, оп продолжал что-то думать, с милой усмешкой вспомнил стихи Фета:

Какая холодная осень!
Надень свою шаль и капот...

— Капота нет, — сказала я. — А как дальше?

— Не помню. Кажется, так:

Смотри — меж черпеющих сосен
Как будто пожар восстает...

— Какой пожар?

— Восход луны, конечно. Есть какая-то деревенская осенняя прелесть в этих стихах: «Надень свою шаль и капот...» Времена наших дедушек и бабушек... Ах, боже мой, боже мой!

— Что ты?

— Ничего, милый друг. Все-таки грустно. Грустно и хорошо. Я очень, очень люблю тебя...

Одевшись, мы прошли через столовую на балкон, сошли в сад. Сперва было так темно, что я держалась за его рукав. Потом стали обозначаться в светящемся небе черные сучья, осыпанные минерально блестящими звездами. Он, приостановясь, обернулся к дому:

— Посмотри, как совсем особенно, по-осеннему светят окна дома. Буду жив, вечно буду помнить этот вечер...

Я посмотрела, и он обнял меня в моей швейцарской накидке. Я отвела от лица пуховый платок, слегка отклонила голову, чтобы он поцеловал меня. Поцеловав, он посмотрел мне в лицо.

— Как блестят глаза,— сказал он.— Тебе не холодно? Воздух совсем зимний. Если меня убьют, ты все-таки не сразу забудешь меня?

Я подумала: «А вдруг правда убьют? и суежелы я все-таки забуду его в какой-то короткий срок — ведь все в конце концов забывается?» И поспешно ответила, испугавшись своей мысли:

— Не говори так! Я не переживу твоей смерти!

Он, помолчав, медленно выговорил:

— Ну что ж, если убьют, я буду ждать тебя там. Ты поживи, порадуйся на свете, потом приходи ко мне.

Я горько заплакала...

Утром он уехал. Мама надела ему на шею тот роковой мешочек, что зашивала вечером, — в нем был золотой образок, который носили на войне ее отец и дед, — и мы перекрестили его с каким-то порывистым отчаянием. Глядя ему вслед, постояли на крыльце в том оцепении, которое всегда бывает, когда проводишь кого-нибудь на долгую разлуку, чувствовал только удивительную несовместимость между нами и окружавшим нас радостным, солнечным, сверкающим изморозью на траве утром. Постояв, вошли в опустевший дом. Я пошла по комнатам, заложив руки за спину, не зная, что теперь делать с собой и зарыдать ли мне или запеть во весь голос...

Убили его — какое странное слово! — через месяц, в Галиции. И вот прошло с тех пор целых тридцать лет.

И многое, многое пережито было за эти годы, кажущиеся такими долгими, когда внимательно думаешь о них, перебираешь в памяти все то волшебное, непонятное, непостижимое ни умом, ни сердцем, что называется прошлым. Весной восемнадцатого года, когда ни отца, ни матери уже не было в живых, я жила в Москве, в подвале у торговки на Смоленском рынке, которая все издевалась надо мной: «Ну, ваше сиятельство, как ваши обстоятельства?» Я тоже занималась торговлей, продавала, как многие продавали тогда, солдатам в напаях и расстегнутых шинелях кое-что из оставшегося у меня, — то какое-нибудь колечко, то крестик, то меховой поротник, побитый молью, и вот тут, торгуя на углу Арбата и рынка, встретила человека редкой, прекрасной души, пожилого военного в отставке, за которого вскоре вышла замуж и с которым уехала в апреле в Екатеринодар. Ехали мы туда с ним и его племянником, мальчиком лет семнадцати, тоже пробиравшимся к dobroвольцам, чуть не две недели, — я бабой, в лаптях, он в истертом казачьем зипуне, с отпущенной черной с проседью бородой, — и пробыли на Дону и на Кубани больше двух лет. Зимой, в ураган, отплыли с несметной толпой прочих беженцев из Новороссийска в Турцию, и на пути, в море, муж мой умер в тифу. Близких у меня осталось после того на всем свете только трое: племянник мужа, его молоденькая жена и их девочка, ребенок семи месяцев. Но и племянник с женой уплыли через некоторое время в Крым, к Врангелю, оставив ребенка на моих руках. Там они и пропали без вести. А я еще долго жила в Константинополе, зарабатывая на себя и на девочку очень тяжелым черным трудом. Потом, как многие, где только не скиталась я с ней! Болгария, Сербия, Чехия, Бельгия, Париж, Ницца... Девочка давно выросла, осталась в Париже, стала совсем француженкой, очень миленькой и совершенно равнодушной ко мне, служила в шоколадном магазине возле Мадлен, холеными ручками с серебряными наготками завертывала коробки в атласную бумагу и завязывала их золотыми шнурочками; а я жила и все еще живу в Ницце чем бог пошлет... Была я в Ницце в первый раз в девятьсот двенадцатом году — и могла ли

думать и те счастливые дни, чем некогда станет она для меня!

Так и пережила я его смерть, опрометчиво сказав когда-то, что я не переживу ее. Но, вспоминая все то, что я пережила с тех пор, всегда спрашиваю себя: да, а что же все-таки было в моей жизни? И отвечаю себе: только тот холодный осенний вечер. Ужели он был когда-то? Все-таки был. И это все, что было в моей жизни — остальное пенужный сон. И я верю, горячо верю: где-то там он ждет меня — с той же любовью и молодостью, как в тот вечер. «Ты поживи, порадуйся на свете, потом приходи ко мне...» Я пожила, порадовалась, теперь уже скоро приду.

3 мая 1944

ПАРОХОД «САРАТОВ»

В сумерки прошумел за окнами короткий майский дождь. Рыбой денщик, пивший в кухне при свете жестяной лампочки чай, посмотрел на часы, стучавшие на стене, встал и неловко, стараясь не скрипеть новыми сапогами, прошел в темный кабинет, подошел к отоманке:

— Ваше благородие, десятый час...

Он испуганно открыл глаза:

— Что? Десятый? Не может быть...

Оба окна были открыты на улицу, глухую, всю в садах. — в окна пахло свежестью весенней сырости и тополями. Он с той остротой обоняния, что бывает после крепкого молодого сна, почувствовал эти запахи и бодро сбросил с отоманки ноги.

— Зажги огонь и ступай скорей за извозчиком. Найди какого порезвей...

И пошел переодеваться, мыться, облил голову холодной водой, смочил одеколоном и причесал короткие курчавые волосы, еще раз взглянул в зеркало: лицо было свежо, глаза блестели; с часу до шести он завтракал в большой офицерской компании, дома заснул тем мгновенным сном, каким засыпаешь после нескольких часов непрерывного питья, куренья, смеха и болтовни, однако чувствовал себя теперь отлично. Денщик подал в прихо-

жей шашку, фуражку и тонкую летнюю шинель, распахнул дверь на подъезд — он легко вскочил в пролетку и несколько хрипло крикнул:

— Валий живей! Целковый на водку!

Под густой маслянистой зеленью деревьев мелькал ясный блеск фонарей, запах мокрых тополей был и свеж и прян, лошадь неслась, высекала подковами красные искры. Все было прекрасно: и зелье, и фонари, и предстоящее свидание, и вкус папирсы, которую ухитрился закурить на лету. И все сливалось в одно: в счастливое чувство готовности на все что угодно. Водка, бенедиктин, турецкое кофе? Вздор, просто весна и все отлично...

Дверь отворила маленькая, очень порочная на вид горничная на тонких качающихся каблучках. Быстро скинув шинель и отстегнув шашку, бросив фуражку на подзеркальник и немного взбив волосы, пошел, позванивая шпорами, в небольшую, тесную от излишества будуарной мебели комнату. И тотчас вошла и она, тоже покачиваясь на каблучках туфель без задка, на босу ногу с розовыми платками, — длинная, волнистая, в узком и пестром, как серая змея, капоте с висящими, разрезанными до плеча рукавами. Длинные были и несколько раскосые глаза ее. В длинной бледной руке дымилась папирса в длинном литарном мундштуке.

Целуя ее левую руку, он щелкнул каблучками:

— Прости, ради бога, задержался не по своей вине...

Она посмотрела с высоты своего роста на мокрый глянец его коротких, мелко курчавых полос, на блестящие глаза, почувствовала его винный запах:

— Вина давно известен...

И села на шелковый пуф, взяв левой рукой под локоть правую, высоко держа поднятую папирсу, положив ногу на ногу и выше колена раскрыв боковой разрез капота. Он сел напротив на шелковое канапе, вытягивая из кармана брюк портсигар:

— Понимаешь, какая вышла история...

— Понимаю, понимаю...

Он быстро и ловко закурил, помахал горящей спичкой и бросил ее в пепельницу на восточном столике возле пуфа, усаживался поудобней и глядя с обычным неумеренным восхищением на ее голое колено в разрезе капота.

— Ну, прекрасно, не хочешь слушать, не надо... Программа нынешнего вечера: хочешь поехать в Купеческий сад? Там нынче какая-то «Японская ночь» — знаешь, эти фонарики, на эстраде гейши, «за красу я получила первый приз».

Она покачала головой.

— Никаких программ. Я нынче сижу дома.

— Как хочешь. И это не плохо.

Она повела глазами по комнате.

— Милый мой, это наше последнее свидание.

Он весело изумился:

— То есть как это последнее?

— А так.

У него еще веселее заиграли глаза.

— Позволь, позволь, это забавно!

— Я ничуть не забавляюсь.

— Прекрасно. Но все-таки интересно знать, что сей сон значит? Яка така удруг заковыка, как говорит наш вахмистр?

— Как говорят вахмистры, меня мало интересует. И я, по правде сказать, не совсем понимаю, чего ты веселишься.

— Веселюсь, как всегда, когда тебя вижу.

— Это очень мило, но на этот раз не совсем к стати.

— Однако, черт возьми, я все-таки ничего не понимаю! Что случилось?

— Случилось то, о чем я должна была сказать тебе уже давно. Я возвращаюсь к нему. Наш разрыв был ошибкой.

— Мамочки мои! Да ты это серьезно?

— Совершенно серьезно. Я была преступно виновата перед ним. Но он все готов простить, забыть.

— Ка-а-кое великодушие!

— Не паясничай. Я виделась с ним еще великим постом...

— То есть тайком от меня и продолжая...

— Что продолжая? Понимаю, но все равно... Я виделась с ним, — и, разумеется, тайком, не желая тебе причинить страдание, — и тогда же поняла, что никогда не переставала любить его.

Он сощурил глаза, жуя мундштук папиросы.

— То есть его деньги?

— Он не богаче тебя. И что мне ваши деньги! Если бы я захотела...

— Прости, так говорят только кокетки.

— А кто ж я, как не кокетка? Разве я на свои, а не на твои деньги живу?

Он пробормотал офицерской скороговоркой:

— При любви деньги не имеют значения.

— Но ведь я люблю его!

— А я, значит, был только временной игрушкой, забавой от скуки и одним из выгодных содержателей?

— Ты отлично знаешь, что далеко не забавой, не игрушкой. Ну да, я содержанка, и все-таки подло напоминать мне об этом.

— Легче на поворотах! Выбирайте хорошо ваши выражения, как говорят французы!

— Вам тоже советую держаться этого правила. Словом...

Он встал, почувствовал новый прилив той готовности па все, с которой мчался на извозчике, прошелся по комнате, собиравшись с мыслями, все еще не веря той нелепости, неожиданности, которая вдруг разбила все его радостные надежды на этот вечер, отшвырнул погой желтоволосую куклу в красном сарафане, валявшуюся па ковре, сел опять на канapé, в упор глядя на нее.

— Я еще раз спрашиваю: это все не шутки?

Она, закрыв глаза, помахала давно потухшей папирсой.

Он задумался, снова закурил и опять зажевал мундштук, раздельно говоря:

— И что же, ты думаешь, что я так вот и отдам ему вот эти твои руки, ноги, что он будет целовать вот это колено, которое еще вчера целовал я?

Она подняла брови.

— Я ведь все-таки не вещь, мой милый, которую можно отдавать или не отдавать. И по какому праву...

Он поспешно положил папирсу в пепельницу и, согнувшись, вынул из заднего кармана брюк скользкий, маленький, увесистый браунинг, на ладони покачал его:

— Вот мое право.

Она покосилась, сучно усмехнулась:

— Я не любительница мелодрам.— И бесстрастно повысила голос: — Соля, подайте Павлу Сергеевичу шинель.

— Что-о?

— Ничего. Вы пьяны. Уходите.

— Это ваше последнее слово?

— Последнее.

И поднялась, оправляя разрез на поге. Он шагнул к ней с радостной решительностью.

— Смотрите, как бы и впрямь не стало оно вашим последним!

— Пьяный актер,— сказала она брезгливо и, поправляя сзади волосы длинными пальцами, пошла из комнаты. Он так крепко схватил ее за обнажившееся предплечье, что она изогнулась и, быстро обернувшись с еще больше раскосившимися глазами, замахнулась на него. Он, ловко уклонившись, с едкой гримасой выстрелил.

В декабре того же года пароход Добровольного флота «Саратов» шел в Индийском океане на Владивосток. Под горячим тентом, натянута на баке, в неподвижном зное, в горячем полусвете, в блеске зеркальных отражений от воды, сидели и лежали на палубе до пояса голые арестанты с наполовину выбритыми, страшными головами, в штанах из белой парусины, с кольцами кандалов на щиколках босых ног. Как все, до пояса гол был и он худым, коричневым от загара телом. Темнела и у него только половина головы коротко остриженными волосами, красно чернели жестким волосом давно не бритые худые щеки, лихорадочно сверкали глаза. Облокотясь на поручни, он пристально смотрел на горбами летящую глубоко внизу, вдоль высокой степи борта, густо-синюю волну и от времени до времени поплевывал туда.

16 мая 1944

ВОРОН

Отец мой похож был на ворона. Мне пришло это в голову, когда я был еще мальчиком: увидел однажды в «Ниве» картинку, какую-то скалу и на ней Наполеона с его белым брюшком и лосинами, в черных коротких сапожках, и вдруг засмеялся от радости, вспомнив картинки в «Полярных путешествиях» Богданова, — так похож показался мне Наполеон на пингвина, — а потом грустно подумал: а папа похож на ворона...

Отец занимал в нашем губернском городе очень видный служебный пост, и это еще более испортило его; думаю, что даже в том чиновном обществе, к которому принадлежал он, не было человека более тяжелого, более угрюмого, молчаливого, холодно-жестокоего в медлительных словах и поступках. Невысокий, плотный, темного сутулый, грубо-черноволосый, темный длинным бритым лицом, большеносый, был он и впрямь совершенный ворон — особенно когда бывал в черном фраке на благотворительных вечерах нашей губернаторши, сутуло и крепко стоял возле какого-нибудь киоска в виде русской избушки, поводил своей большой вороньей головой, косясь блестящими вороньими глазами на танцующих, на подходящих к киоску, да и на ту боярыню, которая с

чарующей улыбкой подавала из киоска плоские фужеры желтого дешевого шампанского крупной рукой в бриллиантах, — рослую даму в парче и кокошнике, с носом настолько розово-белым от пудры, что он казался искусственным. Был отец давно вдов, нас, детей, было у него лишь двое, — я да маленькая сестра моя Лилия, — и холодно, пусто блистала своими огромными, зеркально-чистыми комнатами наша просторная казенная квартира во втором этаже одного из казенных домов, выходивших фасадами на бульвар в тополях между собором и главной улицей. К счастью, я больше полугода жила в Москве, учился в Катковском лицее, приезжал домой лишь на Святки и летние каникулы. В том году встретило меня, однако, дома нечто совсем неожиданное.

Весной того года я кончил лицей и, приехав из Москвы, просто поражен был: точно солнце засияло вдруг в нашей прежде столь мертвой квартире, — всю ее озарило присутствие той юной, легконогой, что только что сменила пляшку восьмилетней Лили, длинную, плоскую старуху, похожую на средневековую деревянную статую какой-нибудь святой. Бедная девушка, дочь одного из мелких подчиненных отца, была она в те дни бесконечно счастлива тем, что так хорошо устроилась тотчас после гимназии, а потом и моим приездом, появлением в доме сверстника. Но уж до чего была пуглива, как робела при отце за нашими чинными обедами, каждую минуту с тревогой следя за черноглазой, тоже молчаливой, но резкой не только в каждом своем движении, но даже и в молчаливости Лилей, будто постоянно ждавшей чего-то и все как-то вызывающе вертевшей своей черной головкой! Отец за обедами неузнаваемо стал: не кидал тяжких взглядов на старика Гурия, в вязаных перчатках подносящего ему кушанья, то и дело что-нибудь говорил, — медленно, но говорил, — обращаясь, конечно, только к ней, церемонно называя ее по имени-отчеству, — «любезная Елена Николаевна», — даже пытался шутить, усмехаться. А она так смущалась, что отвечала лишь жалкой улыбкой, пятнисто адела тонким и нежным лицом — лицом худенькой белокурой девушки в легкой белой блузке с темными от горячего юного пота подмышками, под которой едва означались малюпкие груди. На меня она за

обедом и глаз поднять не смела: тут я был для нее еще страшнее отца. Но чем больше старалась она не видеть меня, тем холоднее косился отец в мою сторону: не только он, но и я понимал, чувствовал, что за этим мучительным старанием не видеть меня, а слушать отца и следить за злой, непоседливой, хотя и молчаливой Лилей, скрыт был совсем иной страх, — радостный страх нашего общего счастья быть возле друг друга. По вечерам отец всегда пил чай среди своих занятий, и прежде ему подавали его большую чашку с золотыми краями на письменный стол в кабинете; теперь он пил чай с нами, в столовой, и за самоваром сидела она — Лилия в этот час уже спала. Она выходил из кабинета в длинной и широкой тужурке на красной подкладке, усаживался в свое кресло и протягивал ей свою чашку. Она наливала ее до краев, как он любил, передавала ему дрожащей рукой, наливала мне и себе и, опустив ресницы, занималась каким-нибудь рукоделием, а он не спеша говорил — нечто очень странное:

— Белокурый, любезная Елена Николаевна, идет или черное, или пунсовое... Вот бы весьма шло к вашему лицу платье черного атласа с зубчатым, стоячим воротом а-ля Мария Стюарт, унизанным мелкими бриллиантами... или средневековое платье пунсового бархату с небольшим декольте и рубиновым крестиком... Шубка темно-синего липовского бархату и велленианский берет тоже пошли бы к вам... Все это, конечно, мечты, — говорил он, усмехаясь. — Ваш отец получает у нас всего семьдесят пять рублей месячных, а детей у него, кроме вас, еще пять человек, мал мала меньше, — значит, вам скорей всего придется всю жизнь прожить в бедности. Но и то сказать: какая же беда в мечтах? Они оживляют, дают силы, надежды. А потом, разве не бывает так, что некоторые мечты вдруг сбываются?.. Редко, разумеется, весьма редко, а сбываются... Ведь вот выиграл же недавно по выигрышному билету повар на вокзале в Курске двести тысяч, — простой повар!

Она пыталась делать вид, что принимает все это за милые шутки, заставляла себя взглядывать на него, улыбаться, а я, будто и не слыша ничего, раскладывала пасы-

лис «Наполеон». Он же пошел однажды еще дальше, — вдруг молвил, кивнув в мою сторону:

— Вот этот молодой человек тоже, верно, мечтает: мол, померет в некий срок папенька и будут у него куры не клевать золота! А куры-то и впрямь не будут клевать, потому что клевать будет нечего. У папеньки, разумеется, кое-что есть, — например, именьке в тысячу десятин черпозему в Самарской губернии, — только павряд оно сып-ку достанется, не очень-то он папеньку своей любовью жалует, и, пасколько понимаю, выйдет из него мот первой степени...

Был этот последний разговор вечером под Петров день, — очень мне памятный. Утром того дня отец уехал в собор, из собора — на завтрак к имениннику-губернатору. Он и без того никогда не завтракал в будни дома, так что и в тот день мы завтракали втроем, и под конец завтрака Лиля, когда подали вместо ее любимых хворостиков вишневый кисель, стала провозительно кричать на Гурня, стуча кулачками по столу, сошвырнула на пол тарелку, затрясла головой, захлебнулась от злых рыданий. Мы кое-как дотащили ее в ее комнату, — она брыкалась, кусала нам руки, — умолили ее успокоиться, паобещали жестоко наказать повара, и она стихла наконец и заснула. Сколько трепетной нежности было для нас даже в этом — в совместных усилиях тащить ее, то и дело касаясь рук друг друга! На дворе шумел дождь, в темнеющих комнатах сверкала иногда молния и содрогались стекла от грома.

— Это на нее так гроза действовала, — радостно сказала она шепотом, когда мы вышли в коридор, и вдруг насторожилась: — О, где-то пожар!

Мы пробежали в столовую, распахнули окно — мимо нас, вдоль бульвара, с грохотом неслась пожарная команда. На тополи лился быстрый ливень, — гроза уже прошла, точно он потушил ее, — в грохоте длинных несущихся дрог с медными касками стоящих на них пожарных, со шлангами и лестницами, в звоне поддужных колокольцов над гривами черных битюгов, с треском подков мчавших галопом эти дроги по булыжной мостовой, нежно, бесовски-игриво, предостерегающе шел рожок гор-

ниста... Потом часто, часто забил набат на колокольне Ивана Воина на Лавах... Мы рядом, близко друг к другу, стояли у окна, в которое свежо пахло водой и городской мокрой пылью, и, казалось, только смотрели и слушали с пристальным волнением. Потом мелькнули последние дроги с каким-то громадным красным баком на них, сердце у меня забилося сильнее, лоб стаяло — я взяла ее безжизненно висевшую вдоль бедра руку, умоляюще глядя ей в щеку, и она стала бледнеть, приоткрыла губы, подышала вздохом грудь и тоже как бы умоляюще повернула ко мне светлые, полные слез глаза, а я схватил ее плечо и впервые в жизни сомел в нежном холоде девичьих губ... Не было после того ни единого дня без наших ежечасных, будто бы случайных встреч то в гостиной, то в зале, то в коридоре, даже в кабинете отца, приезжавшего домой только к вечеру, — этих коротких встреч и отчаянно-долгих, ненасытных и уже нестерпимых в своей неразрешимости поцелуев. И отец, что-то чуя, опять перестал выходить к вечернему чаю в столовую, стал опять молчалив и угрюм. Но мы уже не обращали на него внимания, и она стала спокойнее и серьезнее за обедами.

В начале июля Лилия заболела, объевшись малиной, лежала, медленно поправляясь, в своей комнате и все рисовала цветными карандашами на больших листах бумаги, припinnedных к доске, какие-то сказочные города, а она поневоле не отходила от ее кровати, сидела и вышивала себе малороссийскую рубашечку, — отойти было нельзя: Лилия поминутно что-нибудь требовала. А я погибал в пустом, тихом доме от непрерывного, мучительного желания видеть, целовать и прижимать к себе ее, сидел в кабинете отца, что попало беря из его библиотечных шкапов и силясь читать. Так сидел я и в тот раз, уже перед вечером. И вот вдруг послышались ее легкие и быстрые шаги. Я бросил книгу и вскочил:

— Что, заснула?

Она махнула рукой.

— Ах, нет! Ты не знаешь — она может по двое суток не спать, и ей все ничего, как всем сумасшедшим!

Прогнала меня искать у отца какие-то желтые и орапжевые карандаши...

И, заплакав, подошла и уронила мне на грудь голову:

— Боже мой, когда ж это кончится! Скажи же наконец ему, что ты любишь меня, что все равно ничто в мире не разлучит нас!

И, подняв мокрое от слез лицо, порывисто обняла меня, задохнулась в поцелуе. Я прижал ее всю к себе, потянул к дивану, — мог ли я что-нибудь соображать, помнить в ту минуту? Но на пороге кабинета уже слышалось легкое покашливание. Я взглянул через ее плечо — отец стоял и глядел на нас. Потом повернулся и, горбясь, удалился.

К обеду никто из нас не вышел. Вечером ко мне постучался Гурний: «Папаша просит вас пожаловать к ним». Я пошел в кабинет. Он сидел в кресле перед письменным столом и, не оборачиваясь, стал говорить:

— Завтра ты на все лето уедешь в мою самарскую деревню. Осенью ступай в Москву или Петербург искать себе службу. Если осмелишься ослушаться, навек лишу тебя наследства. Но мало того: завтра же попрошу губернатора немедленно выслать тебя в деревню по этапу. Теперь ступай и больше на глаза мне не показывайся. Деньги на проезд и некоторые карманные получишь завтра утром через человека. К осени напишу в деревенскую контору мою, дабы тебе выдали некоторую сумму на первое прожитие в столицах. Видеть ее до отъезда никак не надеюсь. Все, любезный мой. Иди.

В ту же ночь я уехал в Ярославскую губернию, в деревню к одному из моих лицейских товарищей, прожил у него до осени. Осенью, по протекции его отца, поступил в Петербург в министерство иностранных дел и написал отцу, что повсегда отказываюсь не только от его наследства, но и от всякой помощи. Зимой узнал, что он, оставив службу, тоже пересел в Петербург — «с престелстной молоденькой женой», как сказали мне. И, входя однажды вечером в партер в Мариинском театре за несколько минут до поднятия завесы, вдруг увидел и его и ее. Они сидели в ложе возле сцены, у самого барьера,

на котором лежал маленький перламутровый бинокль. Он, во фраке, сутулся, вороном, внимательно читал, прищурив один глаз, программу. Она, держась легко и стройно, в высокой прическе белокурых волос, оживленно озиралась кругом — на теплый, сверкающий люстрами, мягко шумящий, наполняющийся партер, на вечерние платья, фраки и мундиры входящих в ложу. На шейке у нее темным огнем сверкал рубиновый крестик, тонкие, но уже округлившиеся руки были обнажены, род пеплума из пунцового бархата был схвачен на левом плече рубиновым аграфом...

18 мая 1944

КАМАРГ

Она вошла на маленькой станции между Марселем и Арлем, прошла по вагону, извиваясь всем своим цыганско-испанским телом, села у окна на одноступенчатую скамью и, будто никого не видя, стала шелушить и грызть жареные фисташки, от времени до времени поднимая подол верхней черной юбки и запуская руку в карман пижамы, зашпорованной белой. Вагон, полный простым пародом, состоял не из купе, разделен был только скамьями, и многие, сидевшие лицом к ней, то и дело пристально смотрели на нее.

Губы ее, двигавшиеся над белыми зубами, были сплы, сипеватый пушок на верхней губе сгустился над углами рта. Тонкое, смугло-темное лицо, озаряемое блеском зубов, было древнее-дико. Глаза, длинные, золотисто-карие, полуприкрытые смугло-коричневыми веками, глядели как-то внутрь себя — с тусклой первобытной истомой. Из-под жесткого шелка смольных волос, разделенных на прямой пробор и выюдылись локонами падавших на низкий лоб, поблескивали вдоль круглой шейки длинные серебряные серьги. Выцветший голубой платок, лежавший на покатых плечах, был красиво завязан на груди. Руки, сухие, индусские, с мумийными пальцами и более светлыми ногтями, все шелушили и шелушили фисташки с обезьяньей

быстротой и ловкостью. Кончив их и стряхнув шелуху с колен, она прикрыла глаза, положила ногу на ногу и откинулась к спинке скамьи. Под сборчатой черной юбкой, особенно женственно выделявшей перехват ее гибкой талии, кострецы выступали твердыми бугорками плавных очертаний. Худая, голая, блестящая тонкой загорелой кожей ступня была обута в черный трипичный чувак и переплетена разноцветными лентами, — синими и красными...

Под Арлем она вышла.

— C'est une samargulaise ¹, — почему-то очень грустно сказал, проводив ее глазами, мой сосед, мощный, как бык, провансалец, с черным в кровяных жилках румянцем.

23 мая 1944

¹ Это — камаргуанка (франц.).

СТО РУПИЙ

Я увидел ее однажды утром во дворе той гостиницы, того старинного голландского дома в кокосовых лесах на берегу океана, где я проживал в те дни. И потом видел ее там каждое утро. Она полулежала в камышовом кресле, в легкой, жаркой тени, падавшей от дома, в двух шагах от пераиды. Высокий, желтолицый, мучительно узкоглазый малаец, одетый в белую парусиновую куртку и такие же панталоны, приносил ей, шурша босыми ногами по гравию, и ставил на столик возле кресла поднос с чашкой золотого чая, что-то почтительно говорил ей, не шевеля сухими, стянутыми в дыру губами, кланялся и удалялся; а она полулежала и медленно помахивала соломенным веером, мерно мерцая черным бархатом своих удивительных ресниц... К какому роду земных созданий можно было отнести ее?

Ее тропически крепкое тело, его кофейная пагота была открыта на груди, на плечах, на руках и на ногах до колен, а стан и бедра как-то повиты яркой зеленой тканью. Маленькие ступни с красными ногтями пальцев выглядывали между красными ремнями лакированных сандалий желтого дерева. Дегтярные волосы, высоко подплетые прической, странно не соответствовали своей грубостью нежности ее детского лица. В мочках малюпких

ушей покачивались золотые дутые кольца. И неправдоподобно огромны и великолепны были черные ресницы — подобие тех райских бабочек, что так волшебни мерцают на райских индийских цветах... Красота, ум, глупость — все эти слова никак не шли к ней, как не шло все человеческое: поистине, была она как бы с какой-то другой планеты. Единственное, что шло к ней, была бессловесность. И она полулежала и молчала, мерно мерцая черным бархатом своих ресниц-бабочек, медленно помахивая веером...

Раз утром, когда во двор гостиницы вбежал рикша, на котором я обычно ездил в город, малаец встретил меня на ступеньках веранды и, поклонившись, тихо сказал по-английски:

— Сто рупий, сэр.

24 мая 1944

МЕСТЬ

В пансионе в Каиннах, куда я приехал в конце августа с намерением купаться в море и писать с натуры, эта странная женщина пила по утрам кофе и обедала за отдельным столиком с неизменно сосредоточенным, мрачным видом, точно никого и ничего не видя, а после кофе куда-то уходила почти до вечера. Я жил в пансионе уже с неделю и все еще с интересом посматривал на нее: черные густые волосы, крупная черная коса, обвивающая голову, сильное тело в красном с черными цветами платье из кретона, красивое, грубоватое лицо — и этот мрачный взгляд... Подавала нам эльзаска, девочка лет пятнадцати, но с большими грудями и широким задом, очень полная удивительно нежной и свежей полнотой, на редкость глупая и милая, на каждое слово расцветавшая испугом и улыбкой, и вот, встретив ее однажды в коридоре, я спросил:

— Dites, Odette, qui est cette dame?

Она, с готовностью и к испугу и к улыбке, вскинула на меня маслянисто-голубые глаза:

— Quelle dame, monsieur?

— Mais la dame brune, là-bas?

— Quelle table, monsieur?

— Numéro dix.

— C'est une russe, monsieur.

- Et puis?
- Je n'en sais rien, monsieur.
- Est-elle chez vous depuis longtemps?
- Depuis trois semaines, monsieur.
- Toujours seule?
- Non, monsieur. Il y avait un monsieur...
- Jeune, sportif?
- Non, monsieur. Très pensif nerveux...
- Et il a disparu un jour?
- Mais oui, monsieur...¹

«Так, так! — подумал я. — Теперь кое-что понятно. Но куда это исчезает она по утрам? Все его ищет?»

На другой день, вскоре после кофе, я, как всегда, услышал в открытое окно своей комнаты хруст гальки в садике пансиона, выглянул: она, с раскрытой, как всегда, головой, под зонтиком того же цвета, что и платье, куда-то уходила скорым шагом в красных эспадрильях. Я схватил трость, капотье и поспешил за ней. Она из нашего переулочка повернула на бульвар Карно, — я тоже повернул, надеясь, что она в своей постылиной сосредоточенности не обернется и не почувствует меня. И точно — она ни разу не обернулась до самого вокзала. Не обернулась и на вокзале, входя в купе третьеклассного вагона. Поезд шел в Тулон, я на всякий случай взял билет до Сен-Рафаэля, поднялся в соседнее купе. Ехала она, очевидно, недалеко, но куда? Я высовывался в окно в Нануле, в Тэуле... Наконец, высунувшись на минутной остановке в Трайясе, увидел, что она идет уже к выходу со станции. Я выскочил из вагона и опять пошел за ней, держась, однако, в некотором отдалении. Тут пришлось идти долго — и по извивам шоссе вдоль обрывов над морем, и по крутым каменистым тропинкам сквозь мелкий сосновый лес, по которым она сокращала путь к берегу, к заливам, изрезывающим бе-

¹ — Скажите, Одетт, кто эта дама? — Какая дама, сударь? — Дама бриюетка, там? — Какой стол, сударь? — Помер десять. — Это русская, сударь. — Ну, и... — Я ничего не знаю. — Она у нас давно? — Три недели, сударь. — Всегда одна? — Нет, сударь. Был один господин... — Молодой, спортивного вида? — Нет, сударь. Очень задумчивый, первый. — И в один прекрасный день он исчез? — Да, сударь (*франц.*).

рег и этой скалистой, покрытой лесом и пустынной местности, этот скат прибрежных гор. Ближился полдень, было жарко, воздух неподвижен и густ от запаха горючей хвои, нигде ни души, ни звука, — только пилили, скрежетали цакады, — открытое к югу море сверкало, прыгало крупными серебряными звездами... Наконец она сбегала по тропинке к зеленому заливику между сапвиновыми утесами, бросила зоптик на песок, быстро разулась, — была на босу ногу, — и стала раздеваться. Я лег на каменный отвес, под которым она расстегивала свое мрачно-цветистое платье, глядел и думал, что, верно, и купальный костюм у нее такой же злоедающий. Но никакого костюма под платьем не оказалось, — была одна короткая розовая сорочка. Скинув и сорочку, она, вся коричневая от загара, сильная, крепкая, пошла по голышам к светлой, прозрачной воде, напрыгав красивые щиколки, подергивая крутыми половинками зада, блестя загаром бедер. У воды она постояла, — должно быть, щурясь от ее ослепительности, — потом зашумела в ней ногами, присела, окунулась до плеч и, повернувшись, легла на живот, потянулась, раскинув ноги, к песчаному прибрежью, положила на него локти и черную голову. Вдали широко и свободно тренетала колючим серебром равнина моря, замкнутый заливчик и весь его скалистый уют все жарче пекло солнце, и такая тишина стояла в этой знойной пустыне скал и мелкого южного леса, что слышно было, как иногда набегала на тело, пичком лежащее под мной, и сбегала с его сверкающей спины, раздвоенного зада и крупных раздвинутых ног сеть мелкой стеклянной зыби. Я, лежа и выглядывая из-за камней, все больше тревожился видом этой великолепной наготы, все больше забывал нелепость и дерзость своего поступка, приподнялся, закуривая от волнения трубку, — и вдруг она тоже подняла голову и вопросительно уставилась на меня снизу вверх, продолжая, однако, лежать, как лежала. Я встал, не зная, что делать, что сказать. Она заговорила первая:

— Я всю дорогу слышала, что сзади меня кто-то идет. Почему вы поехали за мной?

Я решил ответить без обиняков:

— Простите, из любопытства..

Она перебила меня:

— Да, вы, очевидно, любознательны. Odette мне сказала, что вы расспрашивали ее обо мне, я случайно слышала, что вы русский, и потому не удивилась — все русские не в меру любознательны. Но почему все-таки вы поехали за мной?

— В силу все той же любознательности, — в частности, и профессиональной.

— Да, знаю, вы живописец.

— Да, а вы живописцы. Кроме того, вы каждый день куда-то уходили по утрам, и это меня интриговало, — куда, зачем? — пропускали завтраки, что не часто случается с жильцами пансионов, да и вид у вас был всегда не совсем обычный, на чем-то сосредоточенный. Держитесь вы одиноко, молчаливо, что-то как будто таете в себе... Ну, а почему я не ушел, как только вы стали раздеваться...

— Ну, это-то понятно, — сказала она.

И, помолчав, прибавила:

— Я сейчас выйду. Отвернитесь на минуту и потом идите сюда. Вы меня тоже заинтересовали.

— Ни за что не отвернусь, — ответил я. — Я художник, и мы не дети.

Она положила плечом:

— Ну, хорошо, мне все равно...

И встала во весь рост, показывая всю себя спереди по всей своей женской силе, не спеша пробралась по галке, накинула на голову свою розовую сорочку, потом открыла в ней свое серьезное лицо, опустила ее на мокрое тело. Я сбегал к ней, и мы сели рядом.

— Кроме трубки, у вас есть, может быть, и папиросы? — спросила она.

— Есть.

— Дайте мне.

Я дал, зажег спичку.

— Спасибо.

И, затягиваясь, она стала глядеть вдаль, пошевеливая пальцами ноги, не оборачиваясь; прощически сказала вдруг:

— Так я еще могу нравиться?

— Еще бы! — воскликнул я. — Прекрасное тело, чу-

десные волосы, глаза... Только очень уж недоброе выражение лица.

— Это потому, что я, правда, занята одной злой мыслью.

— Я так и думал. Вы с кем-то недавно расстались, кто-то нас оставил...

— Не оставил, а бросил. Сбежал от меня. Я знала, что он пропащий человек, но я его как-то любила. Оказалось, что любила просто негодя. Встретилась я с ним месяца полтора тому назад в Монте-Карло. Играла в тот вечер в казино. Он стоял рядом, тоже играл, следил сумасшедшими глазами за шариком и все выигрывал, выигрывал раз, два, три, четыре... Я тоже все выигрывала, он это видел и вдруг сказал: «Шабаш! Assez!» — и повернулся ко мне: «N'est-ce pas, madame?»¹ Я, смелея, ответила: «Да, шабаш!» — «Ах, вы русская?» — «Как видите». — «Тогда идем кутить!» Я посмотрела — очень потрепанный, но изысканный с виду человек... Остальное нетрудно угадать.

— Да, нетрудно. Почувствовали себя за ужином близкими, говорили без конца, удивились, когда настал час расставаться...

— Совершенно верно. И не расстались и начали проматывать выигрышное. Жили в Монте-Карло, в Тюрби, в Ницце, завтракали и обедали в кабаках на дороге между Каппами и Ниццей, — вы, верно, знаете, что это стоит! — жили одно время даже в отеле на Cap d'Antibes, притворяясь богатыми людьми... А денег оставалось все меньше, поездки в Монте-Карло на последние гроши кончались крахом... Он стал куда-то исчезать и возвращаться опять с деньгами, хотя привозил пустяки — франков сто, пятьдесят... Потом где-то продал мои серьги, обручальное кольцо, — я была когда-то замужем, — золотой пательный крест...

— И, конечно, уверял, что вот-вот откуда-то получит какой-то большой долг, что у него есть знатные и состоятельные друзья и знакомые.

— Да, именно так. Кто он, я точно и теперь не знаю, он избегал говорить подробно и ясно о своей прошлой

¹ Хватит!.. Не так ли, мадам? (франц.)

жизни, и я как-то невнимательно относилась к этому. Ну, обычное прошлое многих эмигрантов: Петербург, служба в блестящем полку, потом война, революция, Константинополь... В Париже, благодаря прежним связям, будто бы устраивался и всегда может устроиться очень недурно, а пока — Монте-Карло или же постоянная возможность, как он говорил, перехватить в Ницце у каких-то титулованных друзей... Я уже падала духом, приходила в отчаяние, но он только усмехался: «Будь спокойна, положишься на меня, я уже сделал некоторые серьезные демарши в Париже, а какие именно, это, как говорится, не женского ума дело...»

— Так, так...

— Что так?

И она вдруг обернулась ко мне, сверкнув глазами, далеко швырнув потухшую папиросу.

— Вас все это потешает?

Я схватил и сжал ее руку.

— Как вам не стыдно! Вот напишу вас Медузой или Немезидой!

— Это богиня мести?

— Да, и очень злая.

Она печально усмехнулась.

— Немезида! Уж какал там Немезида! Нет, вы хороший... Дайте еще папиросу. Выучил курить... Всему выучил!

И, закурив, опять стала смотреть вдаль.

— Я забыл вам сказать еще то, как я был удивлен, когда увидел, куда вы едите купаться, — целое путешествие каждый день и с какою целью? Теперь понимаю: ищете одиночества.

— Да...

Солнечный жар тек все гуще, цикады на горючих, нахучих соснах пилили, скрежетали все настойчивее, яростней, — я чувствовал, как должны быть накалены ее черные волосы, открытые плечи, ноги, и сказал:

— Перейдем в тень, уж очень жжет, и расскажите мне вашу печальную историю.

Она очнулась.

— Перейдем...

И мы обошли полукруг залива и сели в светлой и

впойпой тени под красными утесами. Я опять взял ее руку и оставил в своей. Она не заметила этого.

— Что ж тут досказывать? — сказала она. — Мне уж как-то расхотелось вспоминать всю эту действительно очень печальную и постыдную историю. Вы, вероятно, думаете, что я привычная содержанка то одного, то другого мошенника. Ничего подобного. Прошрое мое тоже самое обыкновенное. Муж был в Добровольческой армии, сперва у Деникина, потом у Врангеля, а когда мы докатились до Парижа, стал, конечно, шофером, но начал спиваться и спился до того, что потерял работу и превратился в пастоящего босика. Продолжать жить с ним я уже никак не могла. Видела его последний раз на Монпарнасе, у дверей «Доминика», — знаете, конечно, этот русский кабачок? Ночь, дождь, а он в озорках, топчется в лужах, подбегает, согнувшись, к прохожим, протягивает руку за подачкой, пеловко помогает, лучше сказать, мешает вылезать из такси подъезжающим... Я постояла, посмотрела на него, подошла к нему. Узнал, испугался, сконфузился, — вы не можете представить, какой это прекрасный, добрый, деликатный человек! — стоит, растерянно смотрит на меня: «Маша, ты?» Маленький, оборванный, псбритый, весь зарос рыжей щетиной, мокрый, дрожит от холода... Я дала ему все, что было у меня в сумочке, он схватил мою руку мокрой, ледяной ручкой, стал целовать ее и трястись от слез. Но что же я могла сделать? Только посылать ему раза два, три в месяц по сто, по двести франков, — у меня в Париже шляпная мастерская, и я довольно прилично зарабатываю. А сюда я приехала отдохнуть, покататься — и вот... На днях уеду в Париж. Встретиться с ним, дать ему пощечину и тому подобное — очень глупая мечта, и знаете, когда я попила это уж как следует? Вот только сейчас, благодаря вам. Стала рассказывать и попила...

— Но все-таки как же он сбежал?

— Ах, в том-то и дело, что уж очень подло. Поселились мы в этом самом папсмончике, где мы с вами оказались соседями, — это после отеля-то на Cap d'Antibes! — и пошли однажды вечером, всего дней десять тому назад, пить чай в казино. Ну, конечно, музыка, несколько танцующих пар, — я уж больше просто видеть не могла без

отвращения всего этого, нагляделась достаточно! — Однако сижу, ем пирожные, которые он заказывает для меня и для себя и все как-то странно смеется, — посмотри, посмотри, говорит про музыкантов, настоящие обезьяны, как топают и кривляются! Потом открывает пустой портсигар, зовет шассера, приказывает ему принести английских папирос, тот приносит, он рассеянно говорит мерси, я вам заплачу после чая, глядит на свои ногти и обращается ко мне: «Ужас какие руки! Пойду повою...» Встает и уходит...

— И больше не возвращается.

— Да. А я сижу и жду. Жду десять минут, двадцать, полчаса, час... Представляете вы это себе?

— Представляю...

Я очень ясно представил себе: сидят за чайным столиком, смотрят, молчат, по-разному думают о своем мерзком положении... За стеклами больших окон вечеряющее небо и глянец, штиль моря, висят темпеющие ветви пальм, музыканты, как неживые, топают ногами в пол, дуют в инструменты, бьют в металлические тарелки, мужчины, шаркая и качаясь в лад им, напиваются на своих дам, будто таща их к явно определенной цели... Малыш в крагах и в некотором подобии зеленого мундира подает ему, почтительно сляв картуз, пачку «High-Life»...

— Ну и что же? Вы сидите...

— Я сижу и чувствую, что погибаю. Музыканты ушли, зал опустел, зажегся электрический свет...

— Посинели окна...

— Да, а я все не могу подняться с места: что делать, как спастись? В сумочке у меня всего шесть франков и какая-то мелочь!

— А он действительно пошел в уборную, сделал там что нужно, думая о своей мошеннической жизни, потом застегнулся и на цыпочках пробежал по коридорам к другому выходу, выскочил на улицу... Побойтесь бога, подумайте, кого вы любили! Искать его, мстить ему? За что? Вы не девочка, должны были видеть, кто он и в какое положение вы попали. Почему же продолжали эту ужасную во всех смыслах жизнь?

Она помолчала, повела плечом:

— Кого я любила? не знаю. Была, как говорится,

потребность любви, которой я по-настоящему никогда не испытала... Как мужчина, он мне ничего не давал и не мог дать, уже давно потерял мужские способности... Должна была видеть, кто он и в какое положение попал? Конечно, должна, да не хотелось видеть, думать — в первый раз в жизни жила такой жизнью, этим порочным праздником, всеми его удовольствиями, жила в каком-то наваждении. Зачем хотела где-то встретить его и как-то отомстить ему? Опять наваждение, навязчивая идея. Разве я не чувствовала, что, кроме гадкого и жалкого скандала, я ничего не могла сделать? Но вы говорите: за что? А вот за то, что это все-таки благодаря ему я так низко пала, жила этой мошеннической жизнью, а главное, за тот ужас, позор, который я пережила в тот вечер в казино, когда он сбежал из клозета! Когда я, вне себя, что-то лгала в кассе казино, вывертывалась, умоляла взять у меня в залог до завтра сумочку — и когда ее не взяли и презрительно простили мне и чай, и пирожки, и английские папиросы! Послала телеграмму в Париж, получила на третий день тысячу франков, пошла в казино — там, не глядя на меня, взяли деньги, даже счетик дали... Ах, милый, никакая я не Медуза, я просто баба и к тому же очень чувствительная, одинокая, несчастная, но поймите же меня — ведь и у курицы есть сердце! Я просто больна была все эти дни с того проклятого вечера. И просто сам бог послал мне вас, я как-то вдруг пришла в себя... Пустите мою руку, пора одеваться, скоро поезд из Сеп-Рафаэля...

— Бог с ним, — сказал я. — Посмотрите лучше кругом, на эти красные скалы, зеленый заливчик, корявые сосны, послушайте этот райский скрежет... Ездить сюда мы теперь будем уж вместе. Правда?

— Правда.

— Вместе и в Париж уедем.

— Да.

— А что дальше, не стоит загадывать.

— Да, да.

— Можно поцеловать руку?

— Можно, можно...

3 июня 1944

КАЧЕЛИ

В летний вечер сидел в гостиной, бренча на фортепиано, услышал на балконе ее шаги, дико ударил по клавишам и не в лад закричал, зашел:

Не завидую богам,
Не завидую царям,
Как увижу очи темны,
Стройный стан и косы темны!

Вошла в синем сарафане, с двумя длинными темными косами на спине, в коралловом ожерелье, усмехаясь синими глазами на загорелом лице:

— Это все про меня? И ария собственной композиции?

— Да!

И опять ударил и закричал:

Не завидую богам...

— Ну и слух же у вас!

— Зато я знаменитый живописец. И красив, как Леонид Андреев. На беду вашу заехал я к вам!

— Он пугает, а мне не страшно, сказал Толстой про нашего Андреева.

— Посмотрим, посмотрим!

— А дедушкин костыль?

— Дедушка хоть и севастопольский герой, только с виду грозен. Убежим, повенчаемся, потом кинемся ему в ноги — заплачет и простит...

В сумерки, перед ужинком, когда в поварской жарили пахучие битки с луком и в росистом парке свежело, помылись, стоя друг против друга, на качелях в конце аллеи, вьезжа кольцами, дуя ветром, развевавшим ее подол. Он, натягивая веревки и поддавая пзмах доски, делал страшные глаза, она, раскрасневшись, смотрела пристально, бессмысленно и радостно.

— Лу! А вон первая звезда и молодой месяц и небо над озером зелено-зеленое — живописец, посмотрите, какой тонкий серпик! Месяц, месяц, золотые рога... Ой, мы сорвемся!

Слетев с высоты и соскочив на землю, сели на доску, сдерживая взволнованное дыхание и глядя друг на друга.

— Ну что? Я говорил!

— Что говорил?

— Вы уже влюблены в меня.

— Может быть... Постоите, зовут к ужину... Лу, идем, идем!

— Погодите минутку. Первая звезда, молодой месяц, зеленое небо, запах росы, запах из кухни, — верно, опять мои любимые битки в сметане! — и сияние глаза и прекрасное счастливое лицо...

— Да, счастливее этого вечера, мне кажется, в моей жизни уже не будет...

— Данте говорил о Беатриче: «В ее глазах — начало любви, а конец — в устах». Итак? — сказал он, беря ее руку.

Она закрыла глаза, клонясь к нему опущенной головой. Он обнял ее плечи с мягкими косами, поднял ее лицо:

— Конец в устах?

— Да...

Когда шли по аллее, он смотрел себе под ноги:

— Что ж нам теперь делать? Идти к дедушке и, упав на колени, просить его благословения? Но какой же я муж?

— Нет, нет, только не это.

— А что же?

— Не знаю. Пусть будет только то, что есть... Лучше уж не будет.

10 апреля 1945

КАЧЕЛИ

В летний вечер сидел в гостиной, бренча на фортепиано, услышал на балконе ее шаги, дико ударил по клавишам и не в лад закричал, зашел:

Не завидую богам,
Не завидую царям,
Как увижу очи томны,
Стройный стан и косы темны!

Вошла в синем сарафане, с двумя длинными темными косами на спине, в коралловом ожерелье, усмехалась синими глазами на загорелом лице:

— Это все про меня? И ариал собственной композиции?

— Да!

И опять ударил и закричал:

Не завидую богам...

— Ну и слух же у вас!

— Зато я знаменитый живописец. И красив, как Леонид Андреев. На беду вашу заехал я к вам!

— Он пугает, а мне не страшно, сказал Толстой про вашего Андреева.

— Посмотрим, посмотрим!

— А дедушкин костыль?

— Дедушка хоть и севастопольский герой, только с виду грозен. Убежим, повенчаемся, потом кинемся ему в ноги — заплачет и простит...

В сумерки, перед ужином, когда в поварской жарил пахучие битки с луком и в росистом парке свежело, носились, стоя друг против друга, на качелях в конце аллеи, визжа кольцами, дуя ветром, развешавшим ее подол. Он, натягивая веревки и поддавая взмах доски, делал страшные глаза, она, раскрасневшись, смотрела пристально, бессмысленно и радостно.

— Ау! А вот первая звезда и молодой месяц и небо над озером зеленое-зеленое — живописец, посмотрите, какой тонкий серпик! Месяц, месяц, золотые рога... Ой, мы сорвемся!

Слетев с высоты и соскочив на землю, сели на доску, сдерживая взволнованное дыхание и глядя друг на друга.

— Ну что? Я говорил!

— Что говорил?

— Вы уже влюблены в меня.

— Может быть... Постойте, зовут к ужину... Ау, идем, идем!

— Погодите минутку. Первая звезда, молодой месяц, зеленое небо, запах росы, запах из кухни, — верно, опять мои любимые битки в сметане! — и синие глаза и прекрасное счастливое лицо...

— Да, счастливее этого вечера, мне кажется, в моей жизни уже не будет...

— Даите говорил о Беатриче: «В ее глазах — начало любви, а конец — в устах». Итак? — сказал он, беря ее руку.

Она закрыла глаза, клонясь к нему опущенной головой. Он обнял ее плечи с мягкими косами, поднял ее лицо:

— Конец в устах?

— Да...

Когда шли по аллее, он смотрел себе под ноги:

— Что ж нам теперь делать? Идти к бабушке и, упав на колени, просить его благословения? Но какой же я муж?

— Нет, нет, только не это.

— А что же?

— Не знаю. Пусть будет только то, что есть... Лучше уж не будет.

ЧИСТЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК

Темпел московский серый зимний день, холодно за-
жигался газ в фонарях, тепло освещались витрины мага-
зинов — и разгоралась вечерняя, освобождающаяся от
дневных дел московская жизнь: гуще и бодрей неслись
извозничьи сани, тяжелее гремели переполненные, пы-
ряющие трамваи, — в сумраке уже видно было, как с ши-
пением сыпались с проводов зеленые звезды — оживлен-
нее спешили по спешным тротуарам мутно чернеющие
прохожие... Каждый вечер мчал меня в этот час на
вытягивающемся рысак мой кучер — от Красных ворот к
храму Христа Спасителя: она жила против него; каждый
вечер я возил ее обедать в «Прагу», в «Эрмитаж», в
«Метрополь», после обеда в театры, на концерты, а там
к «Яру» в «Стрельну»... Чем все это должно кончиться,
я не знал и старался не думать, не додумывать: было
бесполезно — так же, как говорить с ней об этом: она
раз навсегда отвела разговоры о нашем будущем; она
была загадочна, непонятна для меня, странны были и
наши с ней отношения — совсем близки мы все еще не
были; и все это без конца держало меня в неразрешаю-
щемся напряжении, в мучительном ожидании — и вместе
с тем был я несказанно счастлив каждым часом, про-
веденным возле нее.

Она зачем-то училась на курсах, довольно редко по-
сещала их, но посещала. Я как-то спросил: «Зачем?»

Она пожала плечом: «А зачем все делается на свете? Разве мы понимаем что-нибудь в наших поступках? Кроме того, меня интересует история...» Жила она одна,— вдовый отец ее, просвещенный человек знатного купеческого рода, жил на покое в Твери, что-то, как все такие купцы, собирал. В доме против храма Спасителя она снимала ради вида на Москву угловую квартиру на пятом этаже, всего две комнаты, но просторные и хорошо обставленные. В первой много места занимал широкий турецкий диван, стояло дорогое пианино, на котором она все разучивала медленное, сомнамбулически прекрасное начало «Лунной сонаты»,— только одно начало,— на пианино и на подзеркальнице цвели в граненых вазах нарядные цветы,— по моему приказу ей доставляли каждую субботу свежие,— и когда я приезжал к ней в субботний вечер, она, лежа на диване, над которым зачем-то висел портрет босого Толстого, не спеша протягивала мне для поцелуя руку и рассеянно говорила: «Спасибо за цветы...» Я привозил ей коробки шоколаду, новые книги — Гофмансталя, Шницлера, Тетмайера, Пшибышевского,— и получал все то же «спасибо» и протянутую теплую руку, иногда приказание сесть возле дивана, не снимая пальто. «Непонятно почему,— говорила она в раздумье, глядя мой бровный воротник,— по, кажется, ничего не может быть лучше запаха зимнего воздуха, с которымходишь со двора в комнату...» Похоже было на то, что ей ничто не нужно: ни цветы, ни книги, ни обеды, ни театры, ни ужины за городом, хотя все-таки цветы были у нее любимые и нелюбимые, все книги, какие я ей привозил, она всегда прочитывала, шоколаду съедала за день целую коробку, за обедами и ужинами ела не меньше меня, любила расстеган с налимьей ухой, розовых рябчиков в крепко прожаренной сметане, иногда говорила: «Не понимаю, как это не надоест людям всю жизнь, каждый день обедать, ужинать»,— по сама и обедала и ужинала с московским пониманием дела. Явной слабостью ее была только хорошая одежда, бархат, шелка, дорогой мех...

Мы оба были богаты, здоровы, молоды и настолько хороши собой, что в ресторанах, на концертах нас про-

пожали взглядами. Я, будучи родом из Пепзеленской губернии, был в ту пору красив почему-то южной, горячий красотой, был даже «неприлично красив», как сказал мне однажды один знаменитый актер, чудовищно толстый человек, великий обжора и умпича. «Черт вас знает, кто вы, сицилианец какой-то», — сказал он сонно; и характер был у меня южный, живой, постоянно готовый к счастливой улыбке, к доброй шутке. А у нее красота была какая-то индийская, персидская: смугло-янтарное лицо, великолепные и несколько зловещие в своей густой черноте волосы, мягко блестящие, как черный собольи мех, брови, черные, как бархатный уголь, глаза; пленительный бархатисто-пушковым губами рот оттенен был темным пушком; выезжал, она чаще всего надевала гранатовое бархатное платье и такие же туфли с золотыми застежками (а па курсы ходила скромной курсисткой, завтракала за тридцать копеек в вегетарианской столовой на Арбате); и насколько я был склонен к болтливости, к простосердечной веселости, настолько она была чаще всего молчалива: все что-то думала, все как будто во что-то мысленно вникала; лежа на диване с книгой в руках, часто опускала ее и вопросительно глядела перед собой: я это видел, выезжал иногда к ней и днем, потому что каждый месяц она дня три-четыре совсем не выходила и не выезжала из дому, лежала и читала, заставляя и меня сесть в кресло возле дивана и молча читать.

— Вы ужасно болтливы и непоседливы, — говорила она, — дайте мне дочитать главу...

— Если бы я не был болтлив и непоседлив, я никогда, может быть, не узнал бы вас, — отвечал я, напоминая ей этим наше знакомство: как-то в декабре, попав в Художественный кружок на лекцию Андрея Белого, который пел ее, бегая и танцуя на эстраде, я так вертелся и хохотал, что она, случайно оказавшаяся в кресле рядом со мной и сперва с некоторым недоумением смотревшая на меня, тоже наконец рассмелась, и я тотчас весело обратился к ней.

— Все так, — говорила она, — но все-таки помолчите немного, почитайте что-нибудь, покурите...

— Не могу я молчать! Не представляете вы себе всю силу моей любви к вам! Не любите вы меня!

— Представляю. А что до моей любви, то вы хорошо знаете, что, кроме отца и вас, у меня никого нет на свете. Во всяком случае, вы у меня первый и последний. Вам этого мало? Но довольно об этом. Читать при нас нельзя, давайте чай пить...

И я вставал, кипятил воду в электрическом чайнике на столике за отвалом дивана, брал из ореховой горки, стоявшей в углу за столиком, чашки, блюдечки, говоря что придет в голову:

— Вы дочитали «Огненного ангела?»

— Досмотрела. До того высокопарно, что совестно читать.

— А отчего вы вчера вдруг ушли с концерта Шалляпина?

— Не в меру разудал был. И потом желтоволосую Русь я вообще не люблю.

— Все-то вам не нравится!

— Да, многое...

«Странная любовь!» — думал я и, пока закипала вода, стоял, смотрел в окна. В комнате пахло цветами, и она соединилась для меня с их запахом; за одним окном низко лежала вдаль огромная картина заречной снежно-сибирской Москвы; в другое, левее, была видна часть Кремля, напротив, как-то не в меру близко, белела слишком новая громада Христа Спасителя, в золотом куполе которого синевастыми пятнами отражались газки, вечно висящие вокруг него... «Станный город! — говорил я себе, думая об Охотном ряду, об Иверской, о Василии Блаженном. — Василий Блаженный — и Спа-са-Бору, итальянские соборы — и что-то киргизское в остриях башен на кремлевских стенах...»

Приезжая в сумерки, я иногда заставлял ее на диване только в одном шелковом архалуке, отороченном собором, — наследством моей астраханской бабушки, сказала она, — сидел возле нее в полутьме, не зажигая огня, и целовал ее руки, ноги, изумительное в своей гладкости тело... И она ничему не противилась, но все молча. Я минутно искал ее жаркие губы — она давала их, дыша уже порывисто, но все молча. Когда же чувствовала, что

я больше не в силах владеть собой, отстрапляла меня, садилась и, не повышая голоса, просила зажечь свет, потом уходила в спальню. Я зажигал, садился на вертящийся табуретик возле пианино и постепенно приходил в себя, остывал от горячего дурмана. Через четверть часа она выходила из спальни одетая, готовая к выезду, спокойная и простая, точно ничего и не было перед этим:

— Куда нынче? В «Метрополь», может быть?

И опять весь вечер мы говорили о чем-нибудь постороннем. Вскоре после нашего сближения она сказала мне, когда я заговорил о браке:

— Нет, в жены я не гоюсь. Не гоюсь, не гоюсь...

Это меня не обезнадежило. «Там видно будет!» — сказал я себе в надежде на перемену ее решения со временем и больше не заговаривал о браке. Наша неполная близость казалась мне иногда невыносимой, но и тут — что оставалось мне, кроме надежды на время? Однажды, сидя возле нее в этой вечерней темноте и тишине, я схватился за голову:

— Нет, это выше моих сил! И зачем, почему надо так жестоко мучить меня и себя!

Она промолчала.

— Да, все-таки это не любовь, не любовь...

Она ровно отозвалась из темноты:

— Может быть. Кто же знает, что такое любовь?

— Я, я знаю! — воскликнул я. — Я буду ждать, когда и вы узнаете, что такое любовь, счастье!

— Счастье, счастье... «Счастье наше, дружок, как вода в бредне: тлешь — надулось, а вытащишь — ничего нету».

— Это что?

— Это так Платон Каратаев говорил Пьеру.

Я махнул рукой:

— Ах, бог с ней, с этой восточной мудростью!

И опять весь вечер говорил только о постороннем — о новой постановке Художественного театра, о новом рассказе Андреева... С меня опять было довольно и того, что вот я сперва тесно сижу с ней в летящих и раскатывающихся санках, держа ее в гладком мехе шубки, потом вхожу с ней в людную залу ресторана под марш из «Анды», ем и пью рядом с ней, слышу ее медленный голос, гляжу на губы, которые целовал час тому назад,—

да, целовал, говорил я себе, с восторженной благодарностью глядя на них, на темный пушок над ними, на грапатовый бархат платья, на скат плеч и опал грудей, обоняя какой-то слегка пряный запах ее волос, думая: «Москва, Астрахань, Персия, Индия!» В ресторанах за городом, к концу ужина, когда все шумней становилось кругом в табачном дыму, она, тоже куря и хмелея, вела меня иногда в отдельный кабинет, просила позвать цыган, и они входили нарочито шумно, развязно: впереди хора, с гитарой на голубой ленте через плечо, старый цыган в казакине с галунами, с сизой мордой утоплевника, с голой, как чугунный шар, головой, за ним цыганка-запевало с низким лбом под дегтярной челкой... Она слушала песни с томной, странной усмешкой... В три, в четыре часа ночи я отвозил ее домой, на подъезде, закрывая от счастья глаза, целовал мокрый мех ее воротника и в каком-то восторженном отчаянии летел к Красным воротам. И завтра и послезавтра будет все то же, думал я,— все та же мука и все то же счастье... Ну что ж — все-таки счастье, великое счастье!

Так прошел январь, февраль, пришла и прошла масленица. В прощенное воскресенье она приказала мне приехать к ней в пятом часу вечера. Я приехал, и она встретила меня уже одетая, в короткой каракулевой шубке, в каракулевой шляпке, в черных фетровых ботинках.

— Все черное! — сказал я, входя, как всегда, радостно.

Глаза ее были ласковы и тихи.

— Ведь завтра уже чистый понедельник, — ответила она, вынув из каракулевой муфты и давая мне руку в черной лайковой перчатке. — «Господи владыко живота моего...» Хотите поехать в Новодевичий монастырь?

Я удивился, но поспешил сказать:

— Хочу!

— Что ж все кабаки да кабаки, — прибавила она. — Вот вчера утром я была на Рогожском кладбище...

Я удивился еще больше:

— На кладбище? Зачем? Это знаменитое раскольничье?

— Да, раскольничье. Допетровская Русь! Хорошили ихнего архиепископа. И вот представьте себе: гроб — ду-

боявая колода, как в древности, золотая парча будто кованая, лик усопшего закрыт белым «воздухом», шитым крупной черной вязью — красота и ужас. А у гроба диаконы с рипидами и трикириями...

— Откуда вы это знаете? Рипиды, трикирии!

— Это вы меня не знаете.

— Не знал, что вы так религиозны.

— Это не религиозность. Я не знаю что... Но я, например, часто хожу по утрам или по вечерам, когда вы не таскаете меня по ресторанам, в кремлевские соборы, а вы даже и не подозреваете этого... Так вот: диаконы — да какие! Пересвет и Ослябя! И на двух клиросах два хора, тоже все Пересветы: высокие, могучие, в длинных черных кафтанах, поют, перекликались, — то один хор, то другой, — и все в унисон и не по нотам, а по «крюкам». А могила была внутри выложена блестящими словыми вставками, а на дворе мороз, солнце, слепит снег... Да нет, вы этого не понимаете! Идем...

Вечер был мирный, солнечный, с инеем на деревьях; на кирпично-красных стенах монастыря болтали в тишине галки, похожие на монашенок, куранты то и дело толко и грустно играли на колокольне. Скрип в тишине по снегу, мы вошли в ворота, пошли по слежным дорожкам по кладбищу, — солнце только что село, еще совсем было светло, дивно рисовались на золотой эмали заката серым кораллом сучья в инее, и таинственно теплились вокруг нас спокойными, грустными оголками неугасимые лампы, рассеянные над могилами. Я шел за ней, с умилением глядел на ее маленький след, на звездочки, которые оставляли на снегу новые черные ботинки — она вдруг обернулась, почувствовав это:

— Правда, как вы меня любите! — сказала она с тихим недоумением, покачивая головой.

Мы постояли возле могил Эртеля, Чехова. Держа руки в опущенной муфте, она долго глядела на чеховский могильный памятник, потом пожала плечом:

— Какая противная смесь сусального русского стиля и Художественного театра!

Стало темнеть, морозило, мы медленно вышли из ворот, возле которых покорно сидел на козлах мой Федор.

— Поездим еще немножко,— сказала она,— потом поедем есть последние блины к Егорову... Только не шибко, Федор,— правда?

— Слушаю-с.

— Где-то на Ордынке есть дом, где жил Грибоедов. Поедем его искать...

И мы зачем-то поехали на Ордынку, долго ездили по каким-то переулкам в садах, были в Грибоедовском переулке; по кто ж мог указать нам, в каком доме жил Грибоедов,— прохожих не было ни души, да и кому из них мог быть нужен Грибоедов? Уже давно стемнело, розовели за деревьями в ипее освещенные окна...

— Тут есть еще Марфо-Мариинская обитель,— сказала она.

Я засмелся:

— Опять в обитель?

— Нет, это я так...

В нижнем этаже в трактире Егорова в Охотном ряду было полно лохматыми, толсто одетыми извозчиками, развавшими стопки блинов, залитых сверх меры маслом и сметаной, было парно, как в бане. В верхних комнатах, тоже очень теплых, с низкими потолками, старозаветные купцы запивали огненные блины с зернистой икрой замороженным шампанским. Мы прошли во вторую комнату, где в углу, перед черной доской иконы богородицы троеручицы, горела лампадка, сели за длинный стол на черный кожаный диван... Пушок на ее верхней губе был в ипее, литарь щек слегка розовел, чернота райка совсем слилась с зрачком,— я не мог отвести восторженных глаз от ее лица. А она говорила, вынимая платочек из душной муфты:

— Хорошо! Внизу дикие мужики, а тут блины с шампанским и богородица троеручица. Три руки! Ведь это Индия! Вы — барин, вы не можете понимать так, как я, всю эту Москву.

— Могу, могу! — отвечал я. — И давайте закажем обед сйлен!

— Как это «сйлен»?

— Это значит — сильный. Как же вы не знаете? «Рече Гюрги...»

— Как хорошо! Гюрги!

— Да, князь Юрий Долгорукий. «Рече Гюрги ко Святославу, князю Северскому: «Приди ко мне, брате, в Москову» и повеле устроить обед силен».

— Как хорошо. И вот только в каких-нибудь северных монастырях осталась теперь эта Русь. Да еще в церковных песнопениях. Недавно я ходила в Зачатьевский монастырь — вы представить себе не можете, до чего дивно поют там стихиры! А в Чудовом еще лучше. Я прошлый год все ходила туда на Страстной. Ах, как было хорошо! Везде лужи, воздух уж мягкий, на душе как-то нежно, грустно и все время это чувство родины, ее старины... Все двери в соборе открыты, весь день входит и выходит простой народ, весь день службы... Ох, уйду я куда-нибудь в монастырь, в какой-нибудь самый глухой, вологодский, вятский!

Я хотел сказать, что тогда и я уйду или зарежу кого-нибудь, чтобы меня загнали на Сахалин, закурил, забившись от волнения, по подошел половой в белых штанах и белой рубаше, подпоясанный малиновым жгутом, почтительно напомнил:

— Извините, господин, курить у нас нельзя...

И тотчас, с особой угодливостью, начал скороговоркой:

— К блинам что прикажете? Домашнего травничку? Икорки, семушки? К ушце у нас херес на редкость хорош есть, а к паважке...

— И к паважке хересу,— прибавила она, радуя меня доброй разговорчивостью, которая не покидала ее весь вечер. И я уже рассеянно слушал, что она говорила дальше. А она говорила с тихим светом в глазах:

— Я русское летописное, русские сказания так люблю, что до тех пор перечитываю то, что особенно нравится, пока наизусть не заучу. «Был в русской земле город, названьем Муром, в нем же самодержествовал благоверный князь, именем Павел. И вселил к жене его диавол летучего змея на блуд. И сей змей являлся ей в естестве человеческом, зело прекрасном...»

Я шутя сделал страшные глаза:

— Ой, какой ужас!

Она, не слушая, продолжала:

— Так испытывал ее бог. «Когда же пришло время

ее благостной кончины, умолили бога сей князь и княгиня преставиться им в один день. И сговорились быть погребенными в едином гробу. И велели вытесать в едином камне два гробных ложа. И облеклись, также одновременно, в монашеское одеяние...

И опять моя расселинность сменилась удивлением и даже тревогой: что это с ней нынче?

И вот, в этот вечер, когда я отвез ее домой совсем не в обычное время, в одиннадцатом часу, она, простясь со мной на подъезде, вдруг задержала меня, когда я уже садился в сани:

— Погодите. Заезжайте ко мне завтра вечером по рапье десяти. Завтра «капустник» Художественного театра.

— Так что? — спросил я. — Вы хотите поехать на этот «капустник»?

— Да.

— Но вы же говорили, что не знаете ничего пошлее этих «капустников»!

— И теперь не знаю. И все-таки хочу поехать.

Я мысленно покачал головой, — все причуды, московские причуды! — и бодро отозвался:

— Ол райт!

В десять часов вечера на другой день, поднявшись в лифте к ее двери, я отворил дверь своим ключиком и не сразу пошел из темной прихожей: за ней было необычно светло, все было зажжено, — люстры, канделябры по бокам зеркала и высокая лампа под легким абажуром за изголовьем дивана, а пианино звучало началом «Луной сонаты» — все повышаясь, звуча чем дальше, тем все томительнее, призывнее, в сомнамбулически-блаженной грусти. Я захлопнул дверь прихожей, — звуки оборвались, послышался шорох платья. Я вошел — она прямо и несколько театрально стояла возле пианино в черном бархатном платье, делавшем ее топыше, блистая его нарядностью, праздничным убором смольных волос, смуглой янтарностью обнаженных рук, плеч, нежного, полного начала груди, сверканием алмазных сережек вдоль чуть припудренных щек, угольным бархатом глаз и бархатистым пурпуром губ; на висках полуколечками загибались

к глазам черные лоснящиеся косички, придавая ей вид восточной красавицы с лубочной картинки.

— Вот если бы я была невица и нела на встраде,— сказала она, глядя на мое растерянное лицо,— я бы отпечала на аплодисменты приветливой улыбкой и легкими поклонами направо и влево, вверх и в партер, а сама бы незаметно, но заботливо отстраняла ногой плейф, чтобы не наступить на него...

На «капустнике» она много курила и все прихлебывала шампанское, пристально смотрела на актеров, с бойкими выкриками и припевами изображавших нечто будто бы парижское, на большого Станиславского с белыми волосами и черными бровями и плотного Москвина в песне на корытообразном лице,— оба с нарочитой серьезностью и старательностью, падая назад, выделявали под хохот публики отчаянный капкан. К нам подошел с бокалом в руке, бледный от хмеля, с крупным потом на лбу, на который свисал клоч его белорусских волос, Качалов, поднял бокал и, с деланной мрачной жадностью глядя на нее, сказал своим низким актерским голосом:

— Царь-девица, Шамаханская царица, твое здоровье! И она медленно улыбнулась и чокнулась с ним. Он взял ее руку, пьяно припал к ней и чуть не спалился с пог. Справился и, сжав зубы, взглянул на меня:

— А это что за красавец? Ненавижу.

Потом захрипела, засвистала и загремела, вприпрыжку затопала полькой шарманка — и к нам, скользя, подлетел маленький, вечно куда-то спешащий и смеющийся Сулержицкий, изогнулся, изображая гостинодворскую галантность, поспешно пробормотал:

— Дозвольте пригласить на полечку Транблал...

И она, улыбаясь, поднялась и, ловко, коротко притопывая, сверкая сережками, своей черпотой и обнаженными плечами и руками, пошла с ним среди столиков, провожаемая восхищенными взглядами и рукоплесканиями, меж тем как он, задрвав голову, кричал козлом:

Пойдем, пойдем поскорее
С тобой польку танцевать!

В третьем часу ночи она встала, прикрыв глаза. Когда мы оделись, посмотрела на мою бобровую шапку, по-

гладила бровь воротник и пошла к выходу, говоря не то шутя, не то серьезно:

— Конечно, красив. Качалов правду сказал... «Змей в естестве человеческом, дело прекрасном...»

Дорогой молчала, клоня голову от светлой лунной метели, летевшей навстречу. Полный месяц пырлял в облаках над Кремлем, — «какой-то светящийся череп», — сказала она. На Спасской башне часы били три, — еще сказала:

— Какой древний звук, что-то жестяное и чугуновое. И вот так же, тем же звуком било три часа почти и в пятнадцатом веке. И во Флоренции совсем такой же бой, он там напоминал мне Москву...

Когда Федор осадил у подъезда, безжизненно приказала:

— Отпустите его...

Пораженный, — никогда не позволяла она подниматься к ней ночью, — я растерянно сказал:

— Федор, я вернусь пешком...

И мы молча потонули вверх в лифте, вошли в почтвое тепло и тишину квартиры с постукивающими молоточками в калориферах. Я снял с нее скользкую от снега шубку, она сбросила с волос на руки мне мокрую пуховую шаль и быстро прошла, шурша нижней шелковой юбкой, в спальню. Я разделся, пошел в первую комнату и с замирающим точно над пропастью сердцем сел на турецкий диван. Слышны были ее шаги за открытыми дверями освещенной спальни, то, как она, цепляясь за шпильки, через голову стянула с себя платье... Я встал и подошел к дверям: она, только в одних лебяжьих туфельках, стояла, спиной ко мне, перед трюмо, расчесывая черепаховым гребнем черные нити длинных висевших вдоль лица волос.

— Вот все говорил, что я мало о нем думаю, — сказала она, бросив гребень на подзеркальник, и, откидывая волосы на спину, повернулась ко мне: — Нет, я думала...

На рассвете я почувствовал ее движение. Открыл глаза — она в упор смотрела на меня. Я приподнялся из тепла постели и ее тела, она склонилась ко мне, тихо и ровно говоря:

— Пыиче вечером я уезжаю в Тверь. Надолго ли, один бог знает...

И прижалась своей щекой к моей, — я чувствовал, как моргает ее мокрая ресница.

— Я все напишу, как только приеду. Все напишу о будущем. Прости, оставь меня теперь, я очень устала...

И легла на подушку.

Я осторожно оделся, робко поцеловал ее в волосы и на цыпочках вышел на лестницу, уже светлеющую бледным светом. Шел пешком по молодому липкому снегу, — метели уже не было, все было спокойно и уже далеко видно вдоль улиц, пахло и снегом и из пекарен. Дошел до Иверской, внутренность которой горячо пылала и сияла целыми кострами свечей, стал в толпе старух и нищих на растоптанный снег на колени, снял шапку... Кто-то потрогал меня за плечо — я посмотрел: какая-то несчастнейшая старушонка глядела на меня, морщась от жалостных слез:

— Ох, не убивайся, не убивайся так! Грех, грех!

Письмо, полученное мною недели через две после того, было кратко — ласковая, но твердая просьба не ждать ее больше, не пытаться искать, видеть: «В Москву не вернусь, пойду пока на послушание, потом, может быть, решусь на постриг... Пусть бог даст сил не отвечать мне — бесполезно длить и увеличивать нашу муку...»

Я исполнил ее просьбу. И долго пропадал по самым грязным кабакам, спивался, вслестски опускался все больше и больше. Потом стал понемногуправляться — равнодушно, безнадежно... Прошло почти два года с того чистого понедельника...

В четырнадцатом году, под Новый год, был такой же тихий, солнечный вечер, как тот, незабвенный. Я вышел из дому, взял извозчика и поехал в Кремль. Там зашел в пустой Архангельский собор, долго стоял, не молясь, в его сумраке, глядя на слабое мерцанье старого золота иконостаса и надмогильных плит московских царей, — стоял, точно ожидал чего-то, в той особой тишине пустой церкви, когда боишься вздохнуть в ней. Выйдя из собора, велел извозчику ехать на Ордынку, шагом сдвинулся, как тогда, по темным переулкам в садах с освещенными под

ними окнами, проехал по Грибоедовскому переулку — и все плакал, плакал...

На Ордынке я остановил извозчика у ворот Марфо-Мариинской обители: там во дворе чернели кареты, видны были раскрытые двери небольшой освещенной церкви, из дверей горестно и умиленно несло пение девичьего хора. Мне почему-то захотелось непременно войти туда. Дворник у ворот загородил мне дорогу, прося мягко, умоляюще:

— Нельзя, господин, нельзя!

— Как нельзя? В церковь нельзя?

— Можно, господин, конечно, можно, только прошу вас за ради бога, не ходите, там сейчас великая княгиня Елизавет Федровна и великий князь Митрий Палыч...

Я сунул ему рубль — он сокрушенно вздохнул и пропустил. Но только я вошел во двор, как из церкви показались несомые на руках иконы, хоругви, за ними, вся в белом, длинном, тонколикая, в белом обрусе с нашитым на него золотым крестом на лбу, высокая, медленно, истоиво идущая с опущенными глазами, с большой свечой в руке, великая княгиня; а за нею тянулась такая же белая вереница поющих, с огоньками свечек у лиц, инокниги или сестер, — уж не знаю, кто были они и куда шли. Я почему-то очень внимательно смотрел на них. И вот одна из идущих посередине вдруг подняла голову, крытую белым платом, загородив свечку рукой, устремила взгляд темных глаз в темноту, будто как раз на меня... Что она могла видеть в темноте, как могла она почувствовать мое присутствие? Я повернулся и тихо вышел из ворот.

12 мая 1944

ЧАСОВНЯ

Летний жаркий день, в поле, за садом старой усадьбы, давно заброшенное кладбище, — бугры в высоких цвелях и травах и одинокая, вся дико заросшая цветами и травами, крапивой и татарником, разрушающаяся кирпичная часовня. Дети из усадьбы, сидя под часовней на корточках, зоркими глазами заглядывают в узкое и длинное разбитое окно на уровне земли. Там ничего не видно, оттуда только холодно дует. Везде светло и жарко, а там темно и холодно: там, в железных ящиках, лежат какие-то дедушки и бабушки и еще какой-то дядя, который сам себя застрелил. Все это очень интересно и удивительно: у нас тут солнце, цветы, травы, мухи, шмели, бабочки, мы можем играть, бегать, нам жутко, но и весело сидеть на корточках, а они всегда лежат там в темноте, как ночью, в толстых и холодных железных ящиках; дедушки и бабушки все старые, а дядя еще молодой...

— А зачем он себя застрелил?

— Он был очень влюблен, а когда очень влюблен, всегда стреляют себя...

В синем море неба островами стоят кое-где белые прекрасные облака, теплый ветер с поля несет сладкий запах цветущей ржи. И чем жарче и радостней печет солнце, тем холоднее дует из тьмы, из окна,

2 июля 1944

ВЕСНОЙ, В ИУДЕЕ

— Эти далекие дни в Иудее, сделавшие меня на всю жизнь хромым, калеккой, были в самую счастливую пору моей молодости,— говорил высокий, стройный человек, желтоватый лицом, с карими блестящими глазами и короткими, мелкокурчавыми серебряными волосами, ходивший всегда с костылем по причине не сгибавшейся в колене левой ноги.— Я участвовал тогда в небольшой экспедиции, имевшей целью исследование посточных берегов Мертвого моря, легендарных мест Содомы и Гоморры, жил в Иерусалиме, поджидая своих спутников, задержавшихся в Константинополе, и совершая поездки в одну из бедуинских стоянок по дороге в Иерихон, к шейху Анду, которого мне рекомендовали иерусалимские археологи и который владел оборудованием все нужное для нашей экспедиции и лично вести ее. В первый раз я съездил к нему для переговоров с проводником, на другой день он сам приехал ко мне в Иерусалим; потом я стал ездить в его стоянку один, купив у него же чудесную верховую кобылку,— стал ездить даже не в меру часто... Была весна, Иудея тонула в радостном солнечном блеске, вспоминалась «Песнь Песней»: «Зима уже прошла, цветы показались на земле, время песен настало, голос горлицы слышен, виноградные лозы, расцветая, издают благоухание...» Там, на этом древнем пути к Иерихону, в каменистой

Иудейской пустыне, все, как всегда, было мертво, дико, голо, слепило зноем и песками. Но и там, в эти светонесные весенние дни, все казалось мне бесконечно радостным, счастливым: в первый раз был я тогда на Востоке, совершенно новый мир видел перед собою, а в этом мире — нечто необыкновенное: племянницу Анда.

Иудейская пустыня — это целая страна, неуклонно спускающаяся до самой Иорданской долины, холмы, перевалы, то каменистые, то песчаные, кое-где поросшие жесткой растительностью, обитасмые только змеями, куropатками, погруженные в вечное молчание. Зимой там, как всюду в Иудее, льют дожди, дуют ледяные ветры; весной, летом, осенью — то же могильное спокойствие, однообразие, но солнечный зной, солнечный сон. В ложбинах, где попадаются колодцы, видны следы бедуинских столбов: пепел костров, камни, сложенные кругами или квадратами, на которых укрепляют шатры... А та стоянка, куда я ездил, где шейхом был Анд, являла такую картину: широкий песчаный лог между холмами и в нем небольшой стан шатров из черного войлока, плоских, четырехугольных и довольно мрачных своей чернотой на желтизне песков. Проезжал, я постоянно видел тлеющие кучки кизяка перед некоторыми шатрами, среди шатров — тесноту: всюду собаки, лошади, мулы, козы — до сих пор не понимаю, чем и где все это кормилось, — множество голых, черномазых, курчавых детей, женщины и мужчины, похожие одни на цыган, другие на негров, хотя не толстогурых... И странно было видеть, как тепло, несмотря на зной, были одеты мужчины: кубовая рубаха до колен, ватная куртка, а сверху аба, то есть длинная и тяжелая, широкоплечая хламида из негой шерсти, полосатой в два цвета — черного и белого; на голове — кефи́й — желтый с красными полосами платок, распущенный по плечам, висящий вдоль щек и в два раза охватывающий на макушке тоже легим, двуцветным шерстяным жгутом. Все это составляло полную противоположность женской одежде: у женщин на головы накинута кубовая платка, лица открыты, на теле одна длинная кубовая рубаха с острыми, падающими чуть не до земли рукавами; мужчины обуты в грубые башмаки, подбитые железками, женщины ходят босыми, и у всех ступни

чудесные, подвижные и от загара уж совсем как уголь. Мужчины курят трубки, женщины тоже...

Когда я во второй раз, без проводника, приехал в стоянку, меня приняли уже как друга. Шатер Анда был самый просторный, и я застал в нем целое собрание пожилых бедуинов, сидевших вокруг червых войлочных стеш шатра с поднятыми для входа полами. Анд вышел мне навстречу, сделал поклон и прикладывание правой руки к губам и ко лбу. Войдя в шатер впереди его, я подождал, пока он сел на ковер посреди шатра, потом сделал то, что сделал он мне при встрече, то, что всегда полагается — тот же поклон и прикладывание правой руки к губам и ко лбу, — сделал несколько раз, по числу всех сидящих; потом сел возле Анда и, сидя, опять сделал то же самое; мне, конечно, отвечали тем же. Говорили только мы с хозяином, — кратко и медленно: так тоже полагалось по обычаю, да и не очень сведущ был я тогда в разговорном арабском языке; прочие курили и молчали. А за шатром меж тем готовилось мне и гостям угощение. Обычно бедуины едят хъбыз, — кукурузные лепешки — вареное пшено с козьим молоком... Но непрерывное угощение гостя — харуф: барап, которого жарят в ямке, вырытой в песке, наваливая на него пласты тлеющего кизяка. После барапа угощают кофеем, но всегда без сахара. И вот все сидели и угощались как ни в чем не бывало, хотя в тени войлочного шатра стояла адски горячая духота и смотреть в его широко раскрытые полы было просто страшно: пески вдали так сверкали, что, казалось, на глазах плавились. Шейх за каждым словом говорил мне: хаваджа, господин, а я ему: почтеннейший шейх бедави (то есть сын пустыни, бедуин)... Кстати, знаете ли вы, как по-арабски называется Иордан? Очень просто: Шарнат, что значит всего-навсего водоной.

Анд был лет пятидесяти, невысок, широк в кости, очень худ и очень крепок; лицо — обожженный кирпич, глаза прозрачные, серые, пронзительные; медная борода с проседью, жесткая, небольшая, подстриженная, и такие же подстриженные усы, — бедуины то и другое всегда подстригают; обут, как все, в толстые подковапные башмаки. Когда он был у меня в Иерусалиме, на поясе у него был кинжал, в руках длинная винтовка.

Я увидел его племянницу в тот самый день, когда сидел у него в шатре уже как «друг»: она прошла мимо шатра, держась прямо, неся на голове большую жестянку с водой, поддерживая ее правой рукою. Не знаю, сколько лет ей было, думаю, что не больше восемнадцати, узнал впоследствии одно — четыре года перед тем она была замужем, а в тот год овдовела, не имея детей, и перешла в шатер дяди, будучи сиротой и очень бедной. «Оглянись, оглянись, Суламифь!» — подумал я. (Ведь Суламифь была, верно, похожа на нее: «Девы иерусалимские, черна я и прекрасна».) И, проходя мимо шатра, она слегка повернула голову, повела на меня глазами: глаза эти были необыкновенно темные, таинственные, лицо почти черное, губы лиловые, крупные — в ту минуту они больше всего поразили меня... Впрочем, один ли они! Поразило все: удивительная рука, обнажившаяся до плеча, державшая на голове жестянку, медленные, извилистые движения тела под длинной кубовой рубахой, полные груди, поднимавшие эту рубаху... И пужно же было случиться так, что вскоре после этого я встретил ее в Иерусалиме у Иффских ворот! Она шла в толпе навстречу мне и на этот раз несла на голове что-то завернутое в холст. Увидав меня, приостановилась. Я кинулся к ней.

— Ты узнала меня?

Она слегка потрепала свободной левой рукой по плечу меня, усмехнулась:

— Узнала, хавджа.

— Что это ты несешь?

— Козий сыр несу.

— Кому?

— Всем.

— Значит, продавать? Так носи его ко мне.

— Куда?

— Да вот сюда, в гостиницу...

Я жил как раз у Иффских ворот, в узком высоком доме, слитом с другими домами, по левую сторону той небольшой площади, от которой идет ступенчатая «Улица царя Давида» — темный, крытый где холстами, а где древними каменными сводами ход между такими же древними мастерскими и лавками. И она без всякой робости

пошла впереди меня по крутой и тесной каменной лестнице этого дома, слегка откинувшись, свободно напрягая свое извивающееся тело, настолько обнажив правую руку, державшую на голове на кубовом платке круг сыру в холсте, что видны были черные волосы ее подмышки. На одном повороте лестницы она приостановилась: там, глубоко внизу за узким окном, виден был древний «Водоем пророка Иезекииля», зеленая вода которого лежала, как в колоде, в квадрате соседних сплошных домовых стен с решетчатыми окошечками, — та самая вода, в которой купалась Вирсафия, жена Урия, наготой своей пленившая царя Давида. Приостановясь, она заглянула в окно и, обернувшись, с радостным удивлением взглянула на меня своими удивительными глазами. Я не удержался, поцеловал ее голое предплечье — она взглянула на меня вопросительно: поцелуй не в обычае у бедуинов. Войдя в мою комнату, она положила свой сверток на стол и протянула ко мне ладонь правой руки. Я положил в ладонь несколько мелких монет, потом, замирая от волнения, вынул и показал ей золотой фунт. Она поняла и опустила ресницы, покорно склонила голову и закрыла глаза внутренним сгибом локтя...

— Когда опять принесешь сыр? — спросил я, провожая ее через полчаса на лестницу.

Она легонько помотала головой:

— Скоро нельзя.

И показала мне пять пальцев: пять дней.

Недели через две, когда я уезжал от Анда и отъехал уже довольно далеко, сзади меня хлопнул выстрел — и пуля с такой силой ударилась в камень передо мной, что он задымился. Я поднял лошадь вскачь, пригнувшись к седлу, — хлопнул второй выстрел, и что-то крепко хлестнуло мне под колено левой ноги. Я скакал до самого Иерусалима, глядя вниз на свой сапог, по которому, певаясь, лилась кровь... Дивлюсь до сих пор, как мог Анд два раза промахнуться. Дивлюсь и тому, откуда он мог узнать, что это я покупал козий сыр у нее.

НОЧЛЕГ

Это случилось в одной глухой гористой местности на юге Испании.

Была июньская ночь, было полнолуние, небольшая луна стояла в зените, но свет ее, слегка розоватый, как это бывает в жаркие ночи после кратких дневных ливней, столь обычных в пору цветения лилий, все же так ярко озарял перевалы невысоких гор, покрытых низкорослым южным лесом, что глаз легко различал их до самых горизонтов.

Узкая долина шла между этими перевалами на север. И в тени от их возвышенностей с одной стороны, в мертвой тишине этой пустынной ночи, однообразно шумел горный поток и таинственно плыли и плыли, мерно погасая и мерно вспыхивая то аметистом, то топазом, летучие светляки, люциолы. Противоположные возвышенности отступали от долины, и по низменности под ними пролегал древняя каменистая дорога. Столь же древним казался на ней, на этой низменности, и тот каменный городок, куда в этот уже довольно поздний час шагом въехал на гнедом жеребце, припадавшем на переднюю

правую ногу, высокий марокканец в широком бурпусе из белой шерсти и в марокканской феске.

Городок казался вымершим, заброшенным. Да он и был таким. Марокканец проехал сперва по тепистой улице, между каменными остовами домов, зиявших черными пустотами на месте окон, с одиночными садами за ними. Но затем выехал на светлую площадь, на которой был длинный водоем с навесом, церкви с голубой статуей мадонны над порталом, несколько домов, еще обитаемых, а впереди, уже на выезде, постоялый двор. Там, в нижнем этаже, маленькие окна были освещены, и марокканец, уже дремавший, очнулся и натянул поводья, что заставило хромавшую лошадь бодрей застучать по ухабистым камням площади.

На этот стук вышла на порог постоялого двора маленькая, тощая старуха, которую можно было принять за нищую, выскочила круглолицая девочка лет пятнадцати, с челкой на лбу, в распахнутых на босу ногу, в легоньком платьице цвета блеклой глицинии, поднялась лежавшая у порога огромная черная собака с гладкой шерстью и короткими, торчком стоящими ушами. Марокканец спешился возле порога, и собака тотчас вся подалась вперед, сверкнув глазами и словно с омерзением оскалив белые страшные зубы. Марокканец взмахнул плетью, но девочка его предупредила.

— Негра! — звонко крикнула она в испуге, — что с тобой?

И собака, опустив голову, медленно отошла и легла, мордой к стене дома.

Марокканец сказал на дурном испанском языке приветствие и стал спрашивать, есть ли в городе кузнец, — завтра нужно осмотреть копыто лошади, — где можно поставить ее на ночь и найдется ли корм для нее, а для него какой-нибудь ужин? Девочка с живым любопытством смотрела на его большой рост и небольшое, очень смуглое лицо, изъеденное оспой, опасливо коснулась на черную собаку, лежавшую смирно, но как будто обиженно, старуха, тугая на ухо, поспешно отвечала крикливым голосом: кузнец есть, работник спит на скотном дворе рядом с домом, но она сейчас его разбудит и отпустит корму для лошади, что же до кушанья, то пусть

гость не вздыхает: можно сжарить личпиду с салом, по от ужина осталось только немного холодных бобов да рагу из овощей... И через полчаса, управившись с лошадейю при помощи работника, вечно пьяного старика, марокканец уже сидел за столом в кухне, жадно ел и жадно пил желтоватое белое вино.

Дом постоялого двора был старинный. Нижний этаж его делился длинными сенями, в конце которых была крутая лестница в верхний этаж, на две половины: налево просторная, низкая комната с парами для простого люда, направо такая же просторная, низкая кухня и вместе с тем столовая, вся по потолку и по стенам густо закопченная дымом, с маленькими и очень глубокими по причине очень толстых стен окнами, с очагом в дальнем углу, с грубыми голыми столами и скамьями возле них, скользкими от времени, с каменным неровным полом. В пей горела керосиновая лампа, свисавшая с потолка на почерпевшей железной цепи, пахло топкой и горелым салом,— старуха развела на очаге огонь, разогрела прокисшее рагу и жарила для гостя личпиду, пока он ел холодные бобы, политые уксусом и зеленым оливковым маслом. Он не разделся, не снял бурнуса, сидел, широко расставив ноги, обутые в толстые кожаные башмаки, над которыми были узко схвачены по щиколке широкие штаны из той же белой шерсти. И девочка, помогая старухе и прислуживая ему, то и дело пугалась от его быстрых, внезапных взглядов на нее, от его сипеватых белков, выделявшихся на сухом и рябом темном лице с узкими губами. Он и без того был страшен ей. Очень высокий ростом, он был широк от бурнуса, и тем меньше казалась его голова в феске. По углам его верхней губы курчавились жесткие черные полосы. Курчавились такие же кое-где и на подбородке. Голова была слегка откипута назад, отчего особенно торчал крупный кадык в оливковой коже. На тонких, почти черных пальцах белели серебряные кольца. Он ел, пил и все время молчал.

Когда старуха, разогрев рагу и сжарив личпиду, утомленно села на скамью возле потухшего очага и крикливо спросила его, откуда и куда он едет, он гортавно кипул в ответ только одно слово:

— Далеко.

Съевши рагу и личинцу, он помотал уже пустым винным кувшином, — в рагу было много красного перца, — старуха кивнула девочке головой, и, когда та, схватив кувшин, мелькнула вон из кухни в ее отворенную дверь, в темные сени, где медленно плыли и сказочно вспыхивали светляки, он вынул из-за пазухи пачку папирос, закурил и кипел все так же кратко:

— Внучка?

— Племянница, сирота, — стала кричать старуха и пустилась в рассказ о том, что она так любила покойного брата, отца девочки, что ради него осталась в девушках, что это ему принадлежал этот постоялый двор, что его жена умерла уже двенадцать лет тому назад, а он сам восемь и все завещал в пожизненное владение ей, старухе, что дела стали очень плохи в этом совсем опустевшем городке...

Марокканец, затягиваясь папиросой, слушал рассеянно, думая что-то свое. Девочка вбежала с полным кувшином, он, взглянув на нее, так крепко затянулся окурком, что обжег кончики острых черных пальцев, поспешно закурил новую папиросу и отдельно сказал, обращаясь к старухе, глухоту которой уже заметил:

— Мне будет очень приятно, если твоя племянница сама нальет мне вина.

— Это не ее дело, — отрезала старуха, легко переходившая от болтливости к резкой краткости, и стала сердито кричать:

— Уже поздно, доливай вино и иди спать, она сейчас будет стелить тебе постель в верхней комнате.

Девочка оживленно блеснула глазами и, не дожидаясь приказа, опять выскочила вон, быстро затопала по лестнице вверх.

— А вы обе где спите? — спросил марокканец и слегка сдвинул феску с потного лба. — Тоже наверху?

Старуха закричала, что там слишком жарко летом, что когда пет постояльцев, — а их теперь почти никогда пет! — они спят в другой нижней половине дома, — вот тут, напротив, — указала она рукой в сени и опять пустилась в жалобы на плохие дела и на то, что все стало

очень дорого и что поэтому поневоле приходится брать дорого и с проезжих...

— Я завтра уеду рано, — сказал марокканец, уже являло не слушая ее. — А утром ты дашь мне только кофе. Значит, ты можешь теперь же счесть, сколько с меня следует, и я сейчас же расплачусь с тобой. — Посмотрим только, где у меня мелкие деньги, — прибавил он и вынул из-под бурнуса мешочек из красной мягкой кожи, развязал, растянул ремешок, который стягивал его отверстие, высыпал на стол кучку золотых монет и сделал вид, что внимательно считает их, а старуха даже привстала со скамьи возле очага, глядя на монеты округлившимися глазами.

Наверху было темно и очень жарко. Девочка отпорила дверь в душную, горячую темноту, в которой остро светились щели ставней, закрытых за двумя такими же маленькими, как и внизу, окнами, лопка вильнула в темноте мимо круглого стола посреди комнаты, отворила окно и, толкнув, распахнула ставни на сплюснутую лунную ночь, на огромное светлое небо с редкими звездами. Стало легче дышать, стал слышен поток в долине. Девочка высунулась из окна, чтобы взглянуть на луну, невидную из комнаты, стоявшую все еще очень высоко, потом взглянула вниз: внизу стояла и, подняв морду, глядела на нее собака, приبلудным шенком забежавшая откуда-то лет пять тому назад на постоялый двор, выросшая на ее глазах и привязавшаяся к ней с той преданностью, на которую способны только собаки.

— Негра, — шепотом сказала девочка, — почему ты не спишь?

Собака слабо взвизгнула, мотнув вверх мордой, и кинулась к отворенной двери в сени.

— Назад, назад! — поспешно шепотом приказала девочка. — На место!

Собака остановилась и опять подняла морду, сверкнув красным огоньком глаз.

— Что тебе надо? — ласково заговорила девочка, всегда разговаривавшая с ней, как с человеком. — Почему ты не спишь, глупая? Это луна так тревожит тебя?

Как бы желая что-то ответить, собака опять потянулась вверх мордой, опять тихо взвизгнула. Девочка пожала плечом. Собака была для нее тоже самым близким, даже единственным близким существом на свете, чувства и помыслы которого казались ей почти всегда понятными. Но что хотела выразить собака сейчас, что ее тревожило нынче, она не понимала и потому только строго погрозила пальцем и опять приказала притворно-сердитым шепотом:

— На место, Негра! Спать!

Собака легла, девочка еще немного постояла у окна, подумала о ней... Возможно, что ее тревожил этот страшный марокканец. Почти всегда встречала она постояльцев двора спокойно, не обращала внимания даже на таких, что с виду казались разбойниками, каторжниками. Но все же случилось, что на некоторых кидалась она почему-то как бешеная, с громовым ревом, и тогда только она одна могла смирить ее. Впрочем, могла быть и другая причина ее тревоги, ее раздражения — эта жаркая, без малейшего движения воздуха и такая ослепительная, полнолуная ночь. Хорошо слышно было в необыкновенной тишине этой ночи, как шумел поток в долине, как ходил, топал копытцами козел, живший на скотном дворе, как вдруг кто-то, — не то старый мул постоялого двора, не то жеребец марокканца, — со стуком лягнул его, а он так громко и гадко заблеял, что, казалось, по всему миру раздалось это дьявольское блеяние. И девочка весело отскочила от окна, растворила другое, распахнула и там ставни. Сумрак комнаты стал еще светлее. Кроме стола, в ней стояли у правой от входа стены, изголовьями к ней, три широких кровати, покрытые только грубыми простынями. Девочка откинула простыню на первой от входа кровати, поправила изголовье, вдруг сказочно осветившееся прозрачным, нежным голубоватым светом: это был светляк, севший на ее челку. Она провела по ней рукой, и светляк, мерцая и погасая, поплыл по комнате. Девочка легонько запела и побежала по.

В кухне во весь свой рост стоял спиной к ней марокканец и что-то негромко, но настойчиво и раздраженно

говорил старухе. Старуха отрицательно мотала головой. Марокканец вздернул плечами и с таким злобным выражением лица обернулся к вошедшей девочке, что она отшатнулась.

— Готова постель? — гортанно крикнул он.

— Все готово, — торопливо ответила девочка.

— Но я не знаю, куда мне идти. Проводи меня.

— Я сама провожу тебя, — сердито сказала старуха. — Иди за мной.

Девочка послушала, как медленно топала она по крутой лестнице, как стучал за ней башмаками марокканец, и вышла наружу. Собака, лежавшая у порога, тотчас вскочила, взвилась и, вся дрожа от радости и нежности, лизнула ей в лицо.

— Пошла вон, пошла вон, — зашептала девочка, ласково оттолкнула ее и села на пороге. Собака тоже села на задние лапы, и девочка обняла ее за шею, поцеловала в лоб и стала покачиваться вместе с ней, слушая тяжелые шаги и гортанный говор марокканца в верхней комнате. Он что-то уже спокойнее говорил старухе, но нельзя было разобрать что. Наконец он сказал громко:

— Ну, хорошо, хорошо! Только пусть она принесет мне воды для питья на ночь.

И послышались шаги осторожно сходящей по лестнице старухи.

Девочка вошла в сени навстречу ей и твердо сказала:

— Я слышала, что он говорил. Нет, я не пойду к нему. Я его боюсь.

— Глупости, глупости! — закричала старуха. — Ты, значит, думаешь, что я опять сама пойду с моими погами да еще в темноте и по такой скользкой лестнице? И совсем нечего бояться его. Он только очень глупый и вспыльчивый, но он добрый. Он все говорил мне, что ему жалко тебя, что ты девочка бедная, что никто не возьмет тебя замуж без приданого. Да и правда, какое же у тебя приданое? Мы ведь совсем разорились. Кто теперь у нас останавливается, кроме нищих мужиков.

— Чего ж он так злился, когда я вошла? — спросила девочка.

Старуха смутилась.

— Чего, чего! — забормотала она. — Я сказала ему, чтобы он не вмешивался в чужие дела... Вот он и обиделся...

И сердито закричала:

— Ступай скорей, набери воды и отнеси ему. Он обещал что-нибудь подарить тебе за это. Иди, говорю!

Когда девочка вбежала с полным кувшином в отворенную дверь верхней комнаты, марокканец лежал на кровати уже совсем раздетый: в светлом лунном сумраке пронзительно чернели его птичьи глаза, черпела маленький, коротко стриженный голова, белела длинная рубаша, торчали большие голые ступни. На столе среди комнаты блестел большой револьвер с барабаном и длинным дулом, на кровати рядом с его кроватью белым бугром была навалена его верхняя одежда... Все это было очень жутко. Девочка с разбегу сунула на стол кувшин и опрометью кинулась назад, но марокканец вскочил и поймал ее за руку.

— погоди, погоди, — быстро сказал он, потянув ее к кровати, сел, не выпуская ее руки, и зашептал: — Сядь возле меня на минутку, сядь, сядь, послушай... только послушай...

Ошеломленная, девочка покорно села. И он торопливо стал клясться, что влюбился в нее без памяти, что за один ее поцелуй даст ей десять золотых монет... двадцать монет... что у него их целый мешочек...

И, выдернув из-под изголовья мешочек красной кожи, трясущимися руками растянул его, высыпал золото на постель, бормоча:

— Вот видишь, сколько их у меня... Видишь?

Она отчаянно замотала головой и вскочила с кровати. Но он опять мгновенно поймал ее и, зажав ей рот своей сухой, цепкой рукой, бросил ее на кровать. Она с яростной силой сорвала его руку и пронзительно крикнула:

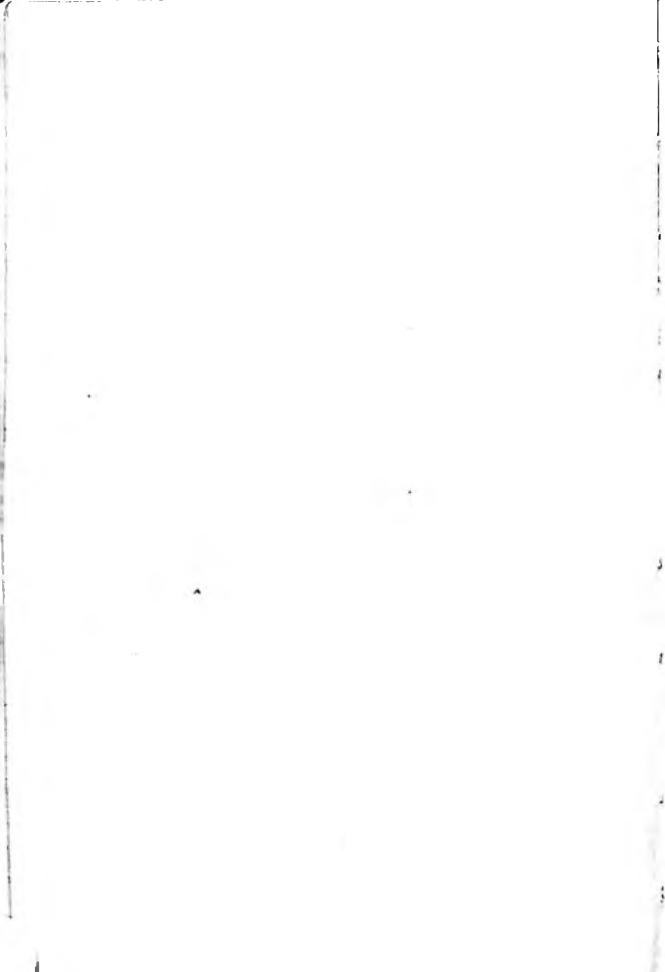
— Негра!

Он опять стиснул ей рот вместе с посом, стал другой рукой ловить ее заголовившие ноги, которыми она, бры-

кался, больно била его в живот, но в ту же минуту услышал рев вихрем мчавшейся по лестнице собаки. Вскочив на ноги, он схватил со стола револьвер, но не успел даже курка поймать, мгновенно сбитый с ног на пол. Защищая лицо от пасти собаки, растянувшейся на нем, обдававшей его огненным псипым дыханием, он метнулся, вскинул подбородок — и собака одной мертвой хваткой вырвала ему горло.

23 марта 1949

РАССКАЗЫ
1931—1952



ИСТОРИЯ С ЧЕМОДАНОМ

Начинается эта ужасная история песело, просто и гладко.

Дело происходит в доброе старое время, однажды весною.

Я молод, беспечен, легковверен, живу в Москве и собираюсь в свое первое путешествие в Турцию, что, конечно, еще больше меня окрыляет, делает особенно легким в решениях, в поступках, в доверии к жизни.

И вот наступает день моего отъезда, я начинаю укладывать вещи, вижу, что мой прежний чемодан слишком мал, истрепан, и отправляюсь в Английский магазин, па Кузнецкий, чтобы купить новый, большой, прочный.

Что такое чемодан? Это ближайший, интимнейший друг человека,— по крайней мере, в дороге,— выбор которого требует, значит, немало ума, расчета, опытного и зоркого глаза, способности многое предвидеть, взвесить, а еще и того, конечно, чтобы, выбирая вещь практично, выбрать вместе с тем нечто такое, что не причинило бы ущерба и эстетическим вкусам, пренебрежение к которым может иной раз сделать самую практичную покупку ненавистной. Что до чемодана, о котором идет

эта повесть, то я купил его совсем ипаче: вне всяких мудрых правил, изложенных выше, без дум и размышлений, с небрежнейшей быстротой, однако ж на редкость удачно. Так, во всяком случае, казалось сначала — и не без оснований: чемодан на первый взгляд был безупречен.

Я до сих пор отлично помню, как произошла эта покупка. Я вошел в магазин бодро, живо, с тем приятным чувством, с каким всегдаходишь в магазин дорогой, богатый и потому спокойный, просторный, красивый, а главное, знакомый, где тебя не только давно знают, но, как кажется, и любят, где продавцы, похожие на людей из хорошей гостиницы, встречают тебя какою-то такой улыбкой, что тебе вдруг делается очень лестно и ты мгновенно становишься фатом, спеша притвориться тем именно светским молодым человеком, держаться которым тотчас заставляет тебя уже одна эта улыбка. Я, помню, отвешая на поклоны, засунув в левый карман пальто пабадашник трости, конец которой торчал у меня за плечом, быстрым шагом прошел по коврам, по разным отделеньям магазина, мельком хвастнул, что уезжаю надолго, далеко, и, войдя в дорожное отделение, кивнул головой на первый попавшийся чемодан прекрасной смуглой кожи, не спросив даже, что он стоит, — только приказав отпратить его вместе со счетом в мой номер в «Доскутной». Я сразу, конечно, заметил, что в своем фатовстве слегка зарвался, — что цена чемодана, когда я об ней узнаю, заставит меня ахнуть. Но эта мысль, это чувство тотчас исчезли в сознание, что такой превосходной вещи у меня еще никогда не бывало, что я могу покрыть эту трату экономией на прочих расходах... Взгляд мой упал на этот чемодан совершенно случайно, но я им сразу восхитился — и даром.

Повторяю: не в пример большинству покупок, столь пленяющих в лавках, а дома, при ближайшем и спокойном рассмотренье, приносящих чаще всего большое разочарование, чемодан оказался и в «Доскутной» вполне достойным восхищенья. В магазине он так поразил меня своими замками, кожей и тем, как он вообще дивно сработан, что я, принужденный сделать до отъезда еще

кое-какие покупки, ужасно торопился как можно скорее воротиться домой, спешил, как на любовное свидание. А он был уже там, в «Лоскутной», как бы ждал моего прихода, спокойно лежа в номере на диване, весь обернутый толстой синей бумагой и увязанный толстой и крепкой бечевкой. Я наконец приехал, вбежал в номер и кинулся к дивану. Я быстро перерезал бечевку, разметал бумагу — и вот мой новый друг и спутник предстал предо мной во всем своем блеске: большой, тяжелый, прочный, ладный, с этим удивительным лоском новой великолепной кожи, с зеркально-белыми замками, благородно-пахучий, атласно-скрипящий... Легко себе представить, с каким чувством я его раскрыл, раскинул, увидел его девственные недра, большой карман темно-красного сафьяна с исподу верхней половины!

Так радовал он меня и всю дорогу до Одессы. Я все время наслаждался чувством своего обогащения, мыслью о том, чем я обладаю. Сажу в вагоне-ресторане за обедом, лечу и мотаюсь, расплескиваю, наливаю красное бордо в низкий и толстый стакан, гляжу на столы, на соседей, на тот веселый, пестрый блеск, что присущ всем вагонам-ресторанам, потом пью кофе и курю жаркую и сладкую сигару, а сам мысленно вижу свое купе с уже раскрытой постелью, лампочку под розовым абажуром на столике возле постели — и его, мою гордость: лежит себе в оттянувшейся сетке, плотно набитый всем мне необходимым, качается и дремлет, мчитя вместе со всеми нами в Киев, в Одессу! Возвратясь в купе после обеда, выпиваю парзану, слегка задыхаюсь от его стекляннно-колющих игловок, раздеваюсь, тушу свет, засыпаю — и опять та же мысль, то же чувство: ночь, вагон, темнота, все летит, рвет, скачет, а он тут, он со мной, в этой сетке... Я чувствовал к нему даже какую-то благодарность!

Ну-с, а затем мы приехали с ним в Киев, пересели в другой поезд, тоже ночной, курьерский, а утром пропустились уже под Одессой, в то время когда весь вагон умывался, одевался, пил чай и кофе, что несли по поезду лакеи... В Одессе мы остановились в «Петербургской», он, то есть чемодан, полежа в вестибюле, а я съездил в парходную контору, потом позавтракал в ресторане «Петербургской» жареной глосью, запивая ее белым вином

крпсти, и, расплатившись по счету и вновь соединившись с чемоданом, поскакал в Карантинную Гавань... Пароход уже готовился к отходу. Он оказался старый, выдавший виды, низкий, с тяжелой кормой, с глубокой посадкой,— значит, подумал я, покойный, не валкий. Был он приятен и тем, что был совсем почти безлюден,— только подъехало в самую последнюю минуту еще два пассажира первого класса, какой-то ксендз и в трауре худая дама, из посольских,— так что в нашем с чемоданом распоряжении оказалась целая большая каюта. Там чемодан лег на верхней койке, а я расположился на нижней. Вскоре после того пошел над нами топот матросов, под бортами зашумело, забурило, послышались свистки, команда, треньканье телеграфа из вахтенной рубки в машину, набережная стала от борта парохода отделяться... На закате мы были уже далеко в море, и я не запомню столь ровного, безмятежного хода, каким шли мы весь вечер, а потом в мягкой тьме морской почти с теплым и все крепнущим ветром. Надыхавшись им на юте, я, часов в десять, был уже в койке и стал погружаться в сладкую дремоту, медленно опускаясь и поднимаясь вместе с нею, валясь то на правый бок, то на левый, временами шумно покрывался целым водопадом вдруг откуда-то ударившей в степу волны, временами же ровно, тихо дрожа на слегка стучащей дрожи работавшей где-то в глубине машины... как вдруг, как раз в ту самую минуту, когда я уж совсем было исчез куда-то, меня вознесло, как на качелях, потом метнуло книзу и оглушило таким громом, что я дико сорвался с койки — в полном убеждении, что пароход падал на что-то, что сейчас в каюту хлынет море, — и получил такой страшный удар в ноги, что ринулся вниз головой, под ревущий умывальник, но, по счастью, не успел его достигнуть, ибо пол за мной внезапно провалился, и я снова покатился к койке, снова настигаемый каким-то громом... И пошла, пошла потеха!

Дело было ясно: страшная качка! Но этот гром, грохот? Этот удар в ноги? Чем это меня так хватило? Страшней всего было мгновенное ожидание нового удара, пока я катился к койке. Тут я, однако, изловчился, упал в койку грудью и, поймав на переборке какую-то кнопку, осветил каюту. Что ж оказалось? В шуме волн, в свисте

ветра, в скриле переборок, по полу бешено летающей каюты носится что-то живое! Да, живое, живое! Что? Но чемодан, конечно! Это он оглушил меня громом, брякнувшись с верхней койки об пол, потом чуть не перебил мне ноги... Теперь, на свободе, он носился по каюте как угорелый. Он точно мстил кому-то за всю ту покорность, с которой он должен был лежать всю дорогу в сетках, притворяться моей вещью, бездушным чемоданом. Он вдруг ожил и бесовски разыгрался: гладкий, скользкий, тяжелый, как булыжник, набитый мной до круглоты, до отказа, как гонорят нынче, он, в диком и резвом веселье, то мчался на меня, на койку и бил лбом в пожку койки, то, подпрыгнув, кубарем летел под умывальник, а оттуда к двери, а от двери под иллюминатор... Умывальник, мотался, как пьяный, задыхался, отчаянно ловил своей дырой воздух, клокотал и захлебывался ревом, переборки трещали, скрипели, иллюминатор то и дело падал своим черным стеклом в налетающие волны, которые, взвиваясь, били в него густой, мутной слюной, текли ее мерзкими разводами, кружевами, а чемодан стервенел все больше и больше, ничуть себя не жалея, драг свою дивную кожу, с яростью бился замками и углами обо что попало... Надо было немедленно кинуться на этого безумца, подмять под себя, притиснуть к полу, забить под койку! И вот я опять сорвался с койки и упал на него всем телом. Но тут пол за мной опять рухнул, впереди же встал дыбом — и чемодан быстро выскользнул из-под моего тела, крепко дал мне в темя и, крутясь, грохоча, сам полесся под койку. Я мгновенно перевернулся и уже готов был вбить его туда одним ударом, но он вдруг подпрыгнул, как мячик, взвился и понесся к двери, а я угодил как раз туда, куда его метил, — под железную сетку койки, страшно ободравшую мне плечи.

Продолжать ли рисовать эту глупую битву? Ей не было конца и края. Я тоже потерял рассудок, тоже остервенился. Сперва я еще думал, что все это только игра моего воображения, — что чемодан мне только показался живым, одушевленным; я сначала испугался лишь корыстно, — того, что он весь изобьется, обдерется, кинулся к нему, в сущности, на помощь, чтобы облегчить

ему возможность где-нибудь приткнуться, задержаться... Но нет, он вовсе не был лишь игрушкой, забавой воли и ветра, бессмысленной вежью, безвольно вверх и вниз летавшей вместе с каютой! Он, видимо, сознательно был счастлив всем этим адом качки, давшей ему столь чудесный случай сорваться на пол и пуститься в свои беснованья, раззадорить меня ими, повлечь в схватку и начать нещадно гвоздить по чем попало. И если б кто видел, сколь он оказался ловок, прыток, изворотлив, как метки и ужасны были все его удары, какой умной, сильной, злобной тварью он вдруг объявился! Но ведь и я был не из таковых, что сдаются сразу. Я бился не на живот, а на смерть, руками и ногами, — и порой награждал его такими тумаками, что он, невзвидев света, взвивался чуть не на умывальник, у которого все больше выворачивало душу от морской болезни. Я скрежетал зубами, — о, если бы помощь! Но кто же мог помочь мне? Кричать — верх позора, да и кто бы отозвался? Не спали лишь там, на вахте! Я задыхался, обливался потом, катаясь по каюте в самом постыдном, растерзанном виде, молил бога о кинжале: о, если б кинжал — с каким упоением я всадил бы его в бок этой твари! Но какой кинжал, откуда? Да и что ему кинжалы!

Кончилось все же моим бегством. «Будь ты проклят! — крикнул я ему под утро. — Носись, взвивайся, грохочи тут сколько хочешь!» — И, кое-как одевшись, выскочил вон из каюты.

Наверху был холод, лед, пустыня, буря, палубу то и дело крыло пенными и шумными хвостами крепко пахнущего мокрым бельем моря. Я жадно хватал грудью свежий воздух, стоял, мотался, ухватясь за притолоку рубки. Уже стихало и светало. Борт передо мной летел в лиловеющее облачное небо, а небо куда-то прочь, в бездну, потом вдруг открывалась и отвесно неслась прямо на меня равнина моря, — зелено-седого, изрытого ухабами, горами, с которых дымом, метелью гнало пыль пены. Я метнулся из рубки на холодный ветер или, говоря поэтичней, в ледяные крылья бури — и, с безобразно вздутым картузом, в один зигзаг перелетел к юту, ют в тот же миг взвился вверх своим широким задом, все остальное, вся та неуклюжая тяжесть, что была впереди, подо

мною,— палуба, рубка, труба и отчаянно вопиющие спасти,— повалилось к носу, поклонилось морю и по плечи, по горло, с мучительным наслаждением, в него погрузилось, и я увидел, как мала и несчастна наша старая черпал баржа в этом огромном и дико-пустынном водном круге, высоко затоплявшем горизонты, охваченном лохматым небом. Но что мне было до всей этой картины! Я, видя, что все-таки стихает, что близится утро, стискивал зубы, бормотал злорадно, сладострастно (чемодану, конечно):

— Ну, погоди, погоди же!

А в сущности, что я мог ему сделать?

ПРЕКРАСНЕЙШАЯ СОЛНЦА

— Смерть, где жало твое? Воспомним, что сказала Она, прекраснейшая солища, возлюбленному своему, представ ему в ту самую почь, когда предали Ее тело могиле: не плачь обо мне, ибо дни мои через смерть стали вечны; в горнем свете навсегда раскрылись мои вежды, что, казалось, навсегда смежились на смертном моем ложе...

— В лето господне тысяча триста двадцать седьмое сеньор Франческо прибыл в город Авиньон в Провансе, в числе многих прочих, следовавших в изгнание за святейшим престолом. Через год же после того случилось, что он встретил на пути своей юной жизни довью Лауру и полюбил Ее великой любовью, приобщившей Ее к лику Беатриче и славнейших женщин мира. В тот год, в шестой день месяца апреля, в пятницу страстной недели, слушал он утреннюю службу в церкви Сэн-Клэр, в Авиньоне; и вот, когда, отстояв службу, вышел из церкви на площадь, глядя на других выходящих, то увидел довью Лауру, дочь рыцаря Одибера, юную супругу сеньора Уго, коего достойный, но обычный образ не удержался в памяти потомства.

Он увидел ее в ту минуту, когда она показалась в церковном портале,

— Та весна была в его жизни двадцать третьей, в Ее — двадцатой. И если обладал он всей красотой, присущей юным летам, пылкому сердцу и благородству крови, то Ее юная прелесть могла почитаться небесной. Блаженны видевшие Ее при жизни! Она шла, опустив свои черные, как эбеи, ресницы; когда же подняла их, солнечный взор Ее поразила его навеки.

Шестой день того апреля был сумрачный, дождливый, один из тех, каких всегда бывает немало ранней весной в Авиньоне, было и в то время, которое называется теперь древним и в котором все кажется прекрасным: и весеннее ненастье, и старый каменный город, потемневший под дождями, все его стены, церкви, башни и холодная грязь узких улиц, и все люди, шедшие в них посередине, и вся их жизнь, весь быт, все дела и чувства.

— Это было в час крестной смерти господина нашего Иисуса, когда само солнце облекается в ретищем скорби.

На страницах Вергилия, своей любимейшей книги, с которой он никогда не расставался, которая всегда лежала у его изголовья, он, в старости, пишет:

— Лаура, славная собственными добродетелями и воспетая мною, впервые предстала моим глазам в мою рапную пору, в лето господне тысяча триста двадцать седьмое, в шестой день месяца апреля, в Авиньоне; и в том же Авиньоне, в том же месяце апреле, в тот же шестой день, в тот же первый час, лето же тысяча триста сорок восьмое, угас чистый свет Ее жизни, когда я случайно пребывал в Вероне, улы, совсем не зная о судьбе, меня постигшей: только в Парме постигла меня роковая новость, в том же году, в девятнадцатый день мая, утром. Непорочное и прекрасное тело Ее было предано земле в усыпальнице Братьев Меноритов, вечером в день смерти; а душа Ее, верю, возвратилась в небо, свою отчизну. Дабы лучше сохранить память об этом часе, я нахожу горькую отраду записать о нем в книге, столь часто находящейся перед моими глазами: должно мне знать твердо, что отныне уже ничто не утешит меня в земном мире. Время покинуть мне его Вавилон. По милости божьей, это будет мне нетрудно, памятуя суетные заботы, тщетные надежды и печальные исходы моей протекшей жизни...

Пишут, что в молодости он был силен, ловок, голову имел небольшую, круглой и крепкой формы, нос средней меры, тонкий, овал лица мягкий и точный, румянец нежный, но здоровый, темный, цвет глаз карий, взгляд быстрый и горячий. «Уже был он известен своим высоким талантом, умом, богатством знаний и неустанными трудами. Уже был одержим той беспримерной любовью, что сделала его имя бессмертным. Но жил, вместе с тем, всеми делами своего века, отдавал свой гений и на создание всех благих его движений; в обществе отличался расположением к людям, прелестью в обращении с ними, блеском речи в беседах...»

Портрет в Авиньоне изображает его в зрелые годы: капиталистские лаиры, которыми он был коронован, как величайший человек своего века, благородный флорентийский профиль, взгляд, полный мысли и жизни...

В старости он пишет:

— Уже ни о чем не помышляю я ныне, кроме Нее: пусть же торопит Она нашу встречу в небе, влечет и зовет меня за собой!

Но пишет и другое, — в письме к одному другу:

— Я хочу, чтобы смерть застала меня за книгой, с пером в руке, или, лучше, если угодно богу, в слезах и молитве. Будь здоров и благополучен. Живи счастливо и бодро, как подобает мужу!

Через несколько месяцев после этого письма, 20 июня 1374 года, в день своего рождения, сидя за работой, он «вдруг склонился, уронил голову на свое писанье».

Тот день, когда они впервые увидели друг друга, был роковым и для нее:

— Было и Ее сердце страстно и нежно; но сколь непреклонно в долге и чести, в вере в бога и его законы!

— Владычица моя, Она прошла мимо меня, одиноко сидевшего в сладких мыслях о моей любви к Ней. Дабы приветствовать Ее, я встал, смиренно склоняя перед Ней свое побледневшее чело. Я трепетал; Она же продолжала свой путь, сказавши мне несколько ласковых слов.

Двадцать один год он славил земной образ Лауры; еще четверть века — ее образ загробный. Он считал, что за всю жизнь видел ее, в общем, меньше года; но

и то все на людях и всегда «облеченную в высшую строгость». Все же вспоминает он и другое:

— И Она побледнела однажды. Это было в минуту моего отъезда. Она склонила свой божественный лик, Ее молчанье, казалось, говорило: зачем покидает меня мой верный друг?

Внешне он жил в радостях и печалах простых смертных; знал и женскую любовь, тоже смертную, простую, не мешавшую другой, «бессмертной», имел двух детей. Имела и она их, супругой была верной и достойной. «Но душа Ее всю жизнь ожидала загробной свободы — для любви Ее к Иному...»

Черная чума 1348 года, в несколько недель поразившая в Авиньоне шестьдесят тысяч человек, поразила и ее. В темный вечер, при смоляных факелах, своим бурным, трещащим пламенем «разгонявших заразу», люди в смоляных балахонах, с прорезами только для глаз, похоронили ее там, где она за три дня до смерти завещала. Ночью же душа ее, наконец обретшая свободу для своей любви «к Иному», поспешила к нему на первое свиданье:

— Ночь, последовавшая за этим зловещим днем, когда угасла звезда, сиявшая мне в жизни, или, точнее сказать, вновь засияла в тебе, ночь эта начинала уступать место Авроре, когда некая Красота, столь же дивная, как и Ее земная, коронованная драгоценнейшими алмазами Востока, встала предо мной. И, нежно вздыхая, подала мне руку, столь долго желанную мною; узнай, сказала Она, узнай ту, что навсегда преградила тебе путь в первый же день ее встречи с тобою; узнай, что смерть для души высокой есть лишь исход из темницы, что она устрашает лишь тех, кои все счастье свое полагают в бедном земном мире...

В Парижской Национальной библиотеке хранится манускрипт Плиния, принадлежавший Петрарке. На одной странице этого манускрипта сделан рукой Петрарки рисунок, изображающий долину Воклюза, скалу, из которой бьет источник, на вершине скалы — часовню, а внизу — цаплю с рыбой в клюве; под рисунком его подпись по-латыни: «Заальпийское мое уединение».

В этой долине, недалеко от Авиньона, было его скромное поместье.

Где жила когда-то, в этом столь глухом теперь, старом и пыльном Авиньоне Лаура? Будто бы возле пышной мэрии, в улочке Доре. Погребена она была в церкви Братьев Мепоритов, в одной из капелл. Но в какой? Церковь эта разрушена в революционное время, полтора века тому назад; известно, однако, что в ней было две капеллы — Святого креста и Святой Анны. В которой из них была ее гробница? Полагают, что в последней, так как она была сооружена ее свекром, синьором де Саде. В 1533 году король Франциск Первый, проезжая Авиньон, приказал вскрыть полуразрушенную гробницу, находящуюся в этой капелле, убежденный горожанами Авиньона, что именно в ней покоятся останки Лауры. В гробнице оказались кости. Но чьи? Точно ли Лауры? Имени, написанного на гробнице, прочесть было уже невозможно.

Авиньон, апрель, 1932

«ОСТРОВ СИРЕН»

На Капри есть «Лазурный грот», на Капри в древности жил Тиверий, а в прошлом веке Крупп, знаменитый своими пушками и некоторыми деяниями, в которых он подражал Тиверии и которые заставили его в конце концов прибегнуть к самоубийству... Вот, кажется, все, что общезвестно о Капри.

Некоторым известно еще то, что был этот дивный остров когда-то под властью варваров, потом греков, норманнов... Историки и археологи вспомнили о нем сравнительно недавно. Они нарушили его вековую тишину, покой, начали раскопки и великое расхищение его античных ценностей. Ценности эти оказались лежащими в каприйской земле чуть не на каждом шагу: крестьяне, в виноградниках которых то и дело находили их, все отдавали кому попало, за гроши, позволяли вывозить целыми барками... Затем — это было всего сто лет тому назад — какой-то немецкий поэт случайно открыл в скалистых обрывах северного берега Капри грот, столь волшебнически освещаемый солнцем и волнами, проникающими в него, что Капри сразу стал известен всему миру, как «истинно обетованная страна всех живописцев и любителей Натуры», непрестанное и многолюдное паломничество которых на «божественный остров» уже никогда не прекращалось

с тех пор, невзирая на полную дикость острова в смысле даже малейших удобств жизни на нем и на сообщение между ним и Неаполем лишь на парусных лодках; только уже долго спустя открылась на Капри первая гостиница и соединило его с Неаполем пароходное сообщение. Сообщение это было даже и до нашей поры крайне убогое, но из года в год доставляло на Капри великое множество путешественников со всех концов света...

Чтобы представить себе Капри, надо прежде всего вообразить себя в Неаполе, посреди лукоморья, полу-круга огромного Неаполитанского залива, с гористыми берегами влево, с городками, белеющими вдоль их подножья, и громадой Везувия. Прямо перед Неаполем, в заливе, как бы тают в водной сини два высоких острова: Искья и Капри.

Капри «поднимается из лона морского подобно лежащему сфинксу» или затонувшему кораблю, как говорят другие. Байрон сравнил Капри с волной, гонимой бурей. Но, если говорить проще, это гигантская скала, торчащая из моря, дикая на вид и местами совершенно отвесная, хребет которой образует почти посередине своей глубокую седловину, давшую приют маленькому городку Капри, его оливковым садам и виноградникам. Над страшной стремниной того каприйского берега, что обращен к востоку, к материку Италии, к мысу Минервы, до сих пор сохранились следы дворца Тиверия, и обрыв этот так и называется: Монте Тиберио. А западная часть острова увенчана скалистой горой (Монте Соляро), на половине высоты которой висит другой городок, Анакапри. Что древнее — Капри или Анакапри — неизвестно. Страбон говорит, что оба эти города существовали с незапамятных времен, так что, может быть, самое название острова происходит от финикийского слова Капраим, что значит: два города.

Южный скат каприйской седловины называется Пиккола Марина, северный — Марина Гранде. Пароходик, идущий из Неаполя до Капри часа два довольно быстрым ходом, пристает к последней. По мере приближения к острову путешественник все больше поражается цветом воды: цвет этот — некое подобие яркого драгоценного камня, какого-то дивного сплава купороса и индиго,

Затем видишь небольшой залив, а на его берегу каменистый рыбацкий поселок, первобытный, живописный в своей итальянской грубой старине. От этого поселка можно подняться в седловину острова, в городок Капри, двумя путями: прямо, по крутому отвесу фуникулера, или же по извивам шоссеиной дороги среди виноградников. Начало этого пути проходит по тому месту, где город Капри стоял в древности, мимо византийской церковки св. Констанцо, существующей полторы тысячи лет и очаровательной своей убогой простотой, бедностью, хотя и украшенной внутри античными порфировыми колоннами. А из седловины, из улочек Капри можно любоваться сразу двумя морями: с одной стороны — Неаполитанский залив, Иския, Исаполь, с другой — открытое море, идущее вплоть до берегов Африки.

Когда подплываешь к Капри, указывают то на Монте Соляро, — там, на самой вершине, чудесно рисуются в небе развалины Замка Барбароссы («орлиное гнездо туниского корсара, некогда предавшего огню и мечу всю Неаполитанскую область и Капри»), — то на те места возле пристани, где стоял летний дворец Августа. А в путеводителе найдешь и кое-что из истории Капри: греки называли Капри «Остров Сирен» и учредили на нем поклонение этим милым и коварным морским существам; со времени римлян он получил другое имя, — Капрел, то есть Козий остров; Август посетил его, возвращаясь из сицилийского похода, и был так пленен им, что выменял его у неаполитанских греков на остров Искью. Смотря на Монте Соляро и на Апакапри, видишь и знаменитую «финикийскую лестницу», ведущую к Апакапри вправо от пристани: это чуть не тысяча каменных ступеней, высеченных почти отвесно в скалах (именно будто бы финикийцами, которые считаются самыми первыми владельцами острова). Теперь в Апакапри можно подняться довольно легко — по извивам шоссеиной дороги. Но апакаприйцы все еще предпочитают ей свою каменную лестницу. Это вообще очень странный народ: с глубокой древности жили и живут они необыкновенно замкнутой жизнью, совсем отдельной даже от жизни каприйцев, почти не общаясь с ними, говоря на своем собственном

паречии; среди них до сих пор есть старики и старухи, отроду никогда не бывавшие в городке Капри.

Поднявшись от пристани на извозчика или по фуникулеру, выходишь на маленькую площадь, где стоит старинная башенка с часами и гербом испанской династии. Она стоит на самом краю площади, над глубоким обрывом, и отсюда открывается один из самых славных видов в мире, — на Неаполитанский залив, на Неаполь. Поглядев туда и повернувшись лицом к городку, пересекаешь площадь, вступаешь в узкую улочку, упирающуюся в богатый отель, когда-то построенный Крупном и подаренный им одному из своих слуг, потом идешь влево и выходишь на Виа Трагара, на дорогу, выходящую по южным обрывам острова. Тут сперва проходишь мимо пещерной долины, лежащей справа от тебя, за отелем, и сходящей к морю; в ней, на месте другого дворца Августа, зимнего, среди кустарников и оливковых деревьев, высится огромный остов уже давно пустующего шестисотлетнего картезианского монастыря, его древняя, крытая бурой черепицей церковь, стены келлий, внутренний двор, заросший дикими розами и бурьянами. Далее все еще более дико и прекрасно: с одной стороны — блеск солнца и южного моря, с другой — южная пустынь скал и непролазность кустарников, поднимающихся стенами в небо. Какой-нибудь мальчишка, привязавшийся к тебе на этой дороге, заунывным бормотанием перечисляет ее достопримечательности: три скалистых островка, стоящих возле побережья, всем известных по Беклину, Арку Натурале, грот Митры, где Тиверий будто бы приносил человеческие жертвы, и множество других гротов, известных чудесной разностью своих красок: в одном все кажется золотисто-желтым, в другом переливается прозрачно-зеленый свет, в третьем подводные растения озаряют стены чем-то вроде пурпурного пламени...

Тивериева дорога, идущая из городка Капри параллельно этой, только не по обрывам гор, а по вершинам, приводит к самому знаменитому месту острова, — к местожительству Тиверия. Тут все подымаешься, идешь по крутому плоскогорью, среди ферм, вилл и виноградников. Сады, цветы, кипарисы, пионы... Кое-где ступени, высеченные еще при Августе в скалистой почве, кос-

где — стертые колес каменной дороги, по которой «рабы когда-то носили на носилках Тиверия»... Развалины его жилища огромны. Остров тут обрывается над морем совершенно отвесно, глубочайшей бездной. На самом обрыве — остатки малка, который считался в древности одним из самых больших и ярких в мире и освещал мореходам путь чрезвычайно опасный, ибо это море есть довольно узкий пролив между Капри и материком. Ближе — самые развалины. Высота, пустыня, солнце, небо, шум солнечного ветра в диких травах и в развалинах. Развалины — целый лабиринт комнат и галерей. Уцелели своды и стены первого этажа и подземелья под ним. Центром дворца был перистиль, окруженный колоннадой и частными покоями Цезаря, — кое-что из всего этого тоже сохранилось... Каков был при Тиверии атриум его? Мраморный потолок, в квадратных углублениях которого — бронзовые розетки, края сводов окаймлены бронзой. Стены покрыты полированной киноварью и украшены рельефами из алебаstra, представляющими Крылатых Побед в легких, развевающихся туниках, с пальмовыми ветвями в руках, а равно и другими рисунками: в кругах, на синем поле — трагические и комические маски, людские страсти и заблуждения. К каменным пилястрам ципета слоновой кости и старого золота прислонены трофеи — громадные костяки допотопных животных и оружие древних, баснословных героев. Среди трофеев, на бронзовых подставках, — драгоценные коринфские вазы, которые Август всю жизнь собирал с великой любовью и вкусом. Пороги входов — из белого мрамора и блестящего египетского гранита, по завесы этих входов из грубого полотна. И вот, откинув их, входящий видел после яркого солнца легкую тень атриума, этот мраморный потолок, полированную киноварь стен, трофеи, костяки, вазы, узорчатый мозаичный пол, в глубине же — статую Августа, обожествленную атрибутами Юпитера, перед ней — полукруглый алтарь простого этрусского стиля из белоснежного мрамора, стол для приношений, покрытый белым покрывалом, вышитым по краям узором из листьев, бронзовый треножник для священного огня... В этих стенах, где некогда шуршали осторожные шаги рабов и царедворцев, звучали лидийские флейты и звенел смех

прекрасных наложниц, нылче укрывается от дождей и бурь скот каприйских крестьян...

Светоний говорит, что в молодости Тиберий был красив, имел орлиный нос и большие глаза, которые могли будто бы видеть даже в темноте, высокий рост и крепкое сложение,— плечи и грудь широкие, части всего тела соразмерные,— силу же такую, что мог щелчком пробивать темя взрослого человека; только он и в молодости был малоприветлив и приятен: ходил, склонив голову вбок, угрюмо и молча, а когда говорил, то медленно и трудно расставлял слова, помогал своей речи движением правой руки; и этому описанию Светония довольно соответствует статуя молодого Тиберия в ватиканском музее: он сидит твердо и прямо, со скипетром в руке; переносица тонка, остра, отчего глазные впадины кажутся глубокими и придают лицу выражение ястреба... В дворце на Капри сидел человек, уже весьма мало похожий на этого.

Он навсегда покинул Рим в двадцать шестом году от Р. Х., чтобы последние одиннадцать лет своей жизни прожить почти сплошь на Капри,— в полном соответствии с предсказаниями звездочетов. Весь остров был в то время сплошным садом, покрыт камешным дубом, любимым деревом Августа; с уступов гор всюду сходили к морю высеченные в скалах террасы; водопроводы были проложены на арках и доставляли дождевую воду в нимфей, украшенные мраморными и бронзовыми статуями; климат острова, его бальзамический воздух славились своим здоровьем, что на деле доказывали и еще доселе доказывают столетние каприйские старцы; сказочно было каприйское обилие всякой птицы, рыб, устриц, омаров; вина каприйские были превосходны... Выбор Тиберия остановился на Капри и по этим причинам и потому, что остров напоминал ему Грецию, больше же всего по-другому: Капри был неприступен, высадиться на нем было трудно, а миновать стражу невозможно, и цезарь, с высоты своего убежища, всегда видел не только все, что творилось на острове, но и все корабли, шедшие мимо острова во всех направлениях... «Был же он весьма стар в ту пору, а в уединении, в свободе для своего великого разврата и злодейства и в неприступности самой

падежной пуждался, как пикто на земле...» Он был страшен в эту пору: «Лицо его покрылось язвами, залеплено было пластырями; глаза глубоко провалились; губы, подбородок отяжелели; шея раздулась как бы от какого-то неведомого яда; дыхание стало тлетворно; зрение и слух ослабели; речь доставляла ему теперь труд уже крайний, медлительный, упорный... и единой радостью его жизни сделалась только алчность...»

Перед смертью он отправился в Рим. По пути остановился в Тускулуме, — испугался: любимая змея, которую он всегда возил с собою, была съедена муравьями. Из Тускулума повернул обратно, на Капри. Но тут его задержали буря и болезнь. Он остановился на Пицеском мысе. И за вечерней трапезой вдруг потерял сознание. Его окружали Макрон, Калигулла, Друзилла и врач Харикл. Друзилла связла с бесчувственного Цезаря знак его божественной власти — драгоценную гемму, перстень Диоскорида, — и вручила Калигулле. Цезарь очнулся, спросил косноязычно: «Где перстень?» Калигулла трясся от страха. Макрон бросил на лицо Цезаря одеяло и быстро задушил его.

<1932>

ЖИЛЕТ ПАНА МИХОЛЬСКОГО

Было это в Киеве, в сороковых годах прошлого века, и рассказывалось многим киевлянам самим паном Михольским, а нам пересказано писателем Ясинским.

Пан Михольский задумал жениться. Был он тогда еще очень молод, но уже довольно разумен, тяготел к обществу людей солидных и светских, невесту выбрал себе хорошепскую и с приданым, все приготовления к свадьбе совершал обстоятельно, прилично. А так как одна из основ приличной жизни заключается в приличной экипировке, то пан Михольский решил приехать перед свадьбой из своего глухого уезда в Киев, дабы нашить себе панталон, сюртуков, фраков и жилеток по самой последней моде. Так он и сделал — приехал и экипировался на славу, пользуясь советами некоторого графа, знавшего и протектировавшего молодого провинциала. Перед отъездом же из Киева обратно, в свой родной город, зашел однажды пан Михольский к графу с намерением приятно провести вечер и застал его в больших заботах по самому тщательному туалету. Пан Михольский смутился, стал извиняться:

— Ах, простите, любезный граф! Вы, кажется, в сборах куда-то...

— Да, — сказал граф, — еду к Юзефовичу в Липки. Пригласил в гости и притом на весьма важную персону.

— Что же это за персона? — спросил пап Михольский.

— Некто Гоголь, писатель.

— А, знаю, читал его вещички.

— А я, — сказал граф, — только слышал, будто он пишет, читать же мне его не доводилось. Что ж он, хорошо пишет?

— Да недурно, — ответил пап Михольский, — только уж больно обыденно: нет, знаете, полсту, байро-низму...

— А все-таки надо ехать, — сказал граф, вздыхая. — Во-первых, нельзя мажорировать приглашением такого лица, как Юзефович, а во-вторых, и сам этот Гоголь: он, оказывается, в большой милости у государя.

Пап Михольский насторожился:

— Да что вы? Ну, знаете, это очень меняет дело. Я бы и сам был не прочь взглянуть на такую знатную личность.

— А раз не прочь, то и взгляните. Едем со мной в Линки.

— Помилуйте, как же так? Целовко...

— Пустяки! Юзефович радушнейший хозяин. Я вас ему представляю. Едем!

И вот граф и пап Михольский в Линках. А там уже целая ассамблея, тайный трепет, ожидание высокого гостя. Давно готов чайный стол на балконе, толпятся, тихо переговаривались, прочие гости, — все больше профессора Киевского университета в новеньких мундирах, — хозяин то и дело выбегает взглянуть, не едет ли Гоголь. Но проходит час, другой — Гоголя все нету. Наконец бежит дворецкий: приехал! Хозяин кидается навстречу, профессора одергивают фалды, выстраиваются в ряд, опускают по швам руки... И вот тут-то и происходит то, о чем столько раз повествовал впоследствии пап Михольский приблизительно в таком роде:

— Как сейчас помню, этот самый Гоголь шел впереди почтительно следовавшего за ним хозяина, не спеша и глядя несколько вкось, исподлобья. У него был длинный нос, длинные прямые волосы. На нем был сюртук темного граната и темно-зеленая жилетка, по кото-

рой краснели мушки и глазки и ярко блестели желтые пятна. Все мы низко перед ним склонились, он же вдруг остановился и, не отвечая на поклоны, стал глядеть на одну мою особу. Хозяин рекомендует:

— Профессор такой-то... Профессор такой-то...

Он пачкает легонько кивать головой, бормочет:

— Весьма приятно... душевно рад во всех смыслах...

Затем хозяин предлагает ему сесть к столу и откусать. Но он брезгливо смотрит на чай, на закуски, морщится от заходящего солнца. Хозяин делает поспешный знак какому-то молодому человеку, тот еще поспешнее кидается к краю балкона и загоразивает собой Гоголя от солнца. Но Гоголь и на это не обращает внимания, за стол не садится, а все продолжает глядеть на меня, точнее сказать, на мою грудь, в тот день украшенную одной из моих новых и лучших жилеток: жилетка эта была тоже весьма нарядна, только походила не на шкурку лягушки, как у столичного гостя, а на шкурку хамелеона.

— Мне сдается, — молвил он наконец, шурясь, — мне сдается, что я вас где-то уже видел.

Я хочу ответить, что, кажется, не имел такого счастья, но хозяин так сердито грозит мне из-за его спины пальцем, что у меня прилипает язык к гортани. А Гоголь продолжает (и все не без яду):

— Да, я вас где-то видел. Не скажу, чтобы ваша физиономия памятна мне живо, но тем не менее я вас видел. Видел же я вас в каком-то трактире, вы там лакомились луковым супом.

Что мне было делать? Это было уже обидно, но я, конечно, только клапаясь и ничего не возражаю. Гоголь же снова погружается в молчание, задумчиво глядя на разводы моей жилетки. Затем вдруг подает хозяину руку, делает общий поклон всем прочим и направляется к двери. Хозяин поражен как нельзя больше, по удерживать его, конечно, не смеет. Гоголь уходит, как-то неловко передвигая ноги в узких серых панталонах на широких штрипках, а хозяин растерянно бежит за ним следом, клапается ему в спину...

Тут, в заключение своего рассказа, пап Михольский всегда хитро усмехался.

— Скажите же мне теперь,— говорил он,— как объясните вы себе столь странное поведение Гоголя в Липках? Что такое происходило в его натуре?

Ему на это отвечали:

— Да кто же может знать натуру такого человека? Может быть, ему мелькнула какая-нибудь чудная идея, встала в воображении резкая фигура...

Но пап Михольский мотал головою:

— Да нет же! Ни то, ни другое. Ларчик открывался просто: Гоголь позавидовал на мою жилетку! Да, да, честное слово! Если бы граф не привез меня в Липки, то Гоголь и чай бы кушал и беседовал со всеми прочими гостями. Но случилось так, что я, совершенно невольно, отравил ему жизнь своей жилеткой.

— Но послушайте: разве это возможно?

— Да вот оказалось, что вполне возможно, а доказательства тому вот какие. На другое утро прибегает ко мне в отель портной-еврейчик, у которого я делал эту жилетку, последнюю в своем роде, ибо бархата такого рисунка в городе больше не оставалось, и чуть не падает мне в ноги:

— На милость бога, дайте мне, пап, вашу жилетку! Уступите за какие угодно деньги! Это же чистое наказание, что такой жилетки нигде в Киеве больше не достанешь! Приехал один важный господин из столицы и купил у Гросса жилетку, а теперь увидал вашу и кричит, что непременно подавай ему в точь-точь такую же, как ваша!

Я соображаю, в чем дело, и отвечаю:

— А как фамилия того господина?

Портной пожимает плечами:

— А я знаю? И зачем вам его фамилия?

А я уже ясно вижу: ну конечно, это Гоголь! И твердо отвечаю:

— Нет, не продам я тебе жилетки ни за какие деньги! Он хоть и Гоголь, а такой жилетки у него нет и не будет! Я, брат, спою жилетку выше всяких его «Мертвых душ» ставлю!

МОЛОДОСТЬ И СТАРОСТЬ

Прекрасные летние дни, спокойное Черное море.

Пароход перегружен людьми и кладью,— палуба загромождена от кормы до бака.

Плавание долгое, круговое — Крым, Кавказ, Апатонийское побережье, Константинополь...

Жаркое солнце, синее небо, море лиловое; беспечные стоянки в многолюдных портах с оглушающим грохотом лебедек, с бранью, с криками капитанских помощников: майпа! вира! — и опять успокоение, порядок и неторопливый путь вдоль горных отдалений, зпойпо тающих в солнечной дымке.

В первом классе прохладный бриз в кают-компании, пусто, чисто, просторно. И грязь, теснота в орде разноплеменных палубных пассажиров возле горячей машины и пахучей кухни, на парах под навесами и на якорных цепях, на канатах на баке. Тут всюду густая вонь, то жаркая и приятная, то теплая и противная, но одинаково полнующая, особая, пароходная, мешающаяся с морской свежестью. Тут русские мужики и бабы, хохлы и хохлушки, афонские монахи, курды, грузины, греки... Курды, — вполне дикий народ, — с утра до вечера спят, грузины то поют, то парами пляшут, легко подпрыгивая, с кокетливой легкостью откинув широкий ру-

как и плывя в расступившейся толпе, в зад бьющей в ладоши: таш-таш, таш-таш! У русских паломников в Палестину идет без конца чаепитие, длинный мужик с обвисшими плечами, с узкой желтой бородой и прямыми волосами вслух читает Писание, а с него не спускает острых глаз какал-то вызывающе независимая женщина в красной кофте и зеленом газовом шарфе на черных сухих волосах, одиноко устроившаяся возле кухни.

Долго стояли на рейде в Трапезунде. Я съездил на берег и, когда воротился, увидел, что по трапу поднимается целая полая ватага оборванных и вооруженных курдов — свита идущего впереди старика, большого и широкого в кости, в белом курпее и в серой черкеске, крепко подпоясанной по тонкой талии ремнем с серебряным набором. Курды, плывшие с нами и лежавшие в одном месте палубы целым стадом, все подплыли и очистили свободное пространство. Свита старика настелила там множество ковров, наклала подушек. Старик царственно возлег на это ложе. Борода его была бела как кипень, сухое лицо черно от загара. И необыкновенным блеском блестели небольшие карие глаза.

Я подошел, присел на корточки, сказал «селям», спросил по-русски:

— С Кавказа?

Он дружелюбно ответил тоже по-русски:

— Дальше, господин. Мы курды.

— Куда же плывешь?

Он ответил скромно, по гордо:

— В Стамбул, господин. К самому падишаху. Самому падишаху везу благодарность, подарок: семь нагаск. Семь сыновей взял у меня на войну падишах, всех, сколько было. И все на войне убиты. Семь раз падишах меня прославил.

— Це, це, це! — с небрежным сожалением сказал стоявший пад нами с папирсой в руке молодой полпеющий красавец и франт, керчепский грек: вишневая дамаская феска, серый сюртук с белым жилетом, серые модные панталоны и застегнутые на пуговицы сбоку лакированные ботинки. — Такой старый и один остался! — сказал он, качая головой.

Старик посмотрел на его феску.

— Какой глупый,— ответил он просто.— Вот ты будешь старый, а я не старый и никогда не буду. Про обезьяну знаешь?

Красавец недоверчиво улыбнулся:

— Какую обезьяну?

— Ну так послушай! Бог сотворил небо и землю, знаешь?

— Ну, знаю.

— Потом бог сотворил человека и сказал человеку: будешь ты, человек, жить тридцать лет на свете,— хорошо будешь жить, радоваться будешь, думать будешь, что все на свете только для тебя одного бог сотворил и сделал. Доволен ты этим? А человек подумал: так хорошо, а всего тридцать лет жизни! Ой, мало! — Слышишь? — спросил старик с усмешкой.

— Слышу,— ответил красавец.

— Потом бог сотворил ишака и сказал ишаку: будешь ты таскать бурдюки и вьюки, будут на тебе ездить люди и будут тебе бить по голове палкой. Ты таким сроком доволен? И ишак зарыдал, заплакал и сказал богу: зачем мне столько? Дай мне, бог, всего пятнадцать лет жизни.— А мне прибавь пятнадцать,— сказал человек богу,— пожалуйста, прибавь от его доли! — И так бог и сделал, согласился. И вышло у человека сорок пять лет жизни.— Правда, человеку хорошо вышло? — спросил старик, взглянув на красавца.

— Неплохо вышло,— ответил тот нерешительно, не понимая, очевидно, к чему все это.

— Потом бог сотворил собаку и тоже дал ей тридцать лет жизни. Ты, сказал бог собаке, будешь жить всегда злая, будешь сторожить хозяйское богатство, не верить никому чужому, брехать будешь на прохожих, не спать по ночам от беспокойства. И, знаешь, собака даже завывала: ой, будет с меня и половинки такой жизни! И опять стал человек просить бога: прибавь мне и эту половину! И опять бог ему прибавил.— Сколько лет теперь стало у человека?

— Шестьдесят стало,— сказал красавец веселее.

— Ну, а потом сотворил бог обезьяну, дал ей тоже тридцать лет жизни и сказал, что будет она жить без труда и без заботы, только очень нехороша лицом бу-

дет,— знаешь, лысая, в морщинах, голые брови на лоб лезут,— и все будет стараться, чтоб на нее глядели, а все будут на нее смеяться.

Красавец спросил:

— Значит, и она отказалась, попросила себе только половину жизни?

— И она отказалась,— сказал старик, приподнимаясь и беря из рук ближнего курда мундштук кальяна.— И человек выпросил себе и эту половину,— сказал он, снова ложась и затлгиваясь.

Он молчал и глядел куда-то перед собою, точно забыв о нас. Потом стал говорить, ни к кому не обращаясь:

— Человек свои собственные тридцать лет прожил по-человечьи — ел, пил, на войне бился, танцевал на свадьбах, любил молодых баб и девок. А пятнадцать лет ослиных работал, наживал богатство. А пятнадцать собачьих берег свое богатство, все брехал и злился, но спал ночи. А потом стал такой гадкий, старый, как та обезьяна. И все головами качали и на его старость смеялись. Вот все это и с тобой будет,— насмешливо сказал старик красавцу, катая в зубах мундштук кальяна.

— А с тобой отчего ж этого нету? — спросил красавец.

— Со мной нету.

— Почему же такое?

— Таких, как я, мало,— сказал старик твердо.— Не был я ипаким, не был собакой,— за что ж мне быть обезьяной? За что мне быть старым?

ВОЗВРАЩАЯСЬ В РИМ

Он умер близ Ницен, возвращаясь из Галлии в Рим.

Ожидали, что новая война будет долгая, трудная и, быть может, роковая для него: судьба была милостива к нему неизменно, но это был уже девятый поход в его жизни, а цифре девять приписывали недобрый знак. Все же война опять оказалась счастливой, даже еще более счастливой и короткой, чем все предыдущие: враг был поражен ударами столь меткими, что изумлена была, при всей своей вере в звезду своего вождя, сама победопосная армия: и прежде один вид его, при каждом его появлении перед нею, потрясал ее восторгом; теперь же, когда, на прощальных смотрах в Галлии, медленно двигалось вдоль воинских рядов грозное великолепие золотого орла и шел под сенью его этот всегда тихий и печальный человек с землистым, плохо бритым лицом, люди смертельно бледнели, чувствовали себя как бы на краю пропасти, а затем раздражались такими страстными кликами, точно их охватывало бешенство.

Кончив войну, он совершил с государственными целями путешествие в Испанию: необыкновенная неутомимость сочеталась с его телесной немощью. И путешествие это тоже было вполне благополучное и плодотворное.

творпов. Поздней осенью, с небольшим отрядом и несколькими приближенными, он возвращался в Рим. Стояли прохладные, светлые дни. Шли берегом моря. Как всегда, он был молчалив и бесстрастен, лицом сер и худ. Все же здоровье его никому не внушало опасений во время этого мирного странствия вдоль синих заливов и багряных прибрежий. Но вот, за один переход до Ниццы, он внезапно лишился голоса, почувствовал такую потерю сил, что поспешили остановиться на первой встречной вилле.

Она вполне приличествовала случаю. Это был знаменитый Очаг, известный всему Риму, благодаря славному имени его хозяина и своей благородной красоте. Безлюдный мыс далеко вдавался в море. Его сплошь покрывала серебристая зелень низкорослого соснового леса. Дом же, стоявший в этом лесу, был обширен и прост, белел мрамором стен, блистал тонким стеклом больших окон, окружен был цветниками, огненными дالياми. За отъездом хозяина, вилла была пуста, и недавних гостей встретил только управляющий. Учтиво попросили приюта у него.

Вскоре, приняв ванну и подкрепляющее питье, он остался один. Доже его стояло так, что с одной стороны был перед ним вид на море, поднимающееся за круглыми сосновыми верхушками, а с другой на Ниццейский залив и туманно-далекую бледность Альп, безжизненно встававших к небу своими снегами, подобно великим гробницам. Вечерело, холодно туманилось. В пустынном просторе дремотно волнующегося моря была безнадежность, бесцельность, печальная загадочность. Белые гребни волн мерно возникали, падали. Верхушки сосен, чистых и холодных, ясно видных сквозь стекла, туго и звонко шумели. Два светильника ровно дрожали возле ложа сургучным пламенем. И под это дрожание и звенящий хвойный шум он впал в глубокий сон. Когда же очнулся, была уже черная почь. Море шумело в ее тишине слышней и торжественнее, как бы приближившись. Светильники текли и блистали; их языки, теперь золотые, ясные, с лазурным основанием, дрожая, тянулись вверх. И, приподнявшись, прислонясь к изголовью, он остановил свой взгляд на стеклах,

черпавших перед ним. Море шумело все ближе, лютвенней, и с ним мешался все усиливающийся хвойный шум. Он созерцал и слушал эту черную почную стихию, окружавшую его. Он понял, что час его близок. Сделав усилие, он сел еще немного выше и, взяв с ночного столика все, что нужно для писания, стал медленно, но твердо писать.

Он писал до рассвета. Он сделал последние государственные распоряжения и выразил некоторые из своих предсмертных мыслей. Он сказал так: имя мое переживет меня, люди будут поклоняться моим золотым и мраморным изображениям, может быть, еще много веков, ибо в человеке великом или хотя бы облеченном величием, мы чтим сосредоточенность тех высоких сил, что заключены в некоторой мере в каждом из нас. Он сказал, что Сократ, призывая человека к познанию «самого себя», имел в виду не познание особенностей, пороков или добродетелей, заключенных в человеке, но искаание и пробуждение в себе того «божественного», что есть истинная суть человека. Когда же стало белеть за окнами, пожелтели огни светильников и сплошной белизною окружила дом утренняя мгла, шедшая с утихающего моря, он лег и покрыл лицо своим походным плащом, отдавшись участи всех смертных.

<1937>

АПРЕЛЬ

В солнечное окно за нагретыми двойными рамами он увидал в воротах двора верхового молодого работника, ездившего в Субботино на почту. Он в одной косоворотке выскочил на крыльцо — уже недели две напрасно ждал письма из Москвы. Работник, возбужденный от быстрой езды, горячего апрельского солнца и веселого воздуха, еще резкого и прохладного, с раскрасневшимся лицом, пестрым от пятен грязи, летевшей на него из-под копыт по дорожным лужам, бросил у крыльца поводья и стал рыться в сумке, висевшей у него через плечо.

— Только всего, — весело сказал он, подавая два номера «Орловского вестника».

Картуз у него был сдвинут назад, глаза смотрели дружелюбно и ярко. Лошадь под ним была потная, казалась тонкой от толкних пог с белым железом новых подков и узлом подвязанного хвоста с тугой репкой, сизой исподу и энергично отстающей от округлого орехового крупа, переливавшегося великолепным лоском. Все было прекрасно — и свежий воздух, и горячее солнце, и зазеленевший двор усадьбы, и этот круп, и седло под работника, — все счастливы, просты, спокойны, здоровы, все, кроме меня! — с отчаянием подумал он, беря газеты.

— Вели Михайле оседлать мне Вороного,— решительно сказал он работнику и пошел в дом. «И отлично, что не пишет! Давно пора послать все это к черту. Мне еще рано погибать из-за какой-то развратной и ничтожной девчонки!» Он вошел в кабинет и навзничь лег на тахту, поправил под головой скользкую сафьяновую подушку и вперил взгляд перед собой, мысленно смотря в ее воображаемый образ, с ужасом чувствуя, что именно это,— эта развратность и женское, девичье ничтожество ее,— мучит его такою страстью и нежностью.

«Да, но не одна же она на свете! — вдруг сказал он себе.— Ведь все это есть и в Ганьке, и в учительнице, и даже в Глашке...»

Он недавно ездил вечером на деревню к учительнице. Снега уже и тогда не было, только морозило к ночи грязь и лужи. Он ехал верхом по деревенской улице, мимо ряда изб, направо, по косогору, сходявшего влево от него к речке; за речкой низко висела над другим берегом, над чернотой полей, таинственно-тускло и как-то бесцельно светившаяся на речку и на ее долину луна; крыши изб направо тоже всяко были освещены ею, а гребни их серебрились, точно снегом, от звезд за ними; дальше, на краю деревни, была видна школа с большим освещенным окном. Он привязал лошадь к лозинке против окна, избежал на крыльцо, толкнул дверь в темные и холодные сени, потом в комнату учительницы... Как чудесно было у нее! Пахло натопленной печкой и духами, на столе мягко горела лампочка под фарфоровым абажуром. Сама она радовала здоровой прелестью своих восемнадцати лет, у нее был живой, точно что-то ожидающий взгляд и влажно блестящие зубы; большие черные глаза за черными ресницами имели что-то гробовое и вместе с тем были налиты молодой животной теплотой; груди туго округлились под коричневым платьем, крепко подвитые черные волосы отливали глянцем. Она пришла в восхищение от его неожиданного приезда, тотчас устала стол тарелочками с орехами, пастилой и мармеладом, говорила быстро, спеша, прелестно картавя, он с жадностью смотрел на ее руки, в которых она ловко и сильно трескала орехами, давая их один о другой, обонял ее теплое

молодое дыхание, запах подпаленных щипцами волос и головной плоти, когда она к нему наклонялась, кладя перед ним очищенные ореховые ядра... «Да, поеду к цей!» — подумал он, вспомнив все это, и сбросил ноги с тахты, взглянув на часы. Было два часа, в доме было тихо и пусто, мама, как всегда, спала после обеда, Глашка тоже, верпо, заснула... Он посидел, волнуясь, думая, пойти к Глашке или нет? Страстно хотелось пойти и жутко было: в доме ни души, мама спит. Глашка лежит там одна... Самое ужасное было то, что она лицом похожа была на нее!

Глашу наняли с месяц тому назад, она приехала из города, служила там горничной. Она была деревенская, но теперь, после зимы в городе, держалась не по-деревенски, и потому ее устроили не в пример прежним горничным. Ее поселили в комнатке в конце коридора, возле заднего крыльца. Там ей поставили железную кровать с высокой периной, и она пышно убрала ее стеганым голубым одеялом, подушки покрыла накидкой с кружевами по краям, на умывальнике устроила нечто вроде туалета с разными флакончиками и коробочками, и вся комната вскоре стала развратно пахнуть сладостью дешевого мыла и розовой пудры.

— Вот паняла, да боюсь, что обокрадет и уйдет, — сказала мама, когда он приехал из Москвы.

Вскоре после того Глашка говела. В церковь ходила в модной жакетке с черной бархаткой на шее, с зонтиком, в перчатках. Маленькая головка ее с завитыми на лбу кудряшками была порочно красива: она, да и только!

Раз она убирала его спальню, все делая не спеша, с лепивой грацией и мутной улыбкой. Он вошел, — она, подметая, медленно сказала, кося глазами на его кровать:

— А хорошо бы на этой постели поспать...

— С кем? — пошутил он.

— Да одной...

— Одной скучно. Приходи ко мне.

Она ответила, не поднимая глаз:

— Что ж, можно...

— Врешь, не придешь.

— Божиться не стану...

Ночью он долго гулял по холодному голому саду

при свете невысокой луны. Вернувшись в дом, заснул в кабинете, не раздеваясь. И тотчас увидал себя в Крыму, где он никогда не был. Это было что-то вроде Алупки, а не парком и дворцом, который он видел на открытках. Парк спускался к самому морю, море было крупное, зеленое, шумело, и от него шла вечерняя свежесть. И она, которую он так горько полюбил в Москве, выбежала из воли вся голая, сжавшись, стыдливо согнувшись, и он видел и чувствовал все ее тело, его упругость, то, что оно мокро, холодно и крепко, видел и чувствовал с той разительной остротой, какая бывает только во сне. Он очнулся, возбужденный, и на цыпочках пошел по темному коридору к Глашке. У нее горела свеча, она на спине спала под своим стегалым одеялом. Свет свечи блистал на ее кукольном лице с закрытыми глазами. Когда он сел к ней на постель, она открыла глаза, бессмысленно посмотрела и, ничего не поняв, повернулась на бок. Он стал целовать ее в шею в телесном тепле из-под одеяла и уже дунов было на свечу. Но за окном вдруг встал такой чистый, прекрасный мир лунной ночи, что он вскочил и ушел с бьющимся сердцем.

На другой день он шагал по дому, томясь, не зная, что делать. На дворе залаяли собаки. Он взглянул в окно: от ворот к дому шла, бросая собакам кусочки хлеба, Ганька со своей подружкой Машкой. Рядом с Машкой, высокой и костлявой, с грубым худым лицом, маленькая Ганька казалась особенно мила. Они вошли в прихожую, он вышел к ним. Видно было, что им обоим не ловко, — у Машки это сказывалось в том, что она сердито хмурилась, а у Ганьки в смущенной ласковой улыбке.

— С квитками пришли? — спросил он, вспомнив, что они неделю тому назад работали в усадьбе на поедущине. — Мамы нету дома.

Он попытался завести шутиливый разговор. Ганька отвечала на все поспешно, сама не понимая, что говорит, с этой все дрожащей на губах улыбкой. «Совсем еще девчонка!» — подумал он, умиляясь на нее и стыдясь своих мыслей о ней, на которые напел его Михайло: «Машка вам все это дело за один целковый об-

работает», — сказал он. На Ганьке был новый ситцевый желтый платок с красными глазками, новая из черного крестьянского сукна куртка, новая ситцевая пестренькая юбка и новые башмаки с подковками: идя в усадьбу, девки всегда наряжаются. Ганькин двор был самый нищий во всем селе, — каких трудов стоило ей справиться на свои заработки весь этот наряд! «И совсем еще девочка, и как бы я мог любить ее»!

Волнуясь, он встал с тахты, прошел по пустому дому, надел в прихожей синюю поддевку и студенческий картуз, взял нагайку и вышел на крыльцо. Вороной жеребец ждал его. Он легко скинул себя в седло и крупным шагом поехал не к учительнице, а через сад по голой липовой аллее. Солнце было сзади, в пролет между деревьев впереди видно было солнечное поле, желтая равнина прошлогоднего жнивья. Выехав туда, он рысью погнал жеребца целиком на Дубовый Верх, на свой любимый лесок, низко серевший на горизонте. Ах, что за день! Солнечный зной мешается с острой свежестью зернистого снега, еще дотлевающего кое-где на плажной земле среди мертвого жнивья, все вокруг вольно, просторно, пусто, и до боли в глазах светло...

Дубовый Верх, тихий, неподвижный, обилья приезде в него совсем жарким теплом и сладковатым запахом прошлогоднего дубового листа. Весь еще раздетый, с корявыми сучьями верхушек, сквозящих на мучительно нежном бледно-голубом апрельском небе, лес казался маленьким, виден был из конца в конец. Он перевел жеребца на галоп по дороге к лесному разлужью, шумно шурша коричневой листвой, которой она была глубоко засыпана. На спуске в овраги, из сухих кустарников, с треском вырвался вальдшнеп, над разлужьем высоко в небе парили ястреба. Весна!

Проскакав разлужье, галопом поднявшись на пригорок к широкому дубу, одиноко и великолепно красовавшемуся на нем, он спрыгнул с седла, привязал жеребца к петке дуба и упал в нагретую листву под ним, закрыв помотившись от слез глаза. Уже и ястреба прилетели! Он взглянул вверх — да, вот он, высоко, высоко стоит в этом прелестном небе, повис, дрожит, распластав острые крылышки, весь трепещет, остро смот-

рпт ввиз... Если бы револьвер! Один удар как раз в сердце, вот тут, через эту синюю поддевку,— и всему конец!

В середине апреля, теплым и неподвижным утром, он подъехал верхом к раскрытому окну учительницы, крикнул, пеловко усмехаясь:

— Уже окло выставили?

Она тотчас показалась в окне — праздничная, необычная для деревни: в шелковой белой блузке, в черной шляпке с черной сквозной вуалькой до половины лица, за которой восточно сияли ее черные глаза.

— Здравствуйте,— радостно картавя, сказала она,— а я в город еду.

— Можно узпать зачем? — спросил он, глядя на нее вверх с седла.

— А это секрет!

Она улыбалась, блестя влажными зубами, которые как будто не совсем уместались в ее молодых губах.

— А меня с собой возьмете?

— Вас? У вас там тоже секреты?

— Нет, серьезно. Можно мне с вами? Мне дома так скучно — все один да один...

— Бедный! А что на деревне начнут говорить?

Голова у него слегка замутилась от этих слов, от близости, будто бы вдруг образовавшейся между ними.

— Пожалуйста, возьмите,— сказал он с наивной, совсем мальчишеской улыбкой, почувствовав, как это будет чудно — сидеть с ней вдвоем, наедине, сперва в тарантасе, потом в вагоне.

Она загадочно посмотрела на него, еще более увеличивая эту внезапную близость между ними.

— Ну, так и быть, возьму,— сказала она, точно уже получив какую-то власть над ним.

— Так я заеду за вами?

— Да я уж мужика папала.

— Ну вот, мужика! Такая нарядная, и вдруг на телеге! Кого вы папали? Терептия? Я заеду к нему, откажу и дам полтипник. Он с ума сойдет от радости.

— Да нет, это все как-то так неожиданно, страшно... Вдруг едем вместе...

— То-то и хорошо, что вместе! Нет, я непременно заеду.

Она не сумела сдержать себя:

— Ну так смотрите же, не опоздайте, поезд идет ровно в пять.

Он весело засмеялся:

— Так что же вы так рано оделись?

Она прелестно смутилась, трогательно ответила:

— Да Терентий сказал, что после обеда ему нельзя ехать, ему пыпче надо еще свинью куда-то везти. Отомчу вас, говорит, вернусь и еще с свиньей управиться поспею.

— Это замечательно! Отомчу вас, потом свинью! А вам ждать на станции целых пять часов?

— Что ж, я бы посидела до поезда в дамской комнате...

— И все из-за свиньи!

Тут засмеялась и она, необыкновенно звонко, с наслаждением. Он дернул лошадь ближе к окну, схватил ее руку и прижал к своим губам.

— Это уже мародерство! — сказала она, особенно прелестно картавя.

«Боже мой! — думал он, скача домой. — Неужели наконец освобождение?»

У своего крыльца он помедлил слезать с лошади, глядя в сад, слушая. Все мягко туманилось, в саду блаженно, изысканно выводили свои сладкие переливы черные дрозды. Разноцветные девки ходили с граблями и метлами по аллее, расчищая ее, наметая в кучу прошлогоднюю листву, на деревне протяжно, истомно перекликались петухи... Но когда он вошел в дом, ему сразу бросилась в глаза валявшаяся на лавке открытка, — с почты приехали без него. Он схватил ее: да, от нее! Всегда так — бросишь ждать, мучиться — и вдруг вот оно! Но на обороте открытки оказалось только два пошлых слова: «Привет из Москвы!» — и даже без подписи. Насмешка или просто глупость? Он в клочки разорвал открытку, прошел в кабинет и с отвращением к себе, к своей жалкой любви, к своим мукам и воспоминаниям, пичком лег на тахту. Нет, освобождения нет и не будет. Заменить ее все-таки никто не может...

В дороге опять нашел на него обман — счастье сидеть плечом к плечу с нарядной, пахнущей духами девушкой, уже как будто втайне соглашающейся с ним па что-то самое дивное в мире. Он говорил что попало, опять смешил ее Терентием, держал ее левую руку, обтянутую черной лайковой перчаткой, и она не отнимала руки.

— Можно поцеловать хоть перчатку?

Она приложила палец к губам, сделала строгое лицо, кивнула на спину кучера, — он в ответ так сжал ее руку, что она с гримасой боли, но с явным удовольствием легонько вскрикнула: «Ай!»

На станции он побежал вперед, купил два билета второго класса, потом, когда стал подходить поезд, на ходу вскочил в вагон, тотчас нашел нужное купе и ввел ее туда, очень польщенную и его заботливостью, и неприличной роскошью путешествия. Потом они молча сидели рядом, переглядываясь и обмениваясь страшными улыбками.

— Вы всегда ездите во втором классе? — крикнула она сквозь стук колес, несшийся в открытое окно, в которое бил вечерний полевой ветер.

— Что? — крикнул он, растягивая рот в счастливую улыбку.

— Я в первый раз в жизни! — крикнула она.

Вдали, за голыми полями, садилось солнце, бросая на них красный свет, колеса ладно грохотали в свежем воздухе. Он опять взял ее руку, она не отняла ее, только отвернулась, глядя в окно.

— Ну вот и приехали, — тихо сказала она, когда поезд стал подходить к городскому вокзалу мимо уже зажженных станционных фонарей.

— Вы куда? — спросил он, выходя с ней из вокзала и со страхом думая, что сейчас останется один.

— На Покровскую, к подруге.

— Застра я увижу вас?

Она подумала.

— Да. В городском саду. В одиннадцать. Там в это время никого не встретишь. В главной аллее.

— С десяти буду ждать.

— А теперь я поеду одна.

— Да. Прощайте.

Он посадил ее в разбитую, провисшую извозничью пролетку, слабо пожал ее руку. Она обернулась, отъезжая,— мелькнули в сумерках ее черные глаза за сквозной вуалькой...

Он ночевал в первых попавшихся номерах. Как вошел, сразу разделся и лег на железную кровать с коленкоровой простынкой и тяжелой как камень подушкой, набитой крупными, трещащими под головой перьями, и проснулся в шесть утра. За дверью еще сонно шаркала половая щетка. Он выглянул в узкий коридор, озаренный желтым ранним солнцем, заказал горничной с сухими волосами и жилистой шеей, которая мела в коридоре, самовар...

Надо было убить бескопечное время до одиннадцати. Он вышел, пошел куда глаза глядят. Утро опять было теплое, мягкое. Мирный, мерный звон колоколов, тишина, за заборами сады, ветви деревьев в почках... «Господи, избавь меня от нее! — думал он, шагая. — Как я буду опять счастлив!»

По глухой Садовой улице он пришел к обрыву пад рекой, замкнутому древней приземистой церковкой. Тупик, сады за заборами, деревянные домишки в три окна; золотой крест над куполом мягко мерцает, тает в теплом воздухе... Церковные двери были раскрыты, он, крестясь, вошел. Низкие своды, ни души, холодок и старей, сложный церковный запах. Голые, низкие стены выкрашены синей, как сахарная бумага, краской, в куполе светло, внизу синевато, сумрачно; алтарь грубо блещет, в прорези золотокованных царских врат склозит красивый шелк завесы... Он поднялся на ступени амвона, подошел к чудотворной иконе возле северных дверей алтаря. Она была из толстого темного дерева на бархатной вишневой подкладке и вся цветисто пестрела за мерцавшей перед ней лампадкой: темное серебро оклада, на окладе множество поддельных драгоценных камней, висят образки и ленты, оловянные сердца, руки и ноги, исцеленные части тела... Он стал на колени, припал лбом к полу, напрягая все свои душевные и телесные силы на безмолвную мольбу: «Господи, помоги! Спаси и помоги! Возврати мне ее! Все-таки не могу я без нее!»

В городском саду он без конца и все быстрее и быстрее ходил взад и вперед по главной аллее. Парило, собиравшись, чадили и густели облака. Сердце замирало и от заходящей грозы, и от оскорбительной тоски напрасного ожидания. Прошло полчаса, час, — в аллее все никто не показывался. Грубый обман или ей почему-нибудь никак нельзя было прийти? Он еще раз взглянул на часы: уже половина первого. Какое счастье, что есть поезд домой в половине второго! Он кипуче пошел из сада, на все лады проклиная себя за все те дурацкие планы, которые он строил на этот день.

Вечерело тихо, печально, сумрачно. Он шел по своему саду, сладко и болезненно чувствуя: почью будет первый обильный дождь, животворный, веселый... Все серо и голо, грифельный осинник за шалашом в овраге засыпан гниющей листвою. Он пошел целиком сквозь осинник, скользя по ней. В большом пне пад оврагом еще лежал палитый водой раскисший снег, в овраге лился, булькал из буерака в буерак, с уступа на уступ, паводок. Он перепрыгнул через него, выбежал по круче другого бока к соломенному валу, перелез через него как раз на задворки Машкиного двора, прошел между ним и другим двором, вышел на темнеющую деревенскую улицу и остановился перед Машкиной избой, — она была крайняя, была особенно бедна и черна, с прогнившей, седлом проломившейся крышей, — и заглянул в полуразбитое окошечко. Машка, высокая, костлявая, в желтом ситцевом платье, стояла, глядясь в зеркальце. На улице никого не было, но он все-таки нырнул в сенцы, воровски быстро отворил дверь избы и быстро запер за собой.

— Ты одна? — спросил он вполголоса.

Она ничуть не удивилась его внезапному появлению, ответила просто и невнимательно, продолжая глядеться:

— Одна. Брат уехал в Петрищево, батюшка по соседям сумерничает.

Положив зеркальце на стол, она смахнула подолом с лавки. Он сел, не снимая картуза, она тоже села с другого бока стола. Ее желтое платье было подпоясано по широкой худой талии гляцеватым черным ремнем, ску-

ластые щеки натерты румянами и стеарином: румяна были грубого малинового цвета, стеарин мертвого, свинцового.

— Куда-й-то убралась? — спросил он.

Она усмехнулась:

— Да никуда. Так, от скуки.

— Послушай... — сказал он, помолчав.

— Слушаю.

— Давай о деле поговорим.

— Говорите. Знаю ваши думки.

— Да ты про что?

— Про Ганьку небось?

— Ну да. Ну как же ты думаешь, согласишься?

— А как же она не согласится? Ныпче не то что по городам — по деревням ни одной чистой не осталось. Может, отца побоятся, — сказала она насмешливо, — папа у ней строгий.

— Ну, а как же это все обделать? — спросил он, мысленно ужасаясь своей подлости.

— Да уж обделаю...

Совсем стемнело, в дыру окошечка стало пахнуть откуда-то молодой травой и навозом из коровника. Он замолчал, опустив голову. Она подождала и поднялась:

— Ну идите, а то, неравно, батюшка придет.

Он тоже поднялся и взял ее за талию. Она усмехнулась:

— Ай вы в меня влюбились? Нет, я для вас неподходящая. Ишь вы какой длинный, слабосильный.

— Да я вдесятеро сильнее тебя.

— Куда вам со мной! Я вас замотаю.

— Послушай, я серьезно. Я не из-за Ганьки пришел, это только придирка... Приходи завтра под вечер в шалаш в нашем саду.

— Да и я про Ганьку только болтала. Давно вас насквозь вижу!

— Ну так как же? — спросил он, замирая.

— Завтра, как корову подою, так приду.

МИСТРАЛЬ

«Все воды твои и волны твои прошли падо мною».
«Вот ты дал мне дни как пяди, и век мой как ничто пред тобою».

Век мой, господи, ничто не только пред тобою, но и предо мною самим...

Лежа в черной тьме спальни, среди шума и гула наружи, теряешь представление о времени. Забываясь, думаешь: «Кажется, скоро рассвет...» Но затем опять видишь ту же черную тьму, слышишь, как жадно несется наружи мистраль, и понимаешь, что эта тьма, этот шум и гул еще почные, полночные. Привычно подняв руку к изголовью, я освещаю спальню, смотрю на часы: час самый мертвый. От света все вокруг стало проще, шум и гул отдалились от дома, и спокойно стоит освещенный куб спальни, беззвучно блестит зеркало против меня, над камином. В зеркало углубленно уходит вторая спальня, что во всем подобна первой, будучи только ниже и меньше ее; там тоже горит свет над старой дубовой кроватью, на которой уже столько лет сплю я в этом старом чужом доме, лежит на приподнятой подушке худое лицо, видны под светом, падающим сверху, темные впадины глаз, виден белеющий лоб, косой ряд в серебристых волосах... Потом я опять поднимаю руку — и опять только

гул и тьма, в которой всюду реет что-то как бы светящееся...

«Ты взошел на корабль, совершил плавание, достиг гавани: пора сходить».

Итак, было будто бы время, когда я «всходил на корабль», юный, беспечный, ни о какой гавани не думающий... Где же оно, это время? Вот только моя мысль о нем! «Ничтожна жизнь каждого. Ничтожен каждый край земли... Немного уже осталось тебе. Живи как на горе. Как с горы обозревай земное: сборища, походы, битвы, полевые работы, браки, рождения, смерти...» И я мысленно вижу Прованс, по которому мчится мистраль с дикой жадной сокрушением всего человеческого, временного, вижу весь этот древний край, сейчас спящий, пустой, со всеми его горами и долинами, с белесыми в лихорадочном блеске звезд дорогами — все теми же, что в те легендарные дни, когда миром правил тот, кто в какой-то «стране Квадов», в часы своего ночного одиночества, писал под лагерным шатром о ничтожестве всех человеческих жизней, стран и веков... В глухих провансальских селениях, перлобытно прекрасных в своей дикости, пахнущих как бы пастушеским дымом, вставшим в камень и глину жилищ и очагов, народ говорит, что муз есть создание вещее, редкое по сокровенности чувств и помыслов, по уму и чуткости ко всему тайному и дивному, чем полон мир, и что до рассвета стоит он в такие ночи в своем темном, холодном, насквозь продуваемом стойле с открытыми глазами, ни на миг не ослабляя слуха и внимания к «работе» мистраля: он, верно, тоже видит, чувствует этот пустой, бесконечный пролет в пространстве тех римских времен, кажущихся мне и мои собственные...

Снова прихожу в себя в той же темноте, но в неожиданном глубоком спокойствии: всюду немота, молчание, бури точно не было. Я встаю, неслышно сбегая в прихожую, отворяю наружную дверь: свежесть ночного воздуха, терраса и пальмы на ней, сад по уступам вниз — и уже неподвижное в белой звездной россыпи небо... Всюду предраcсветное ничто. За домом, над темной лесистой горой, есть уже что-то затаенное, обещающее, чуть светящееся чем-то прозрачным, уходящим в вогну-

тую высь. Но нигде еще нет ни единого признака жизни. Округлые, от верхушки во все стороны раскинутые вайи пальм мертво висят черными клешнями. Ниже, над садом подо мной, над его скромно сереющими оливами, темно простираются плоские громады широковетвистых пивий. Впереди, в далекой глубине за ними, чуть различимо сквозь сумрак почное, печальное лоно долины; еще дальше — сонная, холодная туманность: белесо застыло дышащее море. К западу тучей означаются в небе хребты Эстереля и Мор. К востоку темнеет горб Антибского мыса. И таинственно и мерно, с промежутками, зорко прядает там, на горбе, белый огонек маяка...

Но вот он вдруг гаснет: небо за мысом стало легкое, тонкое, бледное. И где-то вблизи подо мной, на какой-то ферме, кричит первый рассветный петух: еще сквозь сон, песозпательно, но уже задирчиво, с напрягающимся хриплым клетотом двух разных голосов...

Еще одно мое утро на земле.

ТРИ РУБЛЯ

В тот летний вечер я приехал из деревни в наш уездный город по железной дороге, часу в девятом. Было еще жарко, от туч сумрачно, надвигалась гроза. Когда извозчик помчал меня, подымая пыль, от вокзала по темнеющему полю, сзади вдруг что-то вспыхнуло, дорога впереди на мгновение озарилась золотом, где-то прокатился гром и крупными звездами зашлепал по пыли и пролетке быстрый, редкий дождь, тотчас же прекратившийся. Потом пролетка, сорвавшись под изволок с мягкой дороги, задрезжала по каменному мосту через пересохшую речку. За мостом дико черпели и металлически пахли городские кузни. На дороге в гору горел запыленный керосиновый фонарь...

В гостинице Воробьева, лучшей в городе, мне, как всегда, отвели комнату со спальней за перегородкой. Воздух в этой комнате с двумя затворенными окнами за белыми коленкоровыми занавесками был горяч, как в печи. Я приказал коридорному открыть окна пастежь, принести самовар и поскорей подошел к окну: в комнате дышать было печем. За окном уже черпала темнота, в которой то и дело вспыхивали молнии, теперь уже голубые, и катился точно по ухабам гул грома. И, помню, я подумал: до того ничтожный городишко, что даже

непонятно, зачем так грозно вспыхивает над ним этот великолепный голубой свет и так величественно грохочет, сотрясается мрачное, невидимое небо. Я пошел за перегородку и, снимая с себя пиджак и развязывая галстук, услышал, как влетел с самоваром на подносе коридорный и стукнул в круглый стол перед диваном. Я выглянул: кроме самовара, полоскательницы, стакана и тарелки с булкой, на подносе была еще чашка.

— А чашка зачем? — спросил я.

Коридорный ответил, заиграв глазами:

— Там вас одна барышня спрашивает, Борис Петрович.

— Какая барышня?

Коридорный пожал плечом и манерно усмехнулся:

— Помятно какая. Очень просила впустить, обещала рубль на чай, если хорошо заработает. Видела, как вы подъехали...

— Из уличных, значит?

— Ясное дело. Таких у нас никогда незаметно было: приезжие обыкновенно за барышнями к Анне Матвеевне посылают, а тут вдруг какая-то сама входит... Ростом замечательная и вроде гимназистки.

Я подумал о скучном вечере, который предстоял мне, и сказал:

— Это забавно. Впусти ее.

Коридорный радостно исчез. Я стал заваривать чай, но в дверь тотчас постучали, и я с удивлением увидел, как, не дожидаясь ответа, в комнату развязными шагами больших ног в старых холщовых туфлях вошла рослая девушка в коричневом гимназическом платье и соломенной шляпке с пучком искусственных васильков сбоку.

— Вот шла и забрела на огонек к вам, — с попыткой иронической усмешки сказала она, отводя в сторону темные глаза.

Все это было совсем не похоже на то, что я ожидал, я слегка растерялся и ответил не в меру весело:

— Очень приятно. Снимайте шляпку и присаживайтесь чай пить.

За окнами вспыхнуло уже фиолетово и совсем широко, гром прокатился где-то близко и предостерегающе,

в комнату пахнуло ветром, и я поспешил затворить окна, обрадовавшись возможности скрыть свое смущение. Когда я обернулся, она сидела на диване, сняв шляпку и закидывая назад стриженные волосы продолговатой загорелой рукой. Волосы у нее были густые, каштановые, лицо несколько широкоскулое, в веснушках, губы полные и сиреневые, глаза темные и серьезные. Я хотел шутливо извиниться, что я без пиджака, но она сухо посмотрела на меня и спросила:

— Сколько вы можете заплатить?

Я овял ответил с деланной беспечностью:

— Успеем еще сговориться! Выпьем прежде чайку.

— Нет,— сказала она, хмуясь,— я должна заранее знать условия. Я меньше трех рублей не беру.

— Три так три,— сказал я с той же глупой беспечностью.

— Вы шутите? — спросила она строго.

— Нисколько,— ответил я, думая: «Напою ее чаем, дам три рубля и провожу с богом».

Она вздохнула и, закрыв глаза, откинула голову на отвал дивана. Я подумал, глядя на ее бескровные, сиреневые губы, что она, верно, голодна, подал ей чашку чаю и тарелку с булкой, сел на диван и тронул ее за руку:

— Кушайте, пожалуйста.

Она открыла глаза и молча стала пить и есть. Я пристально смотрел на ее загорелые руки и строго опущенные темные ресницы, думал, что дело все больше принимает неслепый оборот, и спросил:

— Вы здешняя?

Она помотала головой, запивая булку:

— Нет, дальняя...

И опять замолчала. Потом стряхнула с колен крошки и вдруг встала, не глядя на меня:

— Я пойду раздеваться.

Это было неожиданное всего, я хотел что-то сказать, но она повсильтельно перебила меня:

— Затворите дверь на ключ и опустите шторы на окнах.

И пошла за перегородку.

Я с бессознательной покорностью и поспешностью опустил шторы, за которыми продолжали все шире свертывать молнии, будто старался поглубже заглянуть в комнату, и все настойчивее катились сотрясающиеся гуды, повернул в прихожей дверной ключ, не понимая, зачем я все это делаю, и уже хотел было войти к ней с притворным смехом, перевести все в шутку или соврать, что у меня страшно разболелась голова, но она громко сказала из-за перегородки:

— Идите...

И я опять бессознательно повиновался, вошел за перегородку и увидел ее уже в постели: она лежала, натянув одеяло до подбородка, дико смотрела на меня совершенно почерневшими глазами и сжимала постукивающие зубы. И в беспомоществе растерянности и страсти я дернул одеяло из ее рук, раскрыв все ее тело в одной коротенькой заношенной сорочке. Она едва успела поймать головой рукой деревянную грушу над изголовьем и потушить свет...

Потом я стоял в темноте возле раскрытого окна, жадно курил, слушал шум отвесного ливня, низвергавшегося в черном мраке на мертвый город вместе с ярким и быстрым трепетом фиолетовых молний и дальними ударами грома, думал, вдыхал дождевую свежесть, смешанную с запахами города, накаленного за день: да, непопятное соединение — это жалкое захолустье и это божественно-грозное, грохочущее и слепящее в ливне величие,—и все больше дивился и ужасался: как же это я все-таки не поплал до конца, с кем я имею дело, и почему она решилась продать за три рубля свою девственность! Да, девственность! Она оклинула меня.

— Закройте окно, очень шумит, и подите ко мне.

Я вернулся в темноте за перегородку, сел на постель и, найдя и целуя ее руку, стал говорить:

— Простите, простите меня...

Она бесстрастно спросила:

— Вы думали, что я настоящая проститутка, но только очень глупая или сумасшедшая?

Я поспешно ответил:

— Нет, нет, не сумасшедшая, я только думал, что вы еще малоопытны, хотя уже знаете, что некоторые

девицы в известных домах надевают гимназическое платье.

— Зачем?

— Чтобы казаться невиннее, привлекательнее.

— Нет, я этого не знала. У меня просто нет другого платья. Я только нынешней весной купила гимназную. Тут внезапно умер папа,—мама умерла давно,—я из Новочеркасска приехала сюда, думала найти тут через одного нашего родственника работу, остановилась у него, а он стал приставать ко мне, и я ударила его и все ночевала на скамейках в городском саду... Я думала, что умру, когда вошла к вам. А тут еще увидала, что вы хотите как-нибудь отделаться от меня.

— Да, я попал в глупое положение,—сказал я.— Я согласился впустить вас просто так, от скуки,—я с проститутками никогда не имел дела. Я думал, что войдет какая-нибудь самая обыкновенная уличная девочка, и я угощу ее чаем, поболтаю, пошучу с ней, потом просто подарю ей два-три рубля...

— Да, а вместо этого вошла я. И почти до последней минуты старалась держать в голове одно: три рубля, три рубля. А вышло что-то совсем другое. Теперь я уже ничего не понимаю...

Ничего не понимал и я: темнота, шум ливня за окнами, возле меня лежит на постели какая-то новочеркасская гимназистка, которой я до сих пор не знаю даже имени... потом эти чувства, что с каждой минутой все нестерпимее растут во мне к ней... Я с трудом выговорил:

— Чего вы не понимаете?

Она не ответила. Я вдруг зажег свет,—передо мной блеснули ее большие черные глаза, полные слезами. Она порывисто поднялась и, закусив губу, упала головой на мое плечо. Я откинул ее голову и стал целовать ее искаженный и мокрый от слез рот, обнимая ее большое тело в спуснившейся с плеча запятой сорочке, с безумием жалости и нежности увидел ее пропыленные смуглые девичьи ступни... Потом номер был полон сквозь спущенные шторы утренним солнцем, а мы все еще сидели и говорили на диване за круглым столом,—она с голоду

допивала холодный чай, оставшийся с вечера, и доедала булку, — и все целовали друг другу руки.

Она осталась в гостинице, я съездил в деревню, и на другой день мы уехали с пей на Минеральные Воды.

Осень мы хотели провести в Москве, но и осень и зиму провели в Ялте — она начала гореть и кашлять, в комнатах у нас запахло креозотом... А весной я схо-рошил ее.

Ялтинское кладбище на высоком холме. И с него далеко видно море, а из города — кресты и памятники. И среди них, верно, и теперь еще белеет мраморный крест на одной из самых дорогих мне могил. И я уже больше никогда не увижу его — бог милосердно избавил меня от этого.

ПАМЯТНЫЙ БАЛ

Было на этом рождественском балу в Москве все, что бывает на всех балах, но все мне казалось в тот вечер особенным: это все увеличивающееся к полночи нарядное, возбужденное многолюдство, пьянящий шум движения толпы на парадной лестнице, теснота танцующих в двухсветном зале с дробящимися хрусталем люстрами и эти всё покрывающие раскаты духовой музыки, торжествующе гремевшей с хор...

Я долго стоял в толпе у дверей зала, весь сосредоточенный на ожидании часа ее приезда,— она накануне сказала мне, что приедет в двенадцать,— и настолько рассеянный, что меня поминутно толкали входящие в залу и с трудом выходящие из его уже горячей духоты. От этого бального зноя и от волнения, с которым я ждал ее, решившись сказать ей наконец что-то последнее, решительное, было и на мне все уже горячее — фрак, жилет, спина рубашки, воротничок, гладко причесанные волосы,— только лоб в поту был холоден, как лед, и я сам чувствовал его холод, его кость, даже близину его, казавшуюся, вероятно, гробовой над резко черными глазами: все было обострено во мне, я уже давно был болен любовью к ней и как-то волшебнико боялся ее порочного тела, великолепных волос, полных губ, звука

голоса, дыхания, боялся, будучи тридцатилетним сильным человеком, только что вышедшим в отставку гвардейским офицером! И вот я вдруг со страхом взглянул на часы,—оказалось ровно двенадцать,—и кинулся вниз по лестнице, навстречу все еще поднимавшейся снизу толпы, откуда несло и пронизывало морозным холодом всего меня сквозь фрак, легкость и тонкость которого еще так непривычна была всегда для меня после мундира. Сбежал я, несмотря на толпу, с необыкновенной быстротой и ловкостью и все-таки опоздал: она стояла, среди вновь приехавших и раздевавшихся, уже в одном черном кружевном платье, с обнаженными плечами и пакинутом на высокие балльные волосы оренбургском платке, ярко блестя из-под него ничего не выражающими глазами. Скинув платок, она молча протянула мне для поцелуя руку в белой и длинной до круглого локтя перчатке. Я от страха едва коснулся губами перчатки, она, придерживая шлейф, молча взяла меня под руку. Так молча и поднялись мы по лестнице, я вел ее как что-то священное. Наконец зачем-то спросил пересохшими губами: — Вы нынче танцуете?

Она ответила, прищуриваясь, глядя на головы поднимавшихся впереди, не в меру кратко:

— Не танцую.

И, пройдя в зал, осталась стоять у дверей. Она продолжала молчать, точно меня и не было, но я уже больше не владел собой: боясь, что потом может и не представиться удобной минуты, вдруг стал говорить все то, что весь вечер готовился сказать, говорить горячо, настойчиво, но бормоча, делая безразличное лицо, чтобы никто не заметил этой горчности. И она, к великой моей радости, слушала внимательно, не прерывая меня, смотря на танцующих, мерно махая веером из дымчатых страусовых перьев.

— Я знаю,—говорил я с безразличным лицом, по все горячее и поспешнее, мучительно сдерживая дрожащую на губах улыбку счастья от того, что она так терпеливо слушает меня, должно быть только делая вид, что заплата танцующими,—я знаю,—говорил я, уже не веря своим словам,—что я не смею ни на что надеяться... Вот вы нынче не позволили мне заехать за вами...

Тут она, все так же не глядя на меня, безразлично заметила:

— Мой кучер прекрасно знает дорогу сюда.

Но я принял это за шутку и продолжал еще настойчивей:

— Да, я ничего не жду, с меня довольно и того, что вот я стою возле вас и имею жалкое счастье высказать вам наконец полностью все то, что я так долго не договаривал... Уж одно это,— бормотал я, вытирая платком ледяной лоб и не сводя глаз с ее длинной ресницы в пыльных пудры и с разреза губ,— уже только это одно...

Извиваясь среди танцующих, к нам подбежала веселая рыжая барышня с последним букетиком ландышей в плетеной корзиночке. Я бессмысленно взглянул на ее обрызганное песнушками личико и торопливо положил в корзиночку пятьдесят рублей, не взяв букетика. Барышня мило улыбнулась, присела и побежала дальше. Я хотел продолжать, но не успел,— заговорила и она наконец:

— Как надоела мне эта фарфоровая дура, ни один бал без нее не обходится,— сказала она, продолжая махать на меня веером теплый воздух и глядя на белокурую красавицу, приближавшуюся к нам вместе с прочими танцующими в паре с офицером-грузином.— Жаль, что вы не взяли ландышей, я бы сохранила их на память о нынешнем бале... Впрочем, он и так будет памятен мне.

Я с трудом передохнул от восторга и, опустив глаза, с трудом вымолвил:

— Памятен?

Она слегка повернула ко мне голову:

— Да. Я уже не раз слышала ваши признания. Но ниче вы имели, как выразились, «жалкое счастье» высказаться наконец «полностью» относительно своих чувств ко мне. Так вот нынешний бал будет мне памятен тем, что я тоже уже «полностью» возненавидела вас с вашей восторженной любовью. Казалось бы, что может быть трогательнее, прекраснее такой любви! Но что может быть несноснее, нестерпимей ее, когда не любишь сама? Мне кажется, что с нынешнего вечера я не в силах буду даже просто видеть вас возле себя. Вы подозревали, что я в кого-то влюблена и потому так «холодна и безжа-

лостна» к вам. Да, я влюблена — и знаете в кого? В своего столь прези­раемого вами супруга. Подумать только! Ровно вдвое старше меня, до сих пор первый пьяница во всем полку, вечно весь багровый от хмеля, груб, как унтер, днюет и ночует у какой-то распутной венгерки, а вот поди ж ты! Влюблена!

Я с головокружением поклонился ей и медленно выбрался из толпы на площадку лестницы, думая, что уже ничего, кроме самоубийства, не остается мне после такого позора. Но там, в толпе, я должен был обо­йти ка­кого-то неподвижно стоявшего на расставленных ногах, заложившего руки с шапо­кляком за спину, немоло­дого господина, грубо­го и крупного, в просторном поношенном фраке, в приче­ске а-ля мужик. И в ту же минуту прошла мимо него с раскрытым перламутровым веером в слегка дрожащей руке тонкая, высокая девушка в бледно-розовом газовом платье, певни­тно, мерт­во, закрывалась веером, выговори­ла: «Завтра, в четыре», — и, ало покраснев, скрылась в толпе. Он, все так же твердо стоя на расставленных ногах и помахивая за спиной шапо­кляком, с самодовольной усмешкой прикрыл глаза в знак того, что слышал се. Я дерзко шагнул к нему и, замирая от бешеной зависти, раздельно сказал, как заправский скандалист:

— Милостивый государь, вы мне ужасно не нравитесь.

Он удивленно поднял брови:

— Что с вами? И с кем я имею честь...

Я запальчиво перебил его:

— Я сейчас поставлю вас в известность, кто я, а пока скажу, что вы хам и что я вызываю вас.

Он сдвинул по­ги, выпрямился:

— Вы пьяны? Вы сумасшедший?

Нас уже обступили. Я бросил в лицо ему свою визитную карточку и, зады­хаясь, с торжественной театральностью сумасшедшего, пошел по лестнице вниз...

Вызова с его стороны, конечно, не последовало.

29 апреля 1944

ЛОВЧИЙ

В людской избе, на большой печи, в сумраке, зиму и лето лежал Леонтий, длинный и невероятно худой, заросший седой щетиной бороды, бывший бабушкин повар. В летние дни в людской часто бывало пусто, один Леонтий лежал на печи. На столе были прикрыты рядом черные хлеба. Я приходил, садился на лавку, отламывал корку, солил и ел. А Леонтий лежал и говорил:

— Да, барчук, не всегда я так лежал, мусором голову пересыпал. Не всегда и поваром был. Я у вашего дедушки по бабушке, у Петра Алексенча Чамадунова, ловчим был, стайей правил.

— Стаей собак?

— Так точно. Не телят же! Был сперва простым доезжачим, борзых, значит, вел, а вследствие времени ловчим стал. А ведь это вам не книжку прочесть, тут даже простого русака оследить, и то надо ум иметь. Вот хоть взять охотничий подклик — тут не одно хайло пужно! Тут кураж нужен. А я, бывало, как падам: «О, гой!» — так весь лес дрогнет! Опречь того, был дедушка наш охотник смертный, завзятый, — ему угодить не всякий мог. Была у него заветная паложница, девка именем Машашка, — я потом расскажу вам как-нибудь, как я из-за нее погиб, попал под страшный сюркуп... Уж как он людей своих терзал, до чего неприступен был! А эта Машашка просто веревки из него вяла, он за пажное ее при творство на все был готов. «Она мне, Леонтий, милая

всех на свете!» Так прямо и говорил мне. Я ему в ответ, что не может того быть, что, мол, это вы только замысловато шутить изволите, а он мне еще тверже того: «Нет, не шучу, и ты изволь слушать меня с примечанием». Ну, а я все противных мыслей был, все думал про себя: погодите, погодите, сударь, покажет она вам себя в некий срок! Ведь на сусле пива не узнаешь, ведь сейчас-то она пока девчонка, а пот как станет в летя входить... Они же между тем в даль свои мечты не простирали,— мол, когда-то еще это будет! Мы такое заведение имели, после осенних охот был у нас всегда большой публичный стол, так что же вы думаете? — они эту девку с гостями сажали! Ну, а после Малашки пащет охоты с ума сходили, и охоту держали мы истинно знаменитую. Так собаку любить, как дедушка любил, никто по вселенной не мог. Они всякую охоту обожали, — *и ла шас о леврье и о шьен куран*, — иной раз интересовались даже и мокрой, а весной по брызгам...

— Какой мокрой?

— А всякой, значит, болотной. И каких только собак у нас не было! Были понтеры, были сеттеры, были лягавые, а борзым и гончим и счет потеряешь — их за усадьбой целый стан у нас стоял. Ну и я гончих и борзых любил — может, не меньше дедушки. Из того и холостой навек остался, не увлекался самыми первыми красавицами. Да и некогда было, круглый год только стал на уме. Да и что эти красавицы, барчук! Все, как говорится, на один п тот же вкус, подобно курице, — что черный, что белый хохол. Все эти понтеры, сеттеры, лягавые мне были нивочем, ружья я и не знал. Бывало, спросит дедушка: «Ну как, Леолтий, на твой взгляд, моя новая лягавая?» Хороша, скажешь, сударь. Стоит мертво, подает отлично. Они опять изволят ко мне приставать: «Нет, ты скажи мне, пожалуй, хорошенько, что ты точно думаешь?» Да что ж, говорю, могу я точно думать? Не возьмите во гнев: не могу я ни понтера, ни сеттера, ни лягавую любить, из какого гнезда они ни будь.

— Как из гнезда?

— А это всегда так, сударь, говорилось: из дурного гнезда собака, из хорошего гнезда собака... из какой фамилии, значит.

— А как еще говорилось?

— А мало ли как. Теперь так уж не могут говорить.

— Ну скажи что-нибудь.

— Да что ж не к делу говорить? Это подобно тому, как песню петь некстати. Вот была, к примеру сказать, самая главная песня у нас — лучше этой песни, на мой взгляд, на свете нет, а петь ее надо было тоже ко времени. Это была самая наша задумевшая: «Выпьем, други, на кровей!» Эту песню, сударь, пели на добыче:

Выпьем, други, на кровей!

И вот уж истинно картина была: лежит на поляне взятый зверь, кровавой, гордый, уж с пленкой на глазах, с закушенным языком, а вокруг него целой ассамблеей охотники — вдарить в рог, и грянут все хором: «Выпьем, други, на кровей!» И вот какое дивное дело бывало почесть всегда: как нарочно о ту пору солнце выглядывало! То все дождь сеет, а тут как раз стихнет, разойдется мгла, засинеет в небе и солнце глянёт: весь мокрый лес озарит, согреет, сделает такой апофеоз — во век не забудешь! А дедушка стоял во всем своем охотничьем наряде замечательнее всех, с чаркой в руке, а возле них — их самый главный фаворит Победим...

— Это его гоичий кобель?

— Так точно-с.

— Так ведь ты как-то говорил, что Победим уж старый был?

— Что ж, что старый! Прямо герой был даже и в ту пору! Он раз в одно поле...

— Это значит сразу?

— Никак нет. За один день, лучше сказать, за одно полевание. Он за этот день взял целых пятерых лобанов! Был из себя приземистый, брудастый, иначе сказать, усатый, и мастью муругий, — вроде как черный, только с красной, — лапы стойкие и локотках с кривизной немножко, а уж про грудь и говорить нечего: Еруслан! И весь в щипках и хватках — волки не раз пятнали. Мы его на Бушуй у князя выменяли, молодым еще, он тогда еще не опсоев как следует, а уж видно было, что из него будет. А Бушуй хоть и знаменит был, да уж стал на базалайке погнрывать...

— Как это на балабайке?

— Паршиветь с годами стал. Сядет — и ну лапой бить по бокам, по ушам!

— А что значит не опсовел?

— А это всегда так говорится про молодого кобеля, — значит, еще не стал настоящим псом. Да и про суку тоже: молода, мол, еще не опсовела. Это как про зверя говорят, про волка: прибылой, значит, молодой, а если старый, то это в просторечии лобан, матёрый. Если же взять, к примеру, зайца, так он бывает, во-первых, февральский, настовик...

— Почему настовик?

— По той причине, что о ту пору снег уж крепко запастел, коркой, настом покрылся, а он любит по этому насту жировать, иначе сказать, играть, нетли делать. Вон лисица, та любит мышковать, мышей по полю промышлять, вроде как дворовая сучка по полю за ними мышкует, сычует, — ведь сычи и совы тоже за ними охотятся, — а заяц, он только с жиру играет, жирует. И это настовик называется, а старый русак, он голубой: он уж, значит, выцвел, серую шерстку спустил.

— Ну, хорошо, а как же это Победим в одно поле пять лобанов взял?

— А так и взял. Очень лют был. И характера самодурного, упрямого. Пока не разорвалась охота, идет будто скучный, равнодушный. Он от свор, от стаи всегда одиночкой ходил, беспрерывно возле дедушки, и все будто что-й-то думает, хмурится, никуда не спешит. Да и дома такой же! Бывало, кричишь на-корму: «Атрыш!» — чтобы, значит, не кидались собаки не повремя к корму, а он и не слушает — стоит отвернувшись, сам, мол, знаю время. Кричишь наконец того: «Надбруц!» — значит, разрешаешь на корыто с запаркой кипуться — он опять не спешит, подходит будто нехотя, и уж тут не стой другая собака возле него близко — так рыкнет да оскалится, что дай бог ноги унести! Вот я и говорю: все, бывало, сам по себе ходил, возле дедушки. И умен до того, что только не говорит: будто и не смотрит, а всякий дедушкин взгляд видит, знает и от его стремени, пока работы нету, ни на шаг. А уж это, по охотникам

замечаниям, много значит. Так и говорится: умища собака, от стремени без дела ни на пядь.

— А еще какие у вас знаменитые кобели были?

— Гончие то есть? Был Будило, Карай, Вопило, Пылай... Были сучки отменные, чистопсовые, все больше краснопегие: Вьюга была, Стрелка, Заира... Эта Заира воейковскую Ласку с ушей обрывала!

— Перегоняла?

— Так точно.

— А у ней щипец хорош был?

— Не кстати, сударь, говорите. Слыхали зов, да не знаете, где он. Щипец, а попросту говоря, пасть, это только у зверя бывает. Это как всякий хвост поленом называется, а лисий — трубой. Хвост не охотничье слово.

— А лисий след — парыск?

— Не парыск, а пáрыск, — тут надо на «па» упираться. Она рыскает, вот и выходит пáрыск.

— А где ее ждут? На лазу?

— И опять ни к чему вы говорите. Тут опять на «зу» падо упираться — на лазу! — а главное, это не лисицу, а волка ждут на лазу, там, значит, где он вылезает, да и то не всегда — мало ли где его ждут! И что ж это вы все меня сбиваете, слова не дадите сказать? Вот я уж и забыл, о чем была речь.

— Ты про Победима хотел рассказать.

— Ну да, а вы все сбиваете. Вот я и говорю — приказали раз дедушка большой охоте быть. Раз говорят мне: «Знаешь, Леонтий, я даже ночь вчерась не спал, упражнен будучи с самой ужины воображением насчет наших охот. Разбился в идеях, куда ж нам на полевание идти? Надоели мне наши скаредные места. Конечно, легче в безделицах упражняться, нежели в делах изрядных, иначе это не мой вкус. Будем брать поле в Верховьи». Уж очень, говорю, непролазные места, сударь. Тем лутче, говорят, молчи и слушай мое готовое. Потом, после ужины...

— После ужина?

— Это теперь так выражаются, а мы говорили по-своему, по-старому. Ну так вот, дали после ужины повторительный приказ камердишеру, чтобы как можно скорей кофий им парани подали. Опочивать изволили

рано, по разговорах со мной вскорости к себе ретировались, поутру же были изрядно строг, все вподслона приказывал. Чем свет опять меня зовут. Леонтий, говорят, повторяю тебе — мы выпешний год сраммся до девятой пуговицы, большой охотой все маинкируем, с поля иной раз уходим, не выдав ни шерстинки. Я отвечаю, что, мол, не напн в том вина, время все стояло теплое, всякая зверь хоропилась, не в рыску была...

— На «ку» падо упирать?

— Так точно. Значит, не рыскала. Ездили, говорю, раза два по белотропу...

— Это по первой пороше?

— Ах, сударь, замучили вы меня! Ну, конечно, так. Ездили, говорю, по белотропу, а он под копытом таял — разве эта охота? Все перемочки, изгарь, сырая прóходь... Вот теперь другое дело, и зверь уж вылез как следует...

— Откуда вылез?

— Из лесу. Это когда оп позднюю осень почует и в лесу больше не хоронится, а в поле выходит. Опять же, говорю, и Победим хворал, а мы все на Катая надеялись, с ним роль хотели разыграть. (Дедушка тогда только что выменяли у Рудина на Резвую этого Катая и увлекались, понлтно.) Катая, говорю, нельзя покорить, собака ладная и с ногами, работает правильно, да разве Победиму чета?

— А какой Катай был? Чернопегий, краснопегий или полвопегий? Брудастый?

— Ить как вы наострились, сударь! А спроси вас, какой такой полвопегий, ан и не знаете.

— Пет, знаю. Белый в желтых пятнах.

— Правильно-с. А брудастый?

— Ты это уже говорил. Усатый.

— Опять верно. А подуздый?

— А это когда нижняя челюсть маленькая.

— В аккурат верно. А Катай был чернопегий и брудастый. Ну хорошо, только опять мы с вами с дороги сбились, падо вам досказать про Победима. Вышли в тот день дедушка на крыльцо раным-рано, огляделись — пу, говорят, с богом на-конь! Двиннулись мы всем нашим многолюдством, прошли по венцу нашей горы, выровня-

лись на простор, подпрыгнул дедушка на своем булапом на темя и приказали начинаться поля...

— На какое темя?

— Ах, дарица небесная! Ну как это сказать? На возвышенное место, попросту говорю... Шли сперва по мелочам, по мелкому, значит, кустарнику, потом свалились в луга к лесу, перешиб я луга рысью и стал подвигать. Только отголосу не слышу никакого,— верно, думаю, она на добыче. Выскочила было лисица да скатилась в овраги и сразу попорчилась, ушла в свое пырище, не стали мы на нее и время терять. Потом подблизил я русака, хлопнул арапельником — заложился за ним Стрелка с Запроей по грани, сладились...

— По грани? Это по рубежу, значит?

— По меже, по рубежу... Спят, спят...

— Настигают?

— Понятное дело. Спят за ним почесть ухо в ухо, только стал он вдруг отростать от них...

— Как это отростать?

— Уходить, сударь, уходить. Да Заира не глупей его была — падала маленько, сбила его с грани и покатила вместе с ним, а тут стая и накрыла их. Дедушка кричит: «Прими!» — а я уж давно припал...

— Заколот?

— Конечно, заколот, да кто ж так-то говорит? Приказная строка какал-нибудь! Да не в том дело, сударь, я все это к тому, что, кроме этих пустяков, ничего мы в тот первый день не сделали до самого вечера. Вечеру встретили охоту Рудина, сбили обе стаи в одну и пошли к псу на паслег, подвалили к усадьбе...

— На ячлег?

— На паслег, сударь, на паслег. А у Рудина...

Но мне, как это часто бывает с детьми, вдруг стало скучно, хотелось в сад, на пруд. Я начал вертеться, уже плохо слушал, что было у Рудина, и наконец под каким-нибудь предлогом ускользал из избы, пообещав Леонтию прийти дослушать его завтра. И Леонтий опять оставался один в сумраке на печи, в пустой избе, со своими думами о временах дедушки.

Париж, 1946

ПОЛУДЕННЫЙ ЖАР

Жаркий день, вся дворня на покосе, усадьба кажется брошенной,— во всей усадьбе только я и дурочка Глаша. Она гостит у нас, теперь сидит под раскрытым окном людской, обращенной задом к солнцу, темной, полной мух и, оттого что в ней пекли утром хлеба, очень жаркой. Сидит и что-то говорит: часто сидит так до самого вечера и все говорит, вслух думает. Я вышел из дому,— увидав меня, кличет к себе:

— Папаша, поди-ка ко мне. Поди, не бойся.

Я вхожу в тень избы и сажусь под окном на скамейку.

— Чего ж мне бояться, Глаша, я не боюсь.

Она с ласковым сожалением качает головой:

— У, дурак, дурак. Как же не бояться? Я глупая, убогая, а спокоя веку боюсь. Все думаю, все боюсь. Прежде лежала сколько лет, а он меня в тележке возил..

— Кто возил?

— Оська возил, сирота, отрок божий, первый вор был на всех ярманках, потом, сказывали, в остроге в Задонске сидел. Я, бывало, лежу, а он меня везет, по всем деревням вприщет кричит, милостинку на меня просит, а я лежу, я, мол, убогая, безногая. Мне не бог ножки отвил, я сама отлежала их, сама в тележку легла, а кто ж бы

мне дал, кто милостинку сотворил? Никто бы не дал, дур и так на свете много, побирушек, папаша, много, а народ, он жадный. Они все, мужики-то, жадные, всякому жалко с копейкой расставаться, а корку хлебную, горбушку, он ее блажей цыпленку размочит, цыпленка своего напичкает. Я и лежу, а он кричит, по полям, по деревням меня везет, по ярманкам. По ярманкам хорошо бывает, парод гамит, карусели летят, музыка, колокольчики, по церквам трезвон, не то что в поле, там-то и есть самый страх и жар.

— Какой страх и жар?

— У, дурак, дурак. Какой же бывает жар? Полу-денный жар, в какой Еву полуденный бес искусил. А как бросил Оська меня возить и тележку себе взял, я сама, папаша, стала просить, сама стала ходить, меня теперь все знают, все почитают, на станцию приду, жандар честь отдает, буфетчик чаем угощает. А по полям, по стенам, нету там, папаша, живой души, одни видения.

— Что ж тебе там видится?

Задумалась, стала говорить, глядя вдаль:

— В церковь венчать привезли меня, папаша. Жених высокий, лютый, а красивый, загляденье. Загляденье, до чего хорош! Свечи зажгли, венцы на нас надели. Народ стоит, а никто ничего не говорит. Боятся, папаша. Болтятся. А на мне будто портки черные, пинжак черный, я и рада, хорошая стою. Рада, веселая...

— Ну и что ж? Перевенчали вас, а потом?

Она очнулась от задумчивости:

— У, дурак! Нешто можно спрашивать? Он блуд со мной сотворил, а у меня сердце зашлось, я аж петухом закричала от той ужаси, проснулась и вся трлсусь, плачу, рыдаю, а на меня ангелы крыльями дуют со всех сторон, ничего не видать, темь, погреб, а я вижу, как они белеются, вихрем вьются округ меня... У, дурак, дурак! — ласково и восторженно сказала она грубым голосом и захохотала диким, блаженным хохотом. — А ты говоришь: не бояться! Как же не бояться?

Успокоившись, опять заговорила задумчиво:

— Да, вот он преподобный был, а как погибал! Он святой был, Серафимом звали, ангелом, а сперва про-

стой будильщик был. Была там обитель в лесу, а он монахов будил: «Вставайте, вставайте, душу не проспите!» По ночам их будил. Семь лет будил, послушанье нес, потом дьяконом сделали. А то все будил: вставайте, мол, — бесы на вас по кельям глядят, глазами горят, дышают, кахают. А как дьяконом стал, еще пуще страсти натерпелся. Выйдет, выйдет к народу, поднимет орань, хочет возгласить, аи нет, ничего не может закричать. Народ стоит, ничего не видит, а он видит, и то в жар его кипит, то в чистый мороз: то красный как кумач делается, то как снег белый. Да. Народ молчит, и он молчит, только одно видит: по всей церкви ангелы служат, по воздуху плывут, кадилами, дымом машут, грозой сверкают, ризы белые, крылья белые... Я тогда у батюшки гостила, он все это мне сказывал, по книжке читал. Как пьяный, так читать. Без умолку читал!

— У какого батюшки?

— У, как же не знаешь? У отца Федора, Успеные пресвятой богородицы. Церковь Успеные царицы небесной. И она, милый, тоже померла! Померла, папаша! И у него сын помер, от чухотки погиб, отец пьяница, и он пьяница был. Вошли, а он на диване лежит, закатил глаза, за рубашку, за грудь себе сгреб и только пену с губ пускает. Матушка вошла, поглядела — дышит, мол, ай уж нет? Нет, папаша, ничего не дышит! Царство небесное! Заплакала, залилась, чего ж вы, кричит, в больницу не съездили! А батюшка на пасеке был, рой пчелиный огребал, а он один в горнице лежал на этом диване... Потом раздели всего, на пол стащили, пришли старухи с горлечей водой, с ведрами, стали его мыть, а он лежит, попаша, белый весь, как пшеничная мука белый, голый. Потом рубашку на него крахмальную надели, на стол в ней положили, совсем новая была. Потом стали пиццим его добро раздавать, мне его прежнюю подарили, с косым воротом, а я взяла да ночью в бурьян бросила, он помер в ней, как же мне ее носить? А гроб шибко несли! Батюшка спешит, кадилом взвивает, а сам плачет, рыдает: Коля мой, Коля, что ж ты надо мной наделал! Как же я тебя своими руками хоронить буду? Лучше сана лишусь, а сам не могу! А я, убогая,

глупая, свое думаю, свое вспоминаю, как меня хоронили.

— Как это тебя хоронили, Глаша? Что это ты говоришь?

— Хоронили, милый, хоронили. Все архирей собрались, все священники. Везет меня Оська в степи, а тут рабочая пора вот-вот, все косить пойдут, все ржи сухие, желтые, горячие,— гляну, гляну, а им конца-краю нету, желтые, аж глаза ломит, жар огнем душит, и нигде-то ни души живой, ни голоса, будто все на свете смолкли, померли! Хлеб стоит, горит, грач и тот боком на дороге сидит, бельма завел, закатил, огнем во весь зоб дышит. А я лежу, закрыла глаза и лежу, меня мухи, оводы едят, а он, Оська, как пьяный идет, качается, босиком в пыли месит, пагнулся вперед, тащит меня, вся спина, вся рубаха от мух черная, пьют его пот... Он бы давно ограбил, убил меня в этой степи, в этот жар и зной, сам мне это говорил, со слюнями смеялся дурак, и никто бы на свете ничего не знал, не слышал, она, эта степь, до самого моря идет, да что ж он мог ограбить у меня! Один дерюжкий мешок с корками, с печеными яйцами, с медными копейками. Что с меня, милый, взять? Я и задремала, только слышу вдруг — идут и поют, идут на нас по этим желтым ржам и все громче поют, все в ризах золотых, в черных и серебряных... Я глянула, а они прямо на нас идут, хороните, поют, рабу божью по блаженном усении, машут на меня горячим ладаном! Закричал тут Оська-дурак не своим голосом и помчал во весь дух, куда глаза глядят,— тем мы, папаша, и спаслись, тем только и спаслись, милый. А то бы давно мои косточки в земле гнили!

«В ТАКУЮ НОЧЬ...»

Под Одессой, в светлую, теплую ночь конца августа. Шли, гуляя, по высоким обрывам над морем. Глядя на его широкую сияющую равнину, начал с шутливой важностью декламировать:

Луна блестит. В такую ночь, как это...

Она взяла его под руку и продолжала:

В такую ночь
Тревожно шла в траве росистой Тизба...

— Позвольте, позвольте: откуда это вы такая ученая, что даже Шекспира знаете?

— Оттуда же, откуда и вы. Не всегда же была добродетельной супругой и обывательницей богоспасаемого Ковотона. Киевскую гимназию с золотой медалью кончила.

— Ну, знаете, это так давно было...

— Это что же — милые дерзости? Ошибаетесь — всего двенадцать лет.

Он покосился на ее высокую, прямую фигуру, на оживленное лицо в веснушках:

— Правильно. Я еще позавчера, как только с вами познакомился, дал вам лет тридцать. Но это для хохлушки уже старость.

— Оставьте в покое мою старость. И я вовсе не хохлушка, а казачка. Лучше скажите, кто это Тизба, я забыла.

— А черт ее знает. Все равно — дальше что-то чудесное, насколько помню.

— Совершенно чудесное:

И тень от льва увидев прежде льва,
Вся ужасом объятая, пустилась
Стремительно бежать...

Он грустно продолжал:

В такую ночь печальная Дидона
Стояла на пустынном берегу...

Она кончила в топ ему:

В такую ночь
Медея шла, в полях собирая травы
Волшебные, чтоб юность возвратить
Язону-старичку...

— Господи, как хорошо! Тень от льва, какая-то Медея, какие-то травы волшебные... И никого-то нет, кто б полюбил меня!

— А я-то на что?

— Вы циник и прозаик. А мне нужен поэт. Да и не к чему — две недели моего отпуска вот-вот пролетят стрелой, а там опять Копопот!

— Не беда. Хорошо только короткое счастье.

Как сладко спит сияние луны
Здесь на скамье!

То есть не на скамье, а на этом обрыве. Посидим немного, Медея.

— Посидим, Язон...

Свернув с тропинки, соли на пересохшую траву над самым обрывом.

— Что хорошо у нас, Дидона, так это ваш грудной, хохлацкий голос. И потом, вы умница, веселая...

Она сияла с голой ноги татарский башмачок, вытряхивая из него пыль, и пошевелила пальцами продолговатой ступни, до половины темной от загара.

— И нога чудесная. Можно поцеловать?

— Ни в коем случае. В такую ночь печальная Медел... В такую ночь... Ну что это за безобразие, даже не даст договорить...

Возвращались медленно, поздно, когда луна стояла уже совсем низко, золотая вода сумрачно светилась у берега внизу, и было так тихо, что слышны были ее полусонные приливы и отливы.

7 апреля 1949

АЛУПКА

Солнце только что скрылось, еще светло, но в жарком меркнушем воздухе, в синеватой неопределенности неба, над кипарисами Алупки, уже реют и дрожат чуть видимые, как паутина, летучие мыши. Закрывая на ходу плоский цветной зонтик, которым все вертела на плече, спускаясь по пыльному переулку к пансиону, быстро вошла в жидкий садик, усыпанный галькой, и взбегает на террасу, где доктор один полулежит на качалке в ожидании обеда: в пансионе еще пусто, кто в парке, кто на берегу под парком, кто встречает вечерний почтовый дилижанс из Ялты.

— Слышал? — возбужденно говорит она, входя. — В Ялту приехали артисты Малого театра! Не играть, конечно, а так... Чуть не вся труппа, Лешковская с Южиным...

— От кого же я мог это слышать? Ты, конечно, как всегда, почему-то бегала встречать дилижанс?

— Да, и встретила доктора Никитина, его вызвали к старухе Крестовниковой, он мне и рассказал это...

— Очень рад, только не понимаю, почему ты объявляешь мне об этом приезде так, словно случилось нечто что? Вбегаешь вне себя, вся красная, в поту, завитушки на лбу растрепаны...

— Будешь вне себя, когда в этой милой Алушке день и ночь задыхаешься от жары и духоты! Но дело вовсе не в моей наружности, а в том, что я хотела тебе сказать, что ты как хочешь, а я больше не могу сидеть тут!

— А где же ты хочешь сидеть? В Ялте?

— Да, хотя бы в Ялте.

— И все потому, что туда приехали артисты Малого театра? Да ты что — из Чухомы, что ли? И почему ты вдруг стала такой театралкой? В Москве бываешь в этом Малом театре раз в два года, а тут вдруг так поражена этим приездом!

— Иначе я не поражена, но как ты наконец не понимаешь...

— Что не понимаешь?

— То, что мне твоя Алушка и этот «семейный» пансион осточертели! В Ялте...

— В Ялте, разумеется, совсем не то! В Ялте проводники, набережная, а теперь еще хромая Лешковская с Южинным. Какое же сравнение! Но мы, мой друг, приехали в Крым не ради проводников, а ради отдыха.

— Мы, мы! Слышать не могу этого мы! Мы ведь все-таки не сямские близнецы, Алексей Николаевич!

Доктор приподнимается и садится, удивленно глядя на нее, в первый раз заметив вдруг, до чего она изменилась за последнее время и особенно за эти три недели в Крыму, чуть не с утра до вечера лежа на гальке у моря под парком и по пяти раз в день купаясь: загорелое лицо окрепло и округлилось, глаза ланились блеском, плечи, груди, бедра расширились, что особенно явно под легким платьем из сарпинки, вся горячо пахнет этой сарпинкой и загорелым телом, обнаженные коричневые круглые руки точно отполированы... Доктор пожимает плечами, стараясь быть спокойным и строгим:

— При чем тут сямские близнецы?

— При том, что я прекрасно предвидела всю эту сцену и дорогой твердо решила переехать одна, если ты не переедешь. И перееду, а ты как знаешь.

— Постой. Да ты в своем уме? Что с тобою? Внезапное острое помешательство? «Приехали артисты Малого театра, переезжаю в Ялту, а ты как знаешь...»

— Разумеется, как знаешь, раз ты...

— Что л?

— Раз ты вот настолько не думаешь обо мне! Ты, за все пять лет нашего милого супружества, которое все величают «идеальным»...

— Помилуй бог, какая адская ирония!

— Да, для тебя оно, разумеется, «идеальное»! Сиди себе в кабинете да раздевай своих несчастных идютов — вздохните — не дышите, вздохните — не дышите, а я... И вот-вот опять Мерзляковский переулок, и опять ты будешь месяца два рассказывать всем знакомым, как «чудно» отдохнули «мы» летом! В прошлом году расписывал Волгу, в позапрошлом Евпаторию, а нынешнем будешь расписывать Алупку... Довольно с меня этих от-дыхов!

— Да ты что? Сбежать от меня решила?

— Я ничего не решила, только я больше не могу! Не могу и не могу!

— Все это прекрасно, но, во-первых, надо решить, куда именно и с кем и с чем бежать, а во-вторых, все-таки не кричать на весь дом.

— Хочу и кричу! И буду кричать! Парочно буду!

В их комнате на втором этаже, очень тесной от двух кроватей, двух кресел, гардероба со скрипучими, разошедшимися дверками, умывальника и чемоданов под вешалкой, воздух горяч и неподвижен, в окно, открытое на совсем уже померкшее небо, летит малейшего дуновения. Вбежав туда, она падает в кресло, на спинку которого брошен купальный халат, еще не высохший, противно пахнувший теплой сыростью, и с бьющимся сердцем, зло и решительно смотрит перед собой, не выпуская из рук зоптика.

21 апреля 1949

В АЛЬПАХ

Влажная, теплая, темная ночь поздней осенью. Поздний час. Селенье в Верхних Альпах, мертвое, давно спящее.

Автомобиль набирает скорость с горизонтально устремленными вперед дымчато-белесыми столпами. Освещаемые ими, мелькают вдоль шоссе кучки щебня, металлически-меловая хвоя чахлого ельника, потом какие-то заброшенные каменные хижины, за ними одинокий фонарь на маленькой площади, самоцветные глаза бессонной кошки, соскочившей с дороги,— и черная фигура размашисто шагающего, развеивая подол рясы, молодого кюре в больших грубых башмаках... Шагает, длинный, слегка согнутый, склонив голову, одиноко не спящий во всей этой дикой горной глуши в столь поздний час, обреченный прожить в ней всю свою жизнь,— шагает куда, зачем?

Площадь, фонтан, грустный фонарь, словно единственные во всем мире и неизвестно для чего светящийся всю долгую осеннюю ночь. Фасад каменной церковки. Старое обнаженное дерево возле фонтана, ворох опавшей, почерневшей, мокрой листвы под ним... За площадью опять тьма, дорога мимо убогого кладбища, кресты которого точно ловят раскинутыми руками бегущие световые полосы автомобиля.

1949

ЛЕГЕНДА

Под орган и пение,— все пели под орган нежное, грустное, умиленное, говорившее: «Хорошо нам с тобой, господи!» — под орган и пение вдруг так живо увидел, почувствовал ее,— мой вымысел, неожиданный, внезапный, неведомо откуда взявшийся, как все мои подобные вымыслы,— что вот весь день думаю о ней, живу ее жизнью, ее временем. Она была в те давние дни, что мы зовем древностью, но видела вот это же солнце, что вижу и я сейчас, эту землю, столь любимую мной, этот старый город, этот собор, крест которого все так же, как в древности, плывет в облаках, слышала те же песнопения, что слышал нынче и я. Она была молода, ела, пила, смеялась, болтала с соседками, работала и пела, была девушкой, невестой, женой, матерью... Она умерла рано, как часто умирают милые и веселые женщины, и была отпета в этом соборе, и вот уже несколько летков нет ее в мире, где без нее было столько новых войн, новых пап, королей, солдат, купцов, монахов, рыцарей, меж тем как все лежали и лежали в земле ее пористые кости, ее пустой маленький череп... Сколько их в земле, этих костей, черепов! Все человеческое прошлое, вся людская история — сонмы, легионы умерших! И будет день,

когда буду и я, сопричисленный к ним, так же страшен
своими костями и гробом воображению живых, как все
они,— то несметное полчище, что затопит всю землю
в оный Судный час,— и все-таки будут новые живые
жить мечтами о нас, умерших, о нашей давней жизни,
о нашем древнем времени, что будет казаться им пре-
красным и счастливым,— ибо легендарным.

1949

«UN PETIT ACCIDENT»¹

Зимний парижский закат, огромное панно неба в мутных мазках нежных разноцветных красок над дворцом Палаты, над Сеной, над балльной площадью Согласия. Вот эти краски блекнут, и уже тяжело чернеет дворец Палаты, сказочно встают за ним на алеющей мути заката силуэты дальних зданий и повсюду рассыпаются тонко и остро зеленеющие язычки газа в фисташковой туманности города, на сотни ладов непрерывно звучащего автомобилем, в разные стороны бегущими со своими огоньками в темнеющих сумерках. Вот и совсем стемнело, и уже блещет серебристо-зеркальное сияние канделябров Площади, траурно льется в черной вышине грозовая игра невидимой башни Эйфеля, и пыласт в темноте над Бульварами грубое богатство реклам, огненный Вавилон небесных вывесок, то стеклянню струящихся, то кроваво вспыхивающих в этой черноте. И все множится и множится бегущие огни автомобилей, их разноголосое звучащее потока,—стройно правит чья-то незримая рука его оркестром. Но вот будто дрогнула эта рука,—близ Мадлен какой-то затор, свистки, гудки,

¹ Маленькое происшествие (франц.).

стесняется, сдвигалась, лавина машин, замедляющая бег целой части Парижа: кто-то, тот, что еще успел затормозить в этой лавине свою быструю каретку, ярко и мягко освещенную внутри, лежит грудью на руле. Он в шелковом белом кашне, в матовом вечернем цилиндре. Молодое, пошло античное лицо его с закрытыми глазами уже похоже на маску.

1949

БЕРНАР

Дней монах на земле осталось уже мало.

И вот вспоминается мне то, что когда-то было записано мною о Бернаре в Приморских Альпах, в близком соседстве с Антибами.

— Я крепко спал, когда Бернар швырнул горсть песку в мое окно...

Так начинается «На воде» Мопассана, так будил его Бернар перед выходом «Бель Ами» из Антибского порта 6 апреля 1888 года.

— Я открыл окно, и в лицо, в грудь, в душу мне пахнул очаровательный холодок ночи. Прозрачная синевя неба трепетала живым блеском звезд...

— Хорошая погода, сударь.

— А ветер?

— С берега, сударь.

Через полчаса они уже в море:

— Горизонт бледнел, и вдали, за бухтой Ангелов, виднелись огни Ниццы, а еще дальше — вращающийся маяк Вильфранша... С гор, еще невидимых, — только чувствовалось, что они покрыты снегом, — доносилось иногда сухое и холодное дыхание...

— Как только мы вышли из порта, яхта ожила, повеселела, ускорила ход, заплясала на легкой и мелкой

зыби... Наступал день, звезды гасли... В далеком небе, над Ниццей, уже зажигались каким-то особенным розовым огнем снежные хребты Верхних Альп...

— Я передал руль Бернару, чтобы любоваться восходом солнца. Крепнувший бриз гнал нас по трепетной волне, я слышал далекий колокол, — где-то звонили, звучал *Angelus*... Как люблю я этот легкий и свежий утренний час, когда люди еще спят, а земля уже пробуждается! Вдыхаешь, пьешь, видишь рождающуюся телесную жизнь мира, — жизнь, тайна которой есть наше вечное и великое мучение...

— Бернар худ, ловок, необыкновенно привержен чистоте и порядку, заботлив и бдителен. Это чистосердечный и верный человек и превосходный моряк...

Так говорил о Бернаре Мопассан. А сам Бернар сказал про себя следующее:

— Думаю, что я был хороший моряк. *Je crois bien que j'étais un bon marin.*

Он сказал это, умирая, — это были его последние слова на смертном одре в тех самых Антибах, откуда он выходил на «Бель Амн» 6 апреля 1888 года.

Человек, который видел Бернара незадолго до его смерти, рассказывает:

— В продолжение многих лет Бернар делил бродячую морскую жизнь великого порта, не расставаясь с ним до самого рокового отъезда его к доктору Блаш, в Париж.

— Бернар умер в своих Антибах. Но еще недавно видел я его на солнечной набережной маленького Антибского порта, где так часто стояла «Бель Амн».

— Высокий, сухой, с энергичным и продубленным морской солью лицом, Бернар не легко пускался в разговоры. Но стоило только коснуться Мопассана, как голубые глаза его мгновенно оживали, и чужно было слышать, как говорил он о нем!

— Теперь он умолк навеки. Последние его слова были: «Думаю, что я был хороший моряк».

Я живо представляю себе, как именно сказал он эти слова. Он сказал их твердо, с гордостью, перекрестившись черной, иссохшей от старости рукой:

— *Je crois bien que j'étais un bon marin.*

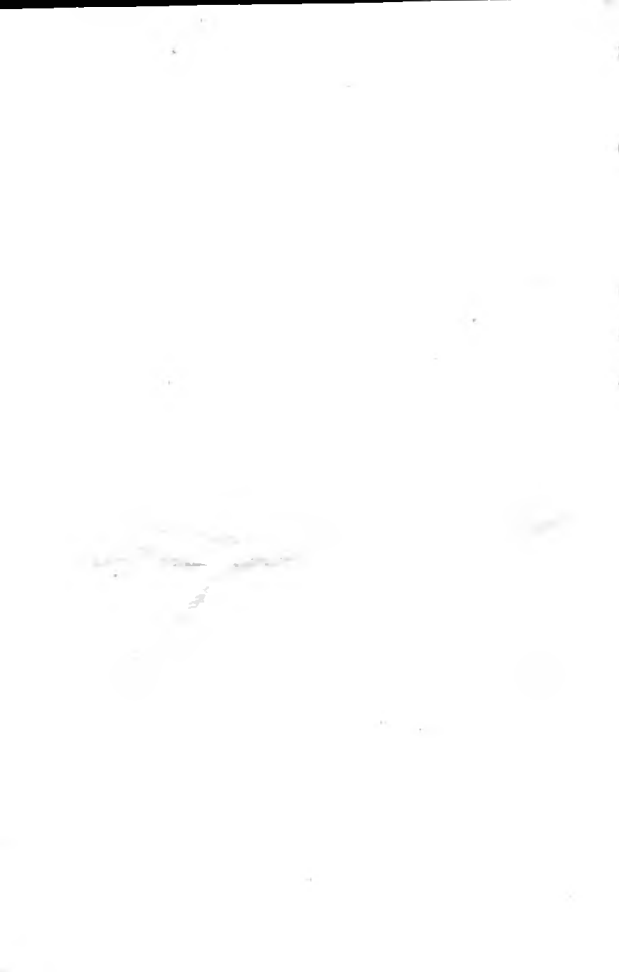
А что хотел он выразить этими словами? Радость сознания, что он, живя на земле, приносил пользу ближнему, будучи хорошим моряком? Нет: то, что бог всякому из нас дает вместе с жизнью тот или иной талант и возлагает на нас священный долг не зарывать его в землю. Зачем, почему? Мы этого не знаем. Но мы должны знать, что все в этом непостижимом для нас мире непременно должно иметь какой-то смысл, какое-то высокое божье намерение, направленное к тому, чтобы все в этом мире «было хорошо» и что усердное исполнение этого божьего намерения есть всегда наша заслуга перед ним, а посему и радость, гордость. И Бернар знал и чувствовал это. Он всю жизнь усердно, достойно, верно исполнял скромный долг, возложенный на него богом, служил ему не за страх, а за совесть. И как же ему было не сказать того, что он сказал, в свою последнюю минуту? «Ныне отпущаеши, владыко, раба твоего, и вот я осмеливаюсь сказать тебе и людям: думаю, что я был хороший моряк».

— В море все заботило Бернара, писал Мопассан: и внезапно повстречавшееся течение, говорящее, что где-то в открытом море идет бриз, и облака над Эстерелем, означающие мистраль на западе... Чистоту на яхте он соблюдал до того, что не терпел даже капли воды на какой-нибудь медной части...

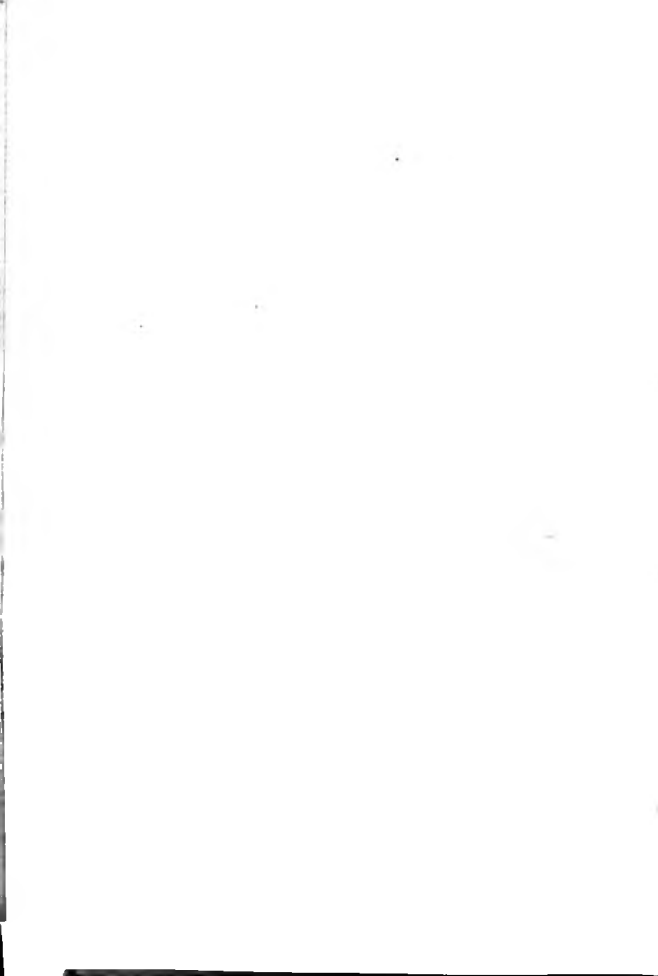
Да какая польза ближнему могла быть в том, что Бернар сейчас же стирал эту каплю? А вот он стирал ее. Зачем, почему?

Но ведь сам бог любит, чтобы все было «хорошо». Он сам радовался, видя, что его творения «весьма хороши».

Мне кажется, что я, как художник, заслужил право сказать о себе, в свои последние дни, нечто подобное тому, что сказал, умирая, Бернар.



ПРИМЕЧАНИЯ



В седьмом томе собрания рассказы, написанные Буниным в последние двадцать лет его долгой жизни. Нетрудно заметить, что и с точки зрения житейской, и с точки зрения исторической годы эти (1931—1953) для Бунина оказались рассечены примерно пополам: первое, «мирное» десятилетие отмечено его Нобелевским лауреатством (1933), спокойной и сосредоточенной работой над романом «Жизнь Арсеньева» (см. т. 6), относительной материальной обеспеченностью и окончательным европейским признанием его таланта; десятилетие следующее принесло оккупацию Франции гитлеровскими войсками, голод и страдания писателя в отрезанном Грассе, а затем — тяжелую болезнь и медленное угасание в подлинной нужде и гордой бедности.

Биологический возраст человека не совпадает с его календарным возрастом. И в свои шестьдесят-семьдесят лет Бунин оставался все тем же — юношески стройным, не по годам темпераментным и жадным к жизни, лдовито наблюдательным и подвижным. Как будто сбывалось шуточное предсказание Чехова: «Вы же здоровеннейший мужчина, только худы очень, как хорошая борзая. Принимайте аппетитные капли и будете жить сто лет»¹. Но уже начиная с 1947—1948 годов, как отмечает близко знавший писателя журналист Андрей Седых, «болезни не оставляли Бунина, и вместе с болезнями и полной невозможностью работать, материальные его дела пришли в окончательный упадок. Началась большая нужда»².

¹ См. т. 9 наст. Собрания сочинений.

² Андрей Седых, *Далекие, близкие*, Нью-Йорк, 1962, стр. 220.

Если кратко определить основное настроение эмигрантских рассказов Бунина, то это будет чувство одиночества, полнейшей изоляции человека от ему подобных,—настроение, свойственное и дореволюционной прозе Бунина, но стократ усиленное порвавшимися связями с родиной. Это крик отчаяния при виде разобщенности людей и неизбежности надвигающейся смерти; это все растущая боль изнурения, растворения в ничто. Недаром «лирикой уничтожения и человеческого бессилия» называли позднюю бунинскую прозу в эмигрантской критике.

Полное уничтожение грозит, по мысли Бунина, не только «малым сям», о которых забудут через два-три дня после их смерти,—умерла от «черной заразы» Лаура, возлюбленная Петрарки, прославленная им в бессмертных стихах. И что же? Обегает время малый круг, и уже в 1533 году никому не ведомо, где покоятся ее останки: «В гробнице оказались кости. Но чьи? Точно ли Лауры? Имени, написанного на гробнице, прочесть было уже невозможно» («Прекраснейшая солида»). Смерть вторгается в бунинские рассказы, завораживает внимание писателя, заставляет его вглядываться в горсточку пепла в «пещи огненной», пепла, что был недавно пыскою, прекрасной женщиной, или рождает жуткую проию и стихах:

Смотрит луна на полны лесные
И на руины собора сквозные.
В мертвом аббатстве два желтых скелета
Бродят в недвижности лунного света:
Дама и рыцарь, склонившийся к даме
(Череп безносый и череп безглазый):
«Это сближает нас то, что мы с вами
Оба скончались от Черной Заразы.
Я из десятого века,—решилась
Полюбопытствовать: вы из какого?»
И отвечает она, оскандясь:
«Ах, как вы молоды! Я из шестого».

(«Ночная прогулка», 1947)

Писатель сокращает теперь «временное» до предела. Он не подменяет при этом образы логическими конструкциями философа. Напротив, конкретно-чувственное начало в его рассказах приобретает почти пластическую осязаемость. Он выходит к таким рубежам красноречивой краткости, когда слово, кажется, уже на пределе эстетической нагрузки. Как писал, соотнося позднюю бунинскую прозу с тургеневской традицией, В. Ходасевич, «Бунин бесконечно суше и терпче, потому что он отжал

и выплеснул всю поду тургеневского глубокомыслия и удалил без остатка весь сахар тургеневского лиризма»¹. Одержимый страстью к художественному лаконизму, Бунин все более сжимает содержание, спрессовывал «полнометражный» рассказ до размеров пяти-шести страничек.

Однако всмотритесь внимательнее в его создания. Они обращены в теплице, вдали от родной почвы и солнца. Все злободневное растворилось, исчезло из них. Лишь изредка вспоминает Бунин о социальных перегородках, разделявших людей («Темные аллеи»), и снова его внимание приковывает к себе жизнь, подчиненная общим таинственным, неведомым человеку законам. Нечасто прорываются они на поверхность: большинство людей не испытывает их рокового воздействия до конца своих дней. Привлеченный исключительными случаями, Бунин ищет примеры пушкинского извращения страсти, трагически подчиняющей человека своим слепым силам.

Жизнь в эмиграции почти не отразилась в бунинских произведениях, между тем приток свежих впечатлений о русской действительности прекратился вовсе. Одному из своих адресатов, писателю М. Алданову, Бунин сделал однажды в письме интересное признание: «В молодости я очень огорчился слабости своей *выдумывать* темы рассказов, писал больше из того, что видел, или же был так лиричен, что часто начинал какой-нибудь рассказ, а дальше не знал, во что именно включить свою лирику, сюжета не мог выдумать или выдумывал плохенький... А потом случилось нечто удивительное: воображение у меня стало развиваться «не по дням, а по часам», как говорится, выдумка стала необыкновенно легка, один бог знает, откуда она бралась, когда я брался за перо, очень часто еще совсем не зная, что выйдет из начатого рассказа, чем он кончится (а он очень часто кончался совершенно неожиданно для меня самого, каким-нибудь ловким выстрелом, какого я и не чаял); как же мне после этого, после такой моей радости и гордости, не огорчаться, когда все думают, что я пишу с такой реальностью и убедительностью только потому, что обладаю «необыкновенной памятью», что я все пишу «с натуры», то, что со мной самим было, или то, что я знал, видел!»²

¹ В. Ходасевич, Книжки и люди, «Возрождение», Париж, 1931, 30 апреля.

² М. Алданов, Предисловие к книге И. А. Бунина «О Чехове», Нью-Йорк, 1955, стр. 18—19.

Способность «выдумывать», выросшая на реальной почве, отделилась от нее, и теперь сама узурпировала действительность. Силой своего творческого воображения писатель пытается воссоздать утраченный для него мир. Для него достаточно вспомнить усадьбу в лунный зимний вечер, принадлежавшую некогда матери, а затем помещику Логофету, чтобы «вдруг» пришел в голову и сюжет «Музы» — как и почему, совершенно не понимая, — придется сам Бунин, — тут тоже все сплошь выдуманно, — кроме того, что я когда-то часто и подолгу жил в Москве на Арбате в номерах «Столица»...»¹

Но здесь домысел, при всей его творческой мощи, не несет на себе печать обреченности, опустошенности жизни в изгнании. Он не дополняет, как прежде, увиденное, а строит свой, независимый мир. Мир этот преобразован по роковым законам страсти и смерти. В разгар будничной, серой жизни герои либо испытывают сильнейшее, как солнечный удар, чувство, выбивающее их из повседневности, либо ощущают внезапно непреодолимую тягу «уехать». И чаще всего их поездка с одним конечным адресом: они торопятся, как выражается студент Левицкий, «в Могилев, удивительно, говорят, красивый город» («Зойка и Валерия»). Размеренно и обычно живут эти люди, пока не натываются на некое «вдруг». Собственно, Бунин теперь несколько не интересуется их прежней, их заурядной жизнью. Он демонстративно отстраняет все, что было до «вдруг», опуская подробности их профессии, социального положения и оставляет малую толику типических примет лишь для сохранения иллюзии правдоподобия.

В рассказах 30-х и 40-х годов мы встретим «офицеров», «студентов», «художников», «писателей», «купцов», «генералов», но ничего, ничего буквально, что бы указывало на их занятия, обязанности, деловые и творческие интересы, мы не найдем. Они делают «что-то», «откуда-то» приезжают, «чем-то» заняты — это мало трогает автора. Их социальная принадлежность, равно как их имена — условны, случайны, необязательны: поручик или композитор, «он» или «я», Алексей Алексеевич или Петр Петрович. Это любовники по преимуществу, люди огромного эмоционального и чувственного накала. Совершенно внезапно для них самих их жизнь освещается роковым огнем страсти и смерти.

¹ И. А. Б у н и н, Происхождение моих рассказов. См. т. 9 наст. изд.

«А зачем он себя застрелил?» — разговаривают дети в рассказе «Часовня».

«Он был очень влюблен, а когда очень влюблен, всегда стреляют себя...»

Вот здесь, в пределах «роковой» любви, ведет автор своих героев, пока его гипертрофированный вымысел не вынуждает их «ловким» выстрелом свести счеты с жизнью. «Великим инквизитором жизненных положений» назвал послереволюционного Бунина советский критик Д. А. Горбов. В самом деле, тяжелой, категорической безысходностью веет от тех ситуаций, какие избирает писатель для своих персонажей, ставя, словно экспериментатор-психолог, все более изощренные задачи.

Центральным событием в бунинском творчестве этой поры явился цикл рассказов, составивших книгу «Темные аллеи», которая вышла сперва в США, в 1943 году, а затем, уже в окончательном и полном составе, в 1946 году, в Париже. Это единственная в своем роде книга в русской литературе, где все — о любви. Тридцать восемь новелл этого сборника дают великое разнообразие незабываемых женских типов — Русл, Антигона, Таня, Галя Ганскал, Поля («Мадрид»), героиня «Чистого понедельника»... Вблизи этого соцветия мужские характеры куда невыразительнее; они менее разработаны, подчас лишь намечены и, как правило, статичны. Они характеризуются скорее *косвенно*, отражением — в связи с физическим и психическим обликом женщины, которую любят и которая занимает в рассказе самодовлеющее место. Даже тогда, когда «действует» только «он», например, влюбленный офицер, застреливший вздорную красивую бабенку («Пароход «Саратов»»), все равно в памяти остается «она» — «длинная, волнистая», и ее «голое колено в разрезе капота».

В «Темных аллеях» мы встретим и грубоватую чувственность, и просто мастерски рассказанный игривый анекдот («Сто рупий»), но сквозным лучом проходит через книгу тема чистой и прекрасной любви. Необычайная сила и искренность чувства свойственна героям этих рассказов, и нет в них смакования рискованных подробностей, пресловутой «клубнички». Там, где любовь, — все свято. Любовь как бы говорит: «Там, где я стою, не может быть грязно!» Бунин не собирается оправдывать изначала какими-то высокими, романтическими порывами чувственность своих героев, напротив, зачастую он подчеркивает сугубую «скромность» их исходных желаний. Однако по-

степенно — и как бы против собственной воли — они вступают в заколдованный мир совершенно новых отношений, которые действуют на них сильно и больно, и тем большее, чем яснее мысль, что близится расставание, что они простятся навсегда и как бы умрут друг для друга (потому что иначе умрет их драгоценное чувство). Дорожное приключение или дачный роман перерастают в редкостную и благородную ошеломленность души, потрясение, которое силой слова передается читателю.

Правда, взятые сами по себе, некоторые эпизоды «Темных аллей» могут дать повод для упрека автора в излишнем «эротизме». (Предвиди это, Бунина сказал Андрею Седых, когда передавал с ним рукопись в американское издательство: «Есть в этой книге несколько очень откровенных страниц. Что же, — бог с ними, если нужно — вычеркните...»¹)

Однако на самом деле все обстоит гораздо сложнее. В бездымном, чистом пламени высокой любви не просто поэтизируются самые «стыдные» подробности — без них сокращено, урезано путешествие души, громадность ее полета. Именно естественный сплав *откровенно* чувственного и *идеального* создает художественное впечатление: дух проникает в плоть и облагораживает ее. Это, с точки зрения Бунина, и есть философия любви в подлинном смысле слова. Романтика ощущений и острожный натурализм подробностей уравнивают друг друга. Влечение к женщине, по Бунину, всегда чувственно и таит в себе загадку. Он повторял старинное изречение: «Жены человеческие, сеть прельщения человеком». «Эта «сеть», — размышляет близкий Бунину герой, — нечто поистине неизъяснимое, божественное и дьявольское, и когда я пишу об этом, пытаюсь выразить его, меня упрекают в бесстыдстве, в низких побуждениях... Подлые души! Хорошо сказано в одной старинной книге: «Сочинитель имеет такое же полное право быть смелым в своих словесных изображениях любви и лиц ее, каковое во все времена предоставлено было в этом случае живописцам и ваятелям: только подлые души видят подлое даже в прекрасном или ужасном» («Генрих»).

И здесь, в сфере трепетного и смятенного чувства, конечные выводы Бунина мрачны: любовь прекрасный, но мимолетный гость на нашей земле, своего рода «легкое дыхание», кото-

¹ Андрей Седых, Далекие, близкие, Нью-Йорк, 1962, стр. 210.

рое готово расселиться в мире. Дай ей продлиться чуть дольше — проза и пошлость съедят ее, произойдет стремительная девальвация чувства. «Неожиданное счастье» выпадает на долю «друга мужа», влюбленного в «куму». И вот уже наутро она назначает ему встречу в Кисловодске, через две недели. Он отвечает ей: «Как мне благодарить тебя!» — а сам знает: «...Там я ее, в этих лакированных сапожках, в амазонке и в котелке, веролтно, тотчас же люто возненавижу!» («Кума»). Бунин стремится подчеркнуть, как трудно одному человеку навсегда войти в другого, проникнуться его духовностью и плотью и как бы стать им. Возможны короткие озарения, мимолетная близость (не только телесная!), когда как будто бы достигнуто изысканное блаженство. Но проходит миг и час, и герои (или один из них) чувствуют, что их души и тела снова замкнулись друг для друга. Любовь делает жизнь бунинских героев значительной. Но не оттого только, что наполняет ее радостью и счастьем, а прежде всего — от неизбежности собственной гибели, что придает трагическую значительность и ценность последующим переживаниям.

Что же препятствует счастью? Однозначно ответить на это невозможно. Бунин исследует проблему безотносительно к социальным противоречиям, однако подчас он начинает с самого социального дна. Некто, неопределенной интеллигентной профессии, встретил на Тверском бульваре семнадцатилетнюю проститутку, девушку, занавую и глупенькую, а потом, в номерах гостиницы, думает о ней, спящей рядом: «Как же это может быть, что она под утро куда-то уйдет? Куда? Живет с какими-то стервами над какой-нибудь прачечной, каждый вечер выходит с ними как на службу, чтобы заработать под каким-нибудь скотом два целковых, — и какая детская беспечность, простосердечная идиотичность! Я, мне кажется, тоже «на весь дом закричу» от жалости, когда она завтра соберется уходить» («Мадрид»). Бунин отвергает рецепты самопожертвования, перевоспитания, ускоренной «переделки души» другого человека. Он понимает, что люди, сформировавшиеся в определенной материальной, духовной, культурной среде, подобно рыбам, живущим на разной глубине, не всегда и не просто могут приспособиться к длительному сроку к новому «давлению».

В рассказах 30-х и 40-х годов (и раньше), по разным поводам, Бунин вступал не раз в своего рода художественную и идейную полемику с флагманами русского реализма (в «Мити-

ной любви», например, мы отыщем спор с чеховским рассказом «Володя», в «Солнечном ударе» и «Визитных карточках» — с «Дамой с собачкой», в «Чистом понедельнике» — с тургеневским «Дворянским гнездом»). Давший заглавие всему сборнику рассказ «Темные аллеи» представляет собой как бы сжатый и поэмический вариант «Воскресения». Бунин парочку уподобляет своих героев Нехлюдову и Катюше, только тридцать лет спусти после ее «падения». «Она» — темноволосая, «красивая не по возрасту», «похожая на пожилую цыганку» (вспомним, что безымянный отец Катюши был цыганом), некогда, живя «при господах», была соблазнена и брошена молодым офицером, а теперь встречает его, старого и седого, на постоялом дворе, «на одной из больших тульских дорог». «Он» рассказывает ей о своей неудавшейся жизни, просит у нее и не получает прощения, а когда покидает постоялый двор, вспоминает свою молодость и любовь: «Да, пеняй на себя. Да, конечно, лучшие минуты. И не лучшие, а истинно волшебные!.. Но, боже мой, что же было бы дальше? Что, если бы я не бросил ее? Какой вздор! Эта самая Надежда не содержательница постоялой горницы, а моя жена, хозяйка моего петербургского дома, мать моих детей?» И, закрывал глаза, качал головой». В том-то и сложность реальной жизни, что во всяком социально не однородном обществе подобный союз повлечет за собой не только прямые (это еще победы) неблагоприятные последствия — осуждение «странного» брака со стороны родных и друзей или даже их бойкот, — но куда более мучительные, хотя внешние и менее заметные, последствия опосредствованные — страдания от невозможности в этих условиях дать ей счастье и самому быть счастливым.

Но ведь бывает, что социальные, психологические, возрастные и прочие барьеры отсутствуют. «Мы оба были богаты, здоровы, молоды и настолько хороши собой, что в ресторанах, на концертах нас провожали изгибами», — рассказывает героиня «Чистого понедельника». Казалось бы, у них есть все для абсолютного счастья. Что еще нужно? «Счастье наше, дружок, — приводит его любимая слова Платона Каратаева, — как вода в бредне: тянешь — надулось, а вытащишь — ничего нету».

Здесь, на другом социальном этаже, когда личности даны все возможности раскрыть себя, в действие вступают и новые силы. Героиня «Чистого понедельника» (как, впрочем, герои многих других новелл — «Гали Ганской», например, или «Тави»,

или «Темных аллея», или «В одной знакомой улице») — «обычный», при всей своей физической привлекательности и эмоциональной наполненности, человек. Не то — героиня. В ее странных поступках ощущается значительность характера, редкость, «избыточность» натуры. Ее сознание разорвано. Она не прочь окунуться в «сегодняшнюю» жизнь той Москвы — концертов Шалалина, «капустников» Художественного театра, каких-то курсов, чтения Гофмансталя, Шницлера, Шишмиевского, лекций Андрея Белого и т. д. Внутренне же она чужда (как и сам Бунин) всему этому. Она напряженно ищет что-то глубокое, героическое, самоотверженное и находит свой идеал в религиозной старине. Настоящее кажется ей жалким и несостоятельным.

«Краткая новелла, почти лишенная событий, — замечал критик М. Иофьев в своем глубоком исследовании о поздней бунинской прозе, — рассказывает о трагическом душевном надломе. Героиня наделена властной женской прелестью, волей и жаждой жизни. В то же время она придавлена безнадежностью и беспомощностью... Ее возлюбленный ничем не выше и не лучше окружающих. Благородная требовательность, такая же, как и у Лизы, Елены (тургеневские героини. — О. М.), у Гончаровской Веры, приводит к бесчеловечному юродству. В «чистый понедельник» она рассчиталась с любимым и любовью, простилась с презираемой, но все же малящей жизнью, отдала «цесарю цесарево»¹. Выявляется резкое несоответствие духовной напряженности, требований к жизни двух людей (не та ли «принципиальная схема» действует и в других рассказах, например, «Гале Ганской»?).

Перепады любви, ее приливы и отливы, ее неожиданности и капризы — таков один, верхний слой в рассказах, составивших «Темные аллея». Но под ним как основа находится еще и другой, скрытый и существующий независимо от любовной фабулы. Он-то и определяет конечную тональность изображаемого. Героиня «Чистого понедельника» ушла в монастырь, на «великий постриг», но она могла покончить с собой (как Галя Ганская) или быть застреленной возлюбленным (как в рассказе «Пароход «Саратов»). Нечто внешнее, что даже не требует объяснений, готово вторгнуться и пресечь происходящее, если сама

¹ М. И о ф ь е в, Поздняя новелла Бунина. — Сб. «Профили искусства», М. 1965, стр. 313.

любовь не может исчерпать себя. После долгой разлуки и разрывов соединяются наконец Виталий Мещерский и Натали («Натали»). «И вот ты опять со мной и уже навсегда», — говорит Натали Мещерскому. «В декабре, — меланхолически заключает автор, — она умерла на Женевском озере в преждевременных родах». Далеко от России встречаются два эмигранта — официантка парижской столовой Ольга Александровна и генерал Николай Платонович, оба одинокие, ждущие счастья («В Париже»). Но их мечты оказываются тщетными: «На третий день Пасхи он умер в вагоне метро». И в рассказах, продолжающих проблематику «Темных аллей», звучит тот же голос судьбы, обещающий, словно ворон Эдгара По, «вечного» (никогда) человеческого счастья. В жалкой гостинице жалкого уездного городишки встречается герой гимназистку, в голодном отчаянии продающую себя за три рубля. И вот уже необычайное чувство, сильное, как феерически величественная гроза, разворачивающаяся за окном, захватывает героев. Но что происходит затем? «Осень мы хотели провести в Москве, но и осень и зиму провели в Ялте — она начала гореть и кашлять, в комнатах у нас запахло креозотом... А весной я схоронил ее» («Три рубля», 1944). (Пожалуй, лишь в одном рассказе — «Месть» — внимание автора задерживается на счастливом эпизоде в цепи других, несчастных переживаний русской эмигрантки.)

Это не просто рок (наподобие античного), написанный «на роду» героям, — гибель и крушение не вытекают из любви, вторгаются извне и независимо от нее. Здесь отражается бунинское представление об общей катастрофичности бытия, непротности всего того, что доселе казалось утвердившимся, неизбежным, и, в конечном счете, — звучит, отраженно и опосредствованно, эхо великих социальных потрясений, которые принес человечеству новый, двадцатый век. Понятно, речь идет не о прямых намеках и ссылках на отгремевшие события, даже если произошедшее ставит предел мечтаниям иных бунинских героев (так, в рассказе «Таня» бирчук Петруша обещает деревенской девушке вернуться к ней летом и не выполняет обещания: «Это было в феврале страшного семнадцатого года. Он был тогда в деревне в последний раз в жизни»). Общественные катаклизмы ломают судьбы героев столь же неожиданно, как и смерть от родов Натали («Натали») или кончина старого генерала в метро («В Париже»). Написанные в эмигрантском «далеко» бунинские рассказы не могли иметь «радостные» окончания.

Как пишет М. Иoffee, «рассказы, помеченные 30-ми и 40-ми годами, в то время как действие их относится чуть ли не к началу века, все же кажутся не мемуарными, а современными. Разумеется, это современность, открытая восприятию Бунина; едва ли необходимо оговаривать его статичность и ограниченность. И все же именно она придает живую патетику повеллям, продиктованным как будто далеким воспоминанием. Парижский сюжет открывает внутренний камертон, по которому настроены и другие рассказы Бунина — московские, провинциальные, деревенские — или, как неожиданное, но понятное исключение, рассказы о смерти римских цезарей... Смерть или разрыв любящих — образ неизбежной социальной катастрофы»¹. «Современность», «немемуарность» бунинских рассказов, — считает критик, — отдаленное и не прямое следствие тех потрясений, через которые прошел писатель, оказавшись отторгнутым от любимой России, тех тяжелых переживаний, мук поэтальгии, которые преследовали его.

Вовне, с точки зрения техники, средств выражения, эта по-мемуарность проявилась в форме своеобразного *преодоления* времени, смещения временных пластов, образующих единый «поток сознания», в котором, погружаясь в разновозрастные впечатления, путешествует вспять рассказчик. Это позволяет, быть может, несколько неожиданно, сблизить Бунина, убежденного отрицателя всяких «повых» великий, с «крайними» представителями западного реализма XX века, продолжавшими заветы своих учителей и уже изменявшими им в направлении модернизма (например, с Марселем Прустом).

Ритм проступает теперь жестче — однообразный в передаче печали воспоминаний, категорический в использовании одних и тех же слов и конструкций: «И уж целых двадцать лет тому, назад *было* все это — передески, сороки, болота, кушники, ужи, журавли... Да, ведь *были* еще журавли — как же он забыл о них! Все *было* странно в то удивительное лето...» («Русли»). «Чудесные стихи! И как удивительно, что все это *было* когда-то и у меня! Москва, Пресня, глухие снежные улочки, деревенский мещанский домишко...» («В одной знакомой улице...»). «И *был* венский покот, и запах газа, кофе и пива... *Был* Зиммерниг и ися заграничная праздничность горного полдня... *Был* мороз-

¹ М. Иoffee, Поздняя повесть Бунина. — Сб. «Профиз искусства», М. 1965, стр. 288.

пый, первоначально-испорченный, чистый, мертвенно алеющий и синевший к ночи вечер...» («Генрих») и т. д.

Болезненно восприимчивый к текучести времени, его загадочной необратимости, Бунин стремится найти в нем «окно», возможность прорыва в причинно-следственной цепи событий. Герония «Холодной осени», проводив на германскую, на скорую гибель своего жениха, много потом мыкала горю: торговала в восемнадцатом подержанными вещами на Смоленском рынке, зимой двадцать первого года отплыла в ураган из Новороссийска в Турцию, побывала в Болгарии, Сербии, Чехии, Бельгии, Париже, Ницце. «Но вспоминая все то, что я пережила с тех пор,— размышляет она,— всегда спрашиваю себя: да, а что же все-таки было в моей жизни? И отвечаю себе: только тот холодный осенний вечер... И это все, что было в моей жизни,— остальное испуганный сон». Надежды на скорую встречу с погибшим женихом бросают на весь рассказ мистический отсвет. Герония убеждена, что дальнейшая карусель событий, безостановочный «бег» — это лишь дурной сон. Вот именно рассказами-снами, рассказами-видениями выглядят некоторые поздние бунинские произведения.

Когда происходит действие рассказа «Поздний час», быть может, одного из самых показательных в этом смысле у Бунина? «Ах, как давно я не был там, сказал я себе. С девятнадцати лет... И шли и проходили годы, десятилетия. Но вот уже нельзя больше откладывать: или теперь, или никогда. Надо пользоваться единственным и последним случаем, благо час поздний и никто не встретит меня». У рассказа точная дата: 19.10.38. Именно тогда, из далекого Грасса, отправляется «он» в свое страшное путешествие. Разве это только путешествие в прошлое, в «плть-десять лет назад»? В июльской ночи все кажется знакомым, прежним, «одно было странно, одно указывало, что все-таки кое-что изменилось на свете с тех пор, когда я был мальчиком, юношей: прежде река была не судоходная, а теперь ее, верпо, углубили, расчистили...» Неземным холодом веет от никогда не бывшего посещения призрачного города, где уже умерли все — отец, мать, брат любимой, пережившие ее, но дождавшиеся своего срока, все родные, приятели и друзья самого рассказчика. А он продолжает идти мертвым городом, выходит к кладбищу, к «ее» могиле, на которую «дивным самоцветом» глядит невысокая зеленая звезда.

Время остановилось. Сюжет развивается «в пустоте», произвольно переходя из одной временной плоскости в другую, возвращаясь как бы в «евклидовом» пространстве. Недаром, рядом с полнокровными, дышащими страданием и страстью рассказами из «Темных аллей», мы встретим какие-то осколки недописанных, не вполне состоявшихся произведений, с клочковатостью и распадом сюжета («Кавказ»), экспозиции, наброски будущих повелл («Начало») или прямые заимствования из чужой литературы («Возвращаясь в Рим», «Бернар»).

Время и болезнь постепенно подтачивали здоровье Буннина. Внешне, как рассказывает встречавшаяся с ним в эту позднюю пору (1947—1948) поэтесса Ирина Одоевцева, «в нем ничего не оставалось от подчеркнуто элегантного, высокомерного, царственно любезного Буннина. Ничего, кроме злого острословия и умения высмеять и передразнить живого и мертвого. Над мертвыми, как над живыми, он издевался одинаково беспощадно. Иногда я не могла сдержаться и сквозь смех вскрикивала:

— Иван Алексеевич, бога побойтесь, ведь он покойник!

На это Бунин только презрительно поводит плечом:

— Покойник? Что за чин, позвольте спросить?

Из своей комнаты он выходил лишь раз в день — на прогулку. Исключительно во время заката... Так, выпрямившись во весь рост и высоко подняв голову, он проставал долго. В эти минуты лицо его как будто молодело. И становилось еще более мрачным. Я смотрела на него из моего окна. Он казался мне таким одиноким и несчастным на фоне пальмы. И я невольно повторяла про себя:

Одна и грустна на утесе горячем
Прекрасная пальма растет...»¹

В ночь 8 ноября 1953 года, далеко от родины, в скромной квартирке на улице Жака Оффенбаха в Париже Бунин скончался в возрасте восьмидесяти трех лет.

О. Михайлова

¹ Ирина Одоевцева, Далекое, близкое.— Газ. «Русская мысль», Париж, 1962, 9 июня.

В настоящий том входят рассказы И. А. Бунина 1931—1952 годов. Некоторые из них впервые были опубликованы Буниным на страницах различных зарубежных периодических изданий, а часть появилась впервые в двух сборниках — «Темные аллеи» и «Весной, в Иудее.— Роза Иерихона».

Сборник «Темные аллеи», названный по первому рассказу, вышел в 1943 году в издательстве «Новая Земля» в Нью-Йорке, в количестве шестисот экземпляров. В это издание входило одиннадцать рассказов: «Темные аллеи», «Кавказ», «Баллада», «Степа», «Муза», «Поздний час», «Русь», «Таня», «В Париже», «Паталли» и «Апрель». (Последний рассказ во второе, более полное издание «Темных аллей» Буниным включен не был.)

Вышедший в Америке в тяжелые годы войны, сборник этот имел примечание «От издательства», в котором говорилось: «Темные аллеи» выходят без авторской корректуры. Издательство не имеет, к сожалению, возможности снестись с И. А. Буниным. Между тем оно было вынуждено разделить книгу знаменитого писателя на два тома. Настоящий том включает в себе лишь половину рассказов, составляющих эту книгу. Автор ее, естественно, не несет никакой ответственности за раздел и за другие недостатки, которые могут быть у издания. Редакционная коллегия «Новой Земли» считает себя обязанной довести об этом до сведения читателей, в надежде, что они, как и сам И. А. Бунин, примут во внимание исключительные условия нашего времени. Май, 1943 г.»

Этот сборник в виде листов книги с авторской правкой и машинописи был послан И. А. Бунинным его другу Н. Д. Телешову и сейчас хранится в архиве его сына, А. И. Телешова. На титульном листе ее имеется запись И. А. Бунина: «Эта книжечка, изданная в Америке и только для Америки в начале 1943 г. всего в количестве 600 экз. и уже давно распроданная, заключала в себе только *одну четвертую* часть того, что мною написано под общим заглавием «Темные аллеи». *Ив. Б.*»

Слова эти были вызваны грустными воспоминаниями Бунина об истории первого издания «Темных аллей». Когда война охватила уже всю Европу, в Америку бежали из Европы многие литераторы из русских эмигрантов. В 1942 году один из них, русский журналист Андрей Седых, перед отъездом повидался с И. А. Бунинным. Бунинны голодали. Но ехать в Америку категорически отказались. На прощание Бунин сказал ему:

«В прошлом году написал я «Темные аллеи» — книгу о любви. Лежит она на столе. Куда ее девать? Возьмите с собой в Америку, — может быть, там можно напечатать» (А. Седых, Далекое, близкое, Нью-Йорк, 1962, стр. 210).

Из двадцати написанных к тому времени рассказов в книгу вошло одиннадцать.

Эти не вошедшие в первое издание рассказы хранятся в виде машинописного текста со значительной правкой автора в архиве Телешовых. К рукописи приложено указание Бунина, как надо работать при ее издании: «Сохранить мои знаки препинания, поставить ударение (') над теми словами, что указаны мною, а две точки (..) над буквой е, где это нужно по смыслу».

Второе, более полное издание «Темных аллей» вышло в 1946 году в Париже в количестве двух тысяч экземпляров. В эту книгу, разбитую автором на три раздела, включено уже тридцать восемь рассказов.

Авторский экземпляр второго издания «Темных аллей» со значительной правкой Бунина, сделанной красными и синими чернилами, относящейся к последнему году жизни, хранится в рукописном отделе Института мировой литературы. Этот сборник воспроизведен в настоящем издании не полностью: исключены рассказы «Гость», «Барышня Клара» и «Железная шерсть». На одной из страниц книги имеются указания Бунина для последующего ее переиздания: «В конце этой книги (следуя хронологии) надо прибавить «Весной, в Иудее» и «Ночлег». Текст

этих рассказов взять из моих сборников... изданных «Чеховским издательством» в Нью-Йорке». Это пожелание Бунина в настоящем издании исполнено.

Рассказы, включенные в сборник «Весной, в Иудее.— Роза Иерихона», вышли в Нью-Йорке в издательстве имени Чехова, 1953. Печатаются по этому изданию, с учетом последней авторской правки 1953 года. Экземпляр сборника с правкой Бунина хранится в Отделе рукописей государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина.

Список условных сокращений:

«Весной, в Иудее» — И. А. Б у н и н, Весной, в Иудее.— Роза Иерихона, изд-во имени Чехова, Нью-Йорк, 1953.

ГБЛ — Рукописный отдел Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина.

ГЛМ — Государственный литературный музей.

«Далекое, близкое» — Андрей С е д ы х, Далекое, близкое, Нью-Йорк, 1962.

«Жизнь Бунина» — В. И. Муромцева-Бунина, Жизнь Бунина, Париж, 1958.

ИМАН — Институт мировой литературы имени А. М. Горького, АП СССР.

«Ист. архив» — Исторический архив, издание АН СССР, № 2, М. 1962.

Собрание сочинений — И. А. Б у н и н, Собрание сочинений, т. I—XI, «Петрополис», Берлин, 1934—1936.

«Темные аллеи», 1943 — И. А. Б у н и н, Темные аллеи, «Новая Земля», Нью-Йорк, 1943.

«Темные аллеи» — И. А. Б у н и н, Темные аллеи, Париж, 1946.

ЦГАЛИ — Центральный государственный архив литературы и искусства.

Книга «Темные аллеи» — совершенно особенное явление в творчестве И. А. Бунина. Составленна из отдельных рассказов — она представляет собой единое целое по теме: любовь, жизнь, смерть. По свидетельству В. Н. Муромцевой-Буниной,

автор считал эту книгу «самой совершенной по мастерству» (газ. «Русские новости», Париж, 1961, 17 ноября). Писатель отнеслся к ней старчески-нежно и после выхода книги в свет продолжал вносить поправки в печатный текст.

Бунин работал над «Темными аллеями» более восьми лет, с 1937 по 1944 год. Большая часть книги написана была в Грассе, на юге Франции, куда, начиная с 1923 года, Бунины регулярно выезжали на лето. О жизни Бунина в Грассе писатель Б. Зайцев вспоминает:

«Перед войной случалось иногда бывать на юге Франции — в Грассе жил Бунин (прекрасная вилла Бельведер — простенькая и нехитрая, но с площадки перед домом такой вид на равнину Кани, на горы Эстерель направо... А внизу черепичные крыши Грасса, Собора. Некий тосканский дух чувствовался во всем этом).

Мы гостили у Буниных — и довольно подолгу. Хорошие дни. Солнце, мир, красота. Во втором этаже жили мы с женой, а кое-что писал. Рядом комната Веры Буниной. Внизу в кабинете своем, рядом со столовой — Иван. Вбежит в столовую, когда завтракать уже садимся, худой, топкий, изрядный, с простыню на меня посмотрит, крикнет:

— Тридцать лет вижу у тебя каждый раз запятую перед «и»! Нет, невозможно!

И той же простыню, чуть не тигриной легкостью захлопнет дверь, точно я враг и панес ему смертельное оскорбление.

Я не пугаюсь — слишком хорошо его знаю. Он и на Веру кричит (свою), и на себя самого.

Уже после премии Нобелевской, когда выходило здесь собрание его сочинений, он держал корректуру в этом самом Грассе.

Снизу у себя наверху, ставлю запятые, вопреки грамматике, перед «и», вдруг внизу опять хлопает дверь и на весь дом крик:

— Писатель с мировым именем и вдруг написал такое... (скажем элегантно «удобрение»)» (Б. Зайцев, Памяти Ивана и Веры Буниных. — В книге «Далекое», Вашингтон, 1965, стр. 137—138).

Из года в год Бунину становилось жить все труднее. Депутат (Нобелевская премия) подходили к концу. Среди русской эмиграции все чаще стали звучать разговоры о родине. Куприя

уехал в Москву. Надвигалась старость. В Европе начиналась война. И все чаще Бунину вспоминалась родина. И не случайно, в 1939 году, однажды он попросил Л. Ф. Зурова, жившего вместе с Буниными, бросить почтовую открытку А. Н. Толстому в Москву. Только два слова было в этой открытке: «Хочу домой!» и подпись — Бунин. В письме Н. Д. Телешову, своему старому другу, Бунин пишет:

«Villa Jeannette, Grasse, 8 мая 1941 г.

Дорогой Митрич, довольно давно не писал тебе — лет 20. Ты, верно, теперь очень старенький, — здорова ли? И что Е. А.? Целую ее руку — и тебя — с неизменной любовью. А мы сидим в Grasse (это возле Cannes), где провели лет 17 (чередую его с Парижем) — теперь сидим очень плохо. Был я «богат» — теперь, волею судеб, вдруг стал нищ, как Иов. Был «знаменит на весь мир» — теперь никому в мире не нужен — не до меня миру! В. Н. очень болезненна, чему помогает и то, что мы весьма голодны. Я пока пишу — написал недавно целую книгу новых рассказов, но куда ее теперь девать? А ты пишешь?

Твой Ив. Бунин.

Я сед, сух, худ, но еще лдоит. Очень хочу домой».

А спустя два с небольшим месяца Гитлер папал на Советский Союз. Мечта о возвращении на родину стала недоступна.

Пять долгих лет войны провел Бунин безвыездно в Грассе: «В рабочем кабинете, стены которого были увешаны географическими картами, за радиоаппаратом, ловившем, изло паразитам, запретные волны. Много работал. Много писал. Никогда, даже в самые горькие минуты, не терял уверенности в том, что час освобождения близок.

«Но страшен миг, когда стремленья лет», — сказал как-то он. Стремленье было!» — рассказывал корреспондент газеты «Русские новости» (Париж, № 5 от 15 июня 1945 г.).

За долгие годы эмиграции Бунин так и не овладел в совершенстве французским, хотя все понимал, читал в подлиннике своего любимого Мопассана. «Мы, писатели, носим родину в себе», — сказал он однажды корреспонденту «Русских новостей» (№ 26 от 9 ноября 1945 г.).

«Во время войны Бунины поселились на вилле Jeannette, построенной высоко на крутом каменистом обрыве... Там мы

пережили итальянскую и немецкую оккупацию. Голодали... Скажу одно, в те годы население Грасса съело всех собак и кошек.

Грасские земли плодородием не отличаются, все занято цветоводством (жасмин и розы). Немного помогал огород, который я, приехав (во время войны) на виллу Жаннет, разбил на террасах (лук, чеснок, пуашиш, бобы, порей и помидоры), но место было сухое, воды не хватало» (из письма Л. Ф. Зурова — А. К. Бабореко от 4 апреля 1962 г. «Ист. архив», стр. 157).

«Сильно отошел в эту зиму 42 года Бунина. Стал он худой и лицом еще более походил на римского патриция», — рассказывает один из русских журналистов, встретившийся с Буниным в это время («Далекие, близкие», стр. 209).

Сам Бунин рассказывал о своей жизни:

«Плохо мы живем в Грассе, очень плохо. Ну, картошку мерзлую едим. Или подиачку, в которой плавает что-то мерзкое, морковка какая-нибудь. Это называется супом... Живем мы коммуной. Шесть человек. И ни у кого гроша нет за душой, — деньги Побелевской премии давно уже прожиты. ...Хорошо еще, что живу изолированно, на горе. Да вы знаете — минут тридцать из города надо на стену лезть. Зато в мире нет другого такого вида: в синей дымке тонут лесистые холмы и горы Эстерелл, расстилается под ногами море, вечно синее небо... Но холодно, невыносимо холодно. Если бы хотел писать, то и тогда не мог бы: от холода руки не движутся.

...В прошлом году я еще мог писать, а теперь не имею больше сил. Холод, тоска смертная, суп из картошки и картошка из супа» (там же, стр. 210).

В этих тяжелых условиях Бунин все же продолжал работать над «Темными аллеями». Много позднее Вера Николаевна в письме к Н. П. Смирнову от 8 июня 1959 года вспоминала это время:

«...Нас всегда было пять-шесть человек, только после освобождения осталось четверо, иногда кое-кто и «скрывался». ...Мы все были заняты писанием, и это помогало переносить непереносимое, — ведь было и холодно, и голодно, и страшно...» (См. в прил. Ник., Признательные строки. К трехлетию со дня смерти В. Н. Муромцевой-Бунинной. Апрель 1961 — апрель 1964. — Газ. «Русские новости», № 984, Париж, 1964, 10 апрель).

О непосвящаемой писательской требовательности Бунина к

себе В. Н. Муромцева-Бунина вспоминала в письме к Н. П. Смирнову от 30 января 1939 года: «Он никогда не позволял читать при нем свои книги,— ему все казалось плохо, и, конечно, поэтому он старался все переделывать, то есть главным образом сокращать. Иногда он и жалел о выброшенном месте. У него не было самоупоения. Он говорил даже перед смертью, что он... не сделал того, что мог бы сделать. У него временами бывало отталкивание то от одних своих произведений, то от других...» (там же).

Жизнь становилась все невыносимее. В письме к Н. Я. Рошнину от 12 марта 1943 года Бунин пишет:

«Что до нашей жизни, то вы ее, думаю, в общем представляете себе по тем нескольким словам, которые я написал вам и этим общим друзьям и приятелям: угнетающее однообразие, бесцельность, безнадежность, страшное одиночество, скука, мучительный зимний холод — и постоянный гнетущий голод, презренное, тошнотворное архинищенское питание — на худобу В. Н. просто страшно смотреть, да и я просто стыжусь смотреть на себя, раздеваясь, а к этому надо прибавить еще и то, что за последний год здоровье мое очень, очень пошатнулось,— укатали сивку крутые горки — и в прямом и в переносном смысле,— про пищу же и говорить нечего, выбиваюсь из последних сил, начал уже кое-что распродавать из вещичек» (Гос. музей имени Н. С. Тургенева в Орле, инв. 598).

Несмотря на то, что Бунин писать не прекращал, имя его (не считая нью-йоркских «Темных аллей») в годы войны в печати не появилось. «При немцах Иван Алексеевич не напечатал ни строчки. Ивану Алексеевичу из Швейцарии предлагали сотрудничать в издававшихся в оккупированных землях газетах и журналах, но он отказался. Был прислан потом к нам из города Канн человек. Мы думали, что это очередной гость, но он предложил Ивану Алексеевичу и мне сотрудничать в журналах и газетах. Мы отказались» (из письма Л. Ф. Зурова — А. К. Бибореко от 4 апреля 1962 г., «Ист. архив», стр. 157).

Отказался Бунин и от переезда в Париж. «Дорогой Канистан,— писал он Н. Я. Рошнину 13 марта 1944 года,— получил Ваше письмо от 9-го. Спасибо, спасибо за Ваши хлопоты, по я Вам, кажется, уже писал, что сейчас и вообще в ближайшее время ехать для нас с Верой в Париж избавь бог» (ГЛМ.— Курсив мой.— В. Г.).

И несмотря на нищую, полуголодную жизнь, Бунин продол-

жает приглашать к себе в «коммуну» друзей. Он пишет Родину 29 марта 1944 года:

«А Вам все-таки было бы тут лучше; я теперь ниц, как бродячий пес, да как-нибудь прожили бы,—и холодно и голодно, да все, думаю, не хуже Парижа!» (ГЛМ).

В своем «добровольном изгнании» Бунин переживает тяжелые, тревожные дни, особенно, слушал противоречивые сообщения радиостанций различных стран о положении на фронтах России. И когда немецкое радио трещало о «победах» на Волге, Бунин пишет рассказ «Речной трактир», датированный октябрём 1943 года, где в уста героя вкладывает страстные слова удивления, любви и веры в родину: «...до чего же в самом деле ни с чем не сравнима эта самая наша Русь!»

«Во время оккупации,—вспоминает Л. Ф. Зуров,—немцы привезли в Грасс советских военнопленных, заставили их рубить лес и работать на хлебопекарнях. Это были солдаты, носившие еще советскую форму, потом им немцы выдали американские комбинезоны защитного цвета. Их доставили прямо из Гатчины. Их охраняли военные полицейские с собаками. Вначале их не отпускали с работ, но потом немцы разрешили им прогуливаться и вне лагеря, так как пленные французского языка не знали и бежать из Грасса не могли. Вот эти солдаты (из Ленинграда, Москвы, Донецкого бассейна, Белоруссии, Украины) бывали у нас. В столовой Иван Алексеевич с жадностью слушал их рассказы. Они делились с нами черным хлебом, пели, слушали радио. Все они после освобождения Грасса уехали в Марсель, к советскому полковнику Пастухову. Вернулись в СССР...

Было ли опасно? Да. В трехстах пятидесяти метрах от нашей виллы (в санатории Гелнос) помещался немецкий штаб, который охраняли автоматчики, вооруженные ручными гранатами» («Ист. архив», стр. 157).

И наконец настал долгожданный день, 23 сентября 1944 года, когда Бунин с радостью сообщил И. Я. Родину:

«Из Грасса немцы бежали, слава богу, без драки в ночь с 23-го на 24-е, а на рассвете 24-го к нам уже вошли американцы — что было в городе и у нас в душе, описать невозможно!» («Ист. архив», стр. 157).

Вера Николаевна, подводя итог пяти военных лет, писала потом Д. Л. Тальникову:

«И я очень рада, несмотря на полуголодную жизнь, что мы (войну) провели на юге. Я рада, что мы делили трудности жизни в те страшные годы и кой-кому помогли» (А. К. Бабореко, Последние годы И. А. Бунина.— «Вопросы литературы», 1965, № 3, стр. 253).

В начале мая 1945 года Бунины возвратились в Париж. Газета «Русские новости» послала своего корреспондента к Бунину, и 15 июля русские парижане получили сообщение о предстоящем вечере с участием Бунина:

«Когда видишь перед собой П. А. Бунина, после пятилетней выпужденной разлуки его с Парижем — по-прежнему бодрого, по-прежнему полного сил, — начинает невольно казаться, что не было вовсе ни добровольного его изгнания, ни всех испытаний недавних лет. И И<ван> А<лексеевич> все тот же. Плохо верится даже, что они только что пронеслись над нами, эти тяжелые тревожные дни.

...В грасском уединении И. А. Буниным написано два больших тома рассказов — «Темные аллеи» (все это рассказы о любви, о любви вечной, о любви жестокой). Задумана большая вещь. Собрано огромное количество материалов и заметок. Годы сидения в Грассе не прошли пустую.

Последние рассказы И. А. пока не изданы — в Европе царит бумажный и издательский кризис. Только в Америке, в небольшом количестве экземпляров и в далеко не полном виде, вышла в свет книжка новых рассказов — до нас она еще не дошла.

На своем вечере И. А. Бунин будет читать вещи из «Темных аллей».

Встреча писателя с читателями всегда событие. Особенно, когда речь идет о таком писателе, как Бунин, и когда между последней довоенной встречей и нашей встречей с ним в ближайший вторник лежат пять долгих, пять окаянных лет» (газ. «Русские новости», Париж, 1945, № 5 от 15 июля).

Девятнадцатого июля 1945 года состоялся этот долгожданный литературный вечер. Бунин читал свои новые рассказы, в том числе «Чистый понедельник». На чтении присутствовали многочисленные представители литературного и артистического мира. Манера читать у Ивана Алексеевича отличается особой простотой и благородством. Читал не актер, а писатель. Но каждое слово имело вес, подчеркнутое именно там, где это требовалось по смыслу текста. В первом рассказе мы путеше-

ствовали вместе с любовью героя по Москве», — рассказывала об этом вечере газета «Советский патриот» (1945, № 36, 29 июня).

И снова мысли Бунина обращаются к родине.

«Дорогой Митрич, — пишет он П. Д. Телешову 7 сентября 1945 года, — наконец-то могу написать тебе! Если согласишься, напишу тебе подробно. Напиши о себе, о дорогой Елене Андреевне, об Андрюше... Мы 5 лет просидели в Грассе, пережили много всяких лишений, были под властью то итальянца, то немцев (гестапо которых долго разыскивало меня), что, однако, не мешало мне написать большую книгу рассказов (знаю, что и ты не лепился)... Сердечно целую тебя и всех вас, Вера тоже. Твой *Иа. Б.*» («Ист. архив», стр. 160).

И. Я. Рошин в «Письмах к канадским друзьям» вспоминает о Бунине этого лета.

«Освобождение Франции Буниа назвал «Великим праздником», победы Советской Армии приводили его в восхищение. Однажды на спектакле Русского театра в Париже место Бунина оказалось бок о бок с местом молодого подполковника Советской военной миссии. В антракте подполковник встал и, обращаясь к соседу, сказал: «Кажется, я имею честь сидеть рядом с Иваном Алексеевичем Буниным?» И Бунин, поднявшись с юпо-нической стремительностью, ответил: «А я имею еще большую честь сидеть рядом с офицером нашей великой армии» (газ. «Вестник», Торонто, 1955, от 20 июля).

В июле 1945 года русская эмигрантская общественность в Париже, переживавшая большой патриотический подъем, вызванный победой Советской России над фашистами, устроила торжественный юбилей в честь семидесятилетия И. А. Бунина. В газетах было помещено много статей, посвященных Бунину, печатались его новые рассказы из книги «Темные аллеи».

Газета «Русские новости» на первой странице под портретом Бунина поместила приветственный адрес ему:

«И. А. БУНИН

К его 75-летию

23 октября Ивану Алексеевичу Бунину исполнилось семьдесят пять лет. Это имя и эта цифра с трудом совместимы в воображении тех, кто имеет счастье звать Бунина, его незабываю-

мую молодость, его зоркий взгляд, неисчерпаемую энергию, которую излучает этот замечательный русский человек.

И. А. Бунин получил всероссийское и всемирное признание: его любят русские люди на Родине и за рубежом ее, его чтут на Западе, признавшем его и наградившем высшим отличием, для писателя доступным, — литературной премией Нобеля. Но для нас, проводивших с И. А. Буниным долгие годы зарубежного жития, особенно дорог новый облик его, ярко выступивший в период испытаний, когда Родине нашей грозила смертельная опасность: гнев Бунина против тех, кто осмелился покуситься на жизнь России, его вера в конечную победу, его смелое поведение в обстановке, многих слоившей, были для нас гордостью и залогом надежды. За это русские люди за рубежом обязаны И. А. Бунину поклоном. За все же остальное, за радость, которую доставляет чтение бунинских страниц, мы можем только присоединиться к благодарности тех миллионов русских людей, которые читают и любят Бунина на Родине». (Газ. «Русские новости», Париж, 1945, № 26, 9 ноября.)

Дальше продолжается жестокая борьба с нуждой; мысли писателя по-прежнему обращены к России.

«...О нас я уже писал тебе вкратце, — пишет он И. Д. Телешову 8 декабря 1945 года, — ...пять лет сидели мы безвыездно в Грассе, в голоде, а зимой в лютом холоде, в нужде, — заработков, конечно, не было никаких (да они теперь очень, очень слабы), — а кроме того, еще и под игом оккупантов; с пачала мая перебрались в Париж, где тоже не рай теперь — настали холода, а с топкой по всей Европе катастрофа, а 1000 кило сырых дров стоит 5000 фр. — дороговизна на все вообще ужасная... Сейчас опять пишу кратко — во-первых, уже недели три довольно крепко болен гриппом (а мне ведь недавно 75 стукнуло!), а во-вторых, спешу — завтра утром должен послать это письмо Б. Д. Михайлову, уполномоченному Москвой заведовать здесь делами прессы, при добром содействии которого пойдут в Москву еще и некоторые мои прежние и новые писания, кои посылаю... Я завтра посылаю... Б. Д.—чу (Михайлову.— *Ред.*) сборник моих новых рассказов и три из моих последних книг, которых издано немало, — для ознакомления Москвы со всем этим (подойдет ли все это, не знаю, — я ведь для вас человек уже «исторический», интересен могу быть только с точки зрения искусства). Пока кончаю, обнимаю тебя от всей души!

Твой Иа. Бунин.

Р. С. Было в газетах, будто в России хотели издать собрание моих сочинений,—это в связи со слухами о моей смерти?

Р. Р. С. Если собр<ание> моих сочинений когда-нибудь будет издано, горячо прошу пользоваться только исправленными мною текстами — в собрании моих сочинений изд. «Петрополиса» («Ист. архив», стр. 161—162).

Четырнадцатого июня 1946 года в парижских газетах был напечатан Указ Президиума Верховного Совета СССР «О восстановлении в гражданстве СССР подданных бывшей Российской империи, а также лиц, утративших советское гражданство, проживающих на территории Франции». Наш парижский корреспондент Юрий Жуков рассказывал: «...мне довелось снова встретиться с Иваном Буниным. Незадолго перед тем газеты опубликовали его заявление по поводу Указа Верховного Совета СССР. Бунин назвал этот указ великодушной мерой советского правительства и очень значительным событием в жизни русской эмиграции. Но какие выводы он сделал из этого события для себя?

— Поймите,— перешептывал Бунин,— очень трудно и тяжело возвращаться глубоким стариком в родные места, где когда-то прыгал козлом. Все друзья, все родные — в могиле. Будешь ходить, как по кладбищу.

Кто-то возразил:

— Зачем же зря напраслину на себя возводить, Иван Алексеевич? Ведь вы еще совсем молодец, хоть куда!..

Бунин устало отмахнулся:

— Бросьте! Помните, в Библии написано: «...веку же нашего до семидесяти». Ну, а что же говорить о тех, кто старше? Нет, нет, батенька, наше дело известное...

Он помолчал, пожевал по-стариковски губами и сухо повторил:

— Подумать надо... Подумать — взвесить. Трудное это дело — в такие годы так круто ломать жизнь...

Потом разговор зашел о литературе, о писателях. Вспомнили о Чехове, о Куприне. ...Бунин оживился, глаза его прояснились, он стал весело смеяться, острить, вспоминая былые времена, проказы молодости; перед слушателями вставали, как живые, зарисовки старой России, очерченные скупыми, четкими штрихами портреты дореволюционных деятелей литературы.

...Но вспышка эта оказалась недолгой: она как-то разом опустошила Буннина, и он, резко оборвав разговор, стал протыкаться и потянулся за своим издавшим виды пальто и мягкой шляпой. И мне вспомнился Буннин, которого я видел апрельским вечером в эмигрантской консерватории, — строгий и жесткий, раздраженный и обиженный на своих слушателей, на самого себя, на свою судьбу, на судьбу всей эмиграции, бесцельно растративший лучшие годы в добровольном изгнании» (Юрий Жуков, На Западе после войны. (Записки корреспондента). — Журн. «Октябрь», 1947, № 10, стр. 130—131).

В это время в Париже вышла книга Буннина «Темные аллеи». Она была встречена довольно равнодушно. «Эта последняя буннинская книга, которую автор считал сборником лучших своих рассказов, принята была сравнительно холодно. Правда, в печати отзывы были, как обычно, одобрительные, даже восторженные: кто же в самом деле, кроме людей, литературе чуждых, отважился бы Буннин на склоне лет бранить? Но «устная пресса» была несколько другая и доставила Буннину много горьких минут (Г. Адамович, Одиночество и свобода, изд-во имени Чехова, Нью-Йорк, 1955, стр. 115).

«...Буннин не изменился, не изменил самому себе. Любовь... — всегда представлялась ему едва ли не самым значительным и загадочным, что есть на свете, чем-то «иногда неизлечимым, божественным и дьявольским», как сказано в «Темных аллеях».

...одна из его героинь задумчиво спрашивает:

— Разве бывает несчастная любовь?

...Всякая любовь — великое счастье, даже если она и не разделена.

Оттого от книги Буннина веет счастьем, оттого она проникнута благодарностью к жизни, к миру, в котором при всех его несовершенствах счастье это бывает» (там же, стр. 116).

Книгу «Темные аллеи» — можно назвать трагедией и счастьем Буннина. Трагедия — более тридцати лет жизни прожить вне России, без ее людей и ее языка. Счастье — что все эти годы он имел Россию в сердце, помнил ее и любил.

Деньги, полученные за издание, таяли быстро. Буннину обещают устроить новое ее издание в США на английском языке. Буннин ждет и даже соглашается на замену заглавия (ибо буквальный перевод на английский язык не годился):

«Что мои «Темные аллеи»? Переводятся? Надеюсь, да, по кем? И как же насчет заглавия книги? Я писал Вам,— уже давно, предлагал озаглавить первый рассказ «Шиповник» — и, значит, всю книгу тоже «Шиповник» — ведь в *конце* первого рассказа «герой» его вспоминает (уже в дороге) стихи: «Кругом шиповник алый цвет...» Поэтому, думаю, не плохо и заглавие всей книги такое — и даже не «Шиповник», а «Алый шиповник» («Далекне, близкне», стр. 215).

Наконец находится издатель, который согласен напечатать книгу Бунина за ничтожно малую сумму. И как ни нуждался в деньгах Бунин, его писательская гордость заставляет его отказаться. «...Что до меня, то я только последние дни с трудом добирался с постели до письменного стола на несколько минут (написать две-три записочки): ровно *два* месяца пролежал в Grippe, с страшным кашлем, от которого не спал (и еще не сплю) по ночам и с потерей крови непрерывной, следствием которой сделалось то, что доктора сказали: «положение Н. А. *не безнадежно, но очень серьезно*» и что крошечных шариков у меня теперь меньше на 1½ миллиона, чем полагается быть. Доктора, лекарства, питание (кило печенки у нас стоит теперь 600 франков!) разорили меня дребезги, а тут предстоит мне еще некоторая операция и отправка меня на юг на поправку, по все же я считаю разумным отказаться пока от издания «Темных аллей» у Талко — 200 долларов не деньги, а книга все-таки ценность» («Далекне, близкне», стр. 214).

Деятнадцатого ноября 1946 года Бунин пишет Н. Д. Телешову:

«...Не можешь ли передать вашему Союзу писателей мою усердную просьбу помочь мне получить хоть что-нибудь за те мои некоторые книжки, что были изданы в Москве и переизданы в двадцатых и тридцатых годах? Я очень стал слаб, задыхаюсь, должен проводить зимы на юге, но беден так, что не смею и думать об этом, заработка едва хватает на жизнь в Париже, для изданий не хватает бумаги». «...Спешу горячо просить тебя, — пишет Бунин ему же 8 января 1947 года, — сказать Государств<енному> издательству: пусть издает из моих писаний *все что угодно*, но выбирает *только* из собрания моих сочинений издания «Петрополиса» в Берлине 1934 и 1935 годов (если в Москве этого изданий нет, — я вышлю свой экз., последний, ибо это издание давно разошлось). Можно издать еще в сокращ<енном>»,

виде мою книгу «Освобождение Толстого» («Ист. архив», стр. 163—164).

«Кроме «большого» письма,— пишет Бунин Н. Д. Телешову 1 апреля 1947 года,— я послал тебе заказным пакетом недавно вышедшую мою последнюю книгу («Темные аллеи») — не смущайся ее некоторыми смелыми местами — в общем она говорит о трагичном и о многом нежном и прекрасном,— думаю, что это самое лучшее и самое оригинальное, что я написал в жизни,— и не один я так думаю» (там же, стр. 165).

«Темные аллеи» Бунин посылает также писателю К. М. Симонову, с которым он познакомился на вечере в Париже 15 августа 1946 года.

Старый писатель следит за советской литературой, много читает, восхищается произведениями Твардовского и Паустовского.

«Я только что прочитал книгу А. Твардовского («Василий Теркин»),— пишет он Телешову 10 сентября 1947 года,— и не могу удержаться — прошу тебя, если ты знаком и встречаешься с ним, передать ему при случае, что я (читатель, как ты знаешь, придирчивый, требовательный) совершенно восхищен его талантом,— это поистине редкая книга: какая свобода, какая чудесная удача, какая меткость, точность во всем и какой необыкновенный народный, солдатский язык — ни сучка, ни задоринки, ни единого фальшивого, готового, то есть литературно-пошлого слова! Возможно, что он останется автором только одной такой книги, начнет повторяться, писать хуже, но даже и это можно будет простить ему за «Теркина» (там же, стр. 166—167).

Конечно, старому и больному писателю уже не по силам было сделать последний твердый шаг: вернуться в Россию. Международная обстановка была достаточно сложной; к тому же взаимоотношения с советскими издательствами складывались в то время неблагоприятно. А кроме того, отговаривали от возвращения в Россию и запугивали люди, связанные с Бунинным эмигрантской жизнью и сохранившие ненависть к Советскому Союзу. Снова повторилась та обстановка, о которой еще в 1923 году писал А. Н. Толстой. Людям, пользовавшимся доверием и дружбой И. А. Бунина, было безразлично, что Бунин (как когда-то и Куприн) «пропадают для русской литературы,— им важно удержать их за границей, оторвать совсем от России, пусть они бедствуют, даже умирают с голоду — все это их

мало интересует», — что следовало бы Бунину «вырвать из той гнилой, полной ненависти к Советской России атмосферы и возвратить... русской литературе» (Алексей Толстой, О литературе, М. 1956, стр. 35).

Обстановка эмигрантских будней не могла наполнить жизнь такого писателя, как Бунин, впечатлениями, питающими художественное творчество. Ю. Жуков, видевший Бунина в Париже на встрече с писателями, организованной «Обществом русской интеллигенции», рассказывал:

«Билет («на организационные расходы») стоит 75 франков. Зал медленно заполняется публикой. Седые старики целуют руки старухам в модных шляпках, с букетами цветов на полях. Молодежи почти не видно...

В холодном пустом зале на эстраде столик. Лампочка под абажуром. Букет ландышей. В десятом часу вечера на трибуну поднимается рослый старик с седой бородой, представитель общества, и рядом с ним маленький, сухонький Бунин: рафинированное лицо эстета, под усталыми глазами дряблые мешки, седой, аккуратно расчесанный пробор, пенсне. Он старчески жуёт губами, утомленно потирает лоб.

— Краса русской литературы, — широким жестом рекомендует его бородач.

Бунин поеживается, убирает со стола ландыши, открывает книгу и начинает читать свой старый рассказ «Смерть»...

Он читает с некоторым раздражением, как учитель, перегруженный уроками, читает много раз повторенные им тексты.

Бунин захлопывает книгу, встает и выходит, провожаемый аплодисментами...

Затем, во время другого выступления, «...Бунин входит и стоит, прислонившись к притолоке. Он глядит пустыми глазами в зал, раздраженно жуёт губами, сердится на что-то, но не уходит.

Потом читает свои стихи молодой поэт Давид Кнут... Тематика — безверие, которое страшит поэта, горькая дума о стихах, которые, как ему кажется, никому не нужны, неизбывная тоска, отсутствие уверенности в себе. И вдруг неожиданный скрипучая реплика Бунина:

— Послушайте! У вас кто-то там опускает лицо. Разве можно опускать лицо?

Его коробит, что люди забывают русский язык» (Юрий Жуков, Из Запада после войны, «Октябрь», 1947, № 10, стр. 128).

А жить становилось все труднее. «Бунин начал писать длинные письма. Во Франции был еще настоящий голод, посылки и даже деньги мало помогали. Письма от Ивана Алексеевича из Парижа или с юга Франции приходили часто,— все они были полны жалобами на недоедание, на болезни, на страшную дороговизну и полное отсутствие денег» («Далекое, близкое», стр. 213).

И все-таки Бунин много работает. Он составляет сборник «Весной, в Иудее.— Роза Иерихона» (1953), включив туда последние полные рассказы и стихи, «Петлистые уши» (1954) и пишет книгу, оставшуюся незаконченной, «О Чехове». Две последние книги вышли в свет после смерти писателя.

«С 47 года и до конца жизни Бунина приходилось в частном порядке собирать для него деньги среди богатых людей. Взамен они получали книгу с автографом писателя,— много он роздал таких автографов в последний, тяжкий период своей жизни» («Далекое, близкое», стр. 213).

Нужда Бунина в последние годы жизни была такова, что он, будучи человеком, всю свою творческую жизнь с такой требовательностью относившимся к каждому написанному им слову и будучи щепетильным и принципиальным в издательских делах, вынужден был искать любой литературный заработок. Обидно и больно читать предисловие его к книге русского дельца Клягина «Страна возможностей необычайных», Париж, 1947,— к книге, прославляющей «русский бизнес» за рубежом.

В эти трудные годы (1947—1953), в разгар «холодной войны», общение Бунина с родиной становится еще реже и случайнее.

И все прежние его заблуждения, от одиночества и страха нищеты, в последний раз вспыхнули в нем. Он печатает спол «Воспоминания», полные желчи и злобы, написанные им в разное время эмигрантской жизни, часто под влиянием обиды и раздражения.

И в то же время, как бы в противовес «Воспоминаниям», Бунин в последний год своей жизни работает над книгой о Чехове — писателе, человеке и друге, бывшем всю жизнь для

Бунин примером писательской совести и долга, о Чехове, чье творчество было частью России.

О судьбе литературного наследия Бунина на родине хорошо сказал еще в 1930 году А. И. Куприн, давая поводное интервью одному из корреспондентов зарубежной газеты. Он высказал свои мысли о «путях русской литературы», имея в виду Бунина, себя и других писателей-эмигрантов.

«Новый гениальный писатель за рубежом, конечно, не родится: жизнь здесь скучна, однообразна, а главное,— нет русского языка. Настоящий русский язык мы черпали у русского мужика, как Пушкин искал и черпал его у московских просвир. Помню в России одного дурачка Ваську. Жил он в Касимовском уезде. Когда его спрашивали, где он живет, Васька отвечал:

— У соседа па полу.

Так и мы здесь за рубежом — тоже живем у соседей па полу.

Не верю, когда утверждают, что Россия не понимает и не поймет русских писателей, проживающих в эмиграции.

Россия прекрасно нас понимает, интересуется нами и все время читает нас.

Ведь издают же большевики в России эмигрантских писателей, Бунин, мейн, Тэффи и многих других.

Для чего это делается?

— Библиотеки требуют.

Стало быть, у читателя есть определенный спрос на всех нас» (газ. «Наша заря», Шанхай, 1930, № 535, 1 января).

Темные аллеи (стр. 7).— «Темные аллеи», Нью-Йорк, 1943.

Сам Бунин в своих заметках «Происхождение моих рассказов» (см. т. 9) пишет об истории написания этого рассказа:

«Перечитывал стихи Огарева и остановился на известном стихотворении:

Была чудесная весна,
Они на берегу сидели,
Во дворе лет была она,
Его усы едва чернели...
Кругом шиповник алый цвел,
Стояла темных линий аллея...

Потом почему-то представилось то, чем начинается мой рассказ,— осень, ненастье, большая дорога, тарантас, в нем старый

воепный... Остальное все как-то само собой сложилось, выдумалось — очень легко, неожиданно — как большинство моих рассказов».

Стихотворение Н. П. Огарева «Обыкновенная повесть» Буяни процитировал на память, соединив разные его части. Настроение этого стихотворения перешло в один из лучших рассказов Буяни и далее дало настроение всей книге «Темные аллеи»:

ОБЫКНОВЕННАЯ ПОВЕСТЬ

Была чудесная весна!
Они на берегу сидели —
Река была тиха, ясна,
Вставало солнце, птички пели;
Тянулся за рекою дол,
Спокойно пышно зеленел,
Вблизи шиповник алый цвел,
Стогла темных лип аллея.

Была чудесная весна!
Они на берегу сидели —
Во цвете лет была она,
Его усы едва чернели.
О, если б кто увидел их
Тогда, при утренней их встрече,
И лица б высмотрел у них,
Или подслушал бы их речи —
Как был бы мил ему язык,
Язык любви первоначальной!
Он, верно б, сам, на этот миг,
Расцвел на дне души печальной.
Я в свете встретил их потом:
Она была женой другого,
Он был женат, и о былом
В помине не было ни слова;
На лицах виден был покой,
Их жизнь текла светло и ровно,
Они, встречаясь меж собой,
Могли смеяться хладнокровно...

А там, на берегу реки,
Где цвел тогда шиповник алый,
Одни простые рыбки
Ходили в лодке обветшалой
И пели песни — и темно
Осталось, для людей закрыто,
Что было там говорено
И сколько было позабыто;

Кавказ (стр. 12).— Газ. «Последние новости», 1937, № 6077, 14 ноябр.

Стр. 16. Чекалка (кавказск.) — шакал.

Баллада (стр. 17).— Газ. «Последние новости», Париж, 1938, № 6175, 20 февраля. Вошло в сборник «Темные аллеи», 1943.

Историю создания этого рассказа Бунина описывает так: «Жить мне осталось, во всяком случае, недолго. И приводя в порядок по мере моих уже очень слабых сил мои писания, в надежде, — тоже довольно слабой. — что они будут когда-нибудь изданы, я перечитал их почти уже все и вижу, что я не делал их прежде так, как они того заслуживают, что они во многих отношениях замечательны по своей оригинальности, по разнообразию, сжатости, силе, по внутренней и внешней красоте, — говорю это не стыдясь, ибо уже без всякого честолюбия, только как художник. Некоторые из них мне особенно дороги, кажутся особенно восхитительны — и вот «Баллада» в числе таких. А меж тем написать его, как и многие другие рассказы, в разные прежние годы, — побудила меня нужда в деньгах. Как-то... в Париже я увидал однажды утром, что кошелек мой совсем пуст, и тотчас решил написать что-нибудь для «Последних новостей», выдумать что-нибудь. И стал вспоминать Россию, ту усадьбу, где нередко жил почти каждый год в разные времена года, мысленно увидал зимний вечер в ее старом доме под какой-то большой праздник... И бог дал быстро выдумать нечто совершенно прекрасное (с вымышленной странницей Машенькой, главной прелестью рассказа, с ее дивным ночным бдением, дивной речью)...» («Происхождение моих рассказов»).

В авторском экземпляре «Темных аллей», хранящемся в ИМЛИ, к этому рассказу имеются пометки И. А. Бунина, сделанные синими и красными чернилами: «Непременно надо «попрешь» — иначе выйдет «попрешь»; отмечено ударение слова «эарит» и дважды подчеркнуто слово «мышлит», к которому добавлено на полях книги: «так и надо: мышлит».

Степа (стр. 24).— Газ. «Последние новости», 1938, № 6419, 23 октбр.

«Источники творчества неисповедимы. Читаю газету, раз что-то прочитал об Индии и вдруг мне всяких логических ассо-

дний увидел перед собой знакомый русский пейзаж, постоялый двор, какая-то бричка только что подъехала к нему, и купец стоит и пальцем очищает грязь с сапога. Так родился мой рассказ «Степа», — рассказывал Бунин (газ. Русские новости, Париж, 1945, № 26, 9 ноября).

Сохранилось и другое свидетельство Бунина:

«Написано в 1938 году, на вилле в Beausoleil, над Монте-Карло. Представилось однажды, что еду на беговых дрожках от имени моего брата Евгения (на границе Тульской и Орловской губерний) по направлению к станции Боборыкино. Проливной дождь. Затем — сумерки, постоялый двор возле шоссе, и какой-то человек, остановившийся возле этого постоялого двора и на его крыльце счищающий кнутовищем грязь с высоких сапог. Все остальное сложилось как-то само собой, неожиданно; когда начал рассказ, еще не знал, чем кончу» («Пронхождение моих рассказов»).

Перечитывая свои рассказы, Бунин постоянно вносил исправления, стилистические и особенно звуковые (стр. 24): «головатвистая молния, и над головой...», исправлено: «ветвистая молния, а над головой...»

Муза (стр. 30). — Газ. «Последние новости», Париж, 1938, № 6426, 30 октября. Вошло в сборник «Темные аллеи», 1943.

Об этом рассказе также сохранилась запись Бунина:

«Верстах в трех от нашей усадьбы, в сельце Озерки, в Елецком уезде, при большой дороге в Елец, было имение, принадлежавшее когда-то моей матери, потом помещику Логофету, а в моей юности его ищшему сыну, пыльному, рыжему, тощему. Я изредка бывал у него, был однажды лунным зимним вечером, в доме, освещенном только луною, почему-то, — это всегда бывает неизвестно почему, — вспомнил какой-то момент этого вечера и все хотел что-то присочинить к нему, вставить его в какой-то рассказ, который все не выдумывался. Все это вспомнилось мне однажды в капут октября 1938 года в Beausoleil (над Монте-Карло), и вдруг пришел в голову и сюжет «Музы» — как и почему, совершенно не понимаю: тут тоже все сплошь выдуманно, — кроме того, что я когда-то часто и подолгу жил в Москве на Арбате в номерах «Столица»...

Вспомнилась гостиница... неожиданно заметил в ней себя каким-то человеком, вздумавшим стать художником, и никак не

могу вспомнить, почему, откуда взялась эта страшная Муза Граф, — никогда подобной не встречал. Жизнь художника на даче, подмосковные дни и ночи там — некоторых подобие (гораздо более поэтического действительности) того недолгого времени, когда я гостил на даче писателя Телешова.

А Закистовский тоже выдуман, — не выдумана только его усадьба, на самом деле принадлежавшая когда-то нашей матери...» («Происхождение моих рассказов»).

Поздний час (стр. 37). — Газ. «Последние новости», Париж, 1938, № 6467, 11 декабря.

Просматривал рассказ для сборника «Темные аллеи», Бунина внес много уточнений и сокращений: на стр. 38 было: «...хотя все его иллюминаторы были освещены, похожи на раскрытые, но спящие глаза...», стало: «...похожи на неподвижные золотые глаза...»

После слов «сбежавшегося простонародья» (стр. 38) вычеркнуто: «...не сводившего с пожара расширенных глаз...», после слов «ласково дул на меня...» (стр. 38) удалено: «...давал мне чувство юности, легкости»; в абзаце (стр. 41) Бунин изменил все определения. Было:

«В Париже двое суток выделялся дом номер такой-то на такой-то улице из всех прочих домов чумной бутафорией подъезда, его угольного с серебром обрамления, двое суток лежит в подъезде на угольном покрове столбик лист бумаги в угольной кайме — на нем расписываются в знак сочувствия вежливые посетители; потом, в некий последний срок, оставался у подъезда огромная с угольным балдахинным колесница, дерево которой черпо-смолисто, как чумной гроб, закругленно вырезанные полы балдахина свидетельствуют о небесах крупными белыми звездами, а углы крыши увешаны кудреватыми угольными султанами — перьями страуса из преисподней».

Р у с я (стр. 44). — «Новый журнал», Нью-Йорк, 1942, № 1, апрель — май.

Анализируя возникновение замысла, характерного, в частности, для этого рассказа, Бунин писал: «Это у меня постоянное — то и дело ни с того ни с сего частично мелькает в воображении какое-нибудь лицо, какой-нибудь пейзаж, какая-нибудь погода, — мелькает и пропадет, а иногда вдруг задерживается,

останавливает внимание на себе, смутно требует развития, уточнения, волнуется...

Отсюда и происхождение большинства моих рассказов.

Очень часто возникновение рассказа происходит у меня от какой-нибудь воображавшейся картины природы («Происхождение моих рассказов»).

Стр. 49. *Куга* — осока, тростник.

Красавица (стр. 54).— Журн. «Новоселье», Нью-Йорк, 1946, № 26, апрель — май.

В этом маленьком рассказе Булиб сократил всего две фразы, удалив «красивость» — «взгляд чудесных голубых глаз» и на стр. 55 после слов «еще при покойной маме» удалено: «строит из спичечных коробок железную дорогу».

Дурочка (стр. 56).— Журн. «Новоселье», Нью-Йорк, 1946, № 26, апрель — май.

Антигона (стр. 58).— «Темные аллеи».

Антигона — по греческой мифологии, преданная дочь царя Эдипа, последовавшая в изгнание за ослепившим себя отцом.

Стр. 59. *Эдип* — царь города Фив, главный герой так называемого «фиванского» цикла древнегреческой мифологии.

Стр. 60. *«Мой дядя самых честных правил...»* — начальная строка из «Евгения Онегина» Пушкина.

Стр. 64. *Октав Мирбо* (1850—1917) — французский романист и драматург.

Смарагд (стр. 67).— «Темные аллеи».

Волки (стр. 69).— Газ. «Новое русское слово», Нью-Йорк, 1942, № 10658, 26 апреля.

Визитные карточки (стр. 72).— «Темные аллеи».

Стр. 73. *Плиц* (плеча) — черпак, водолейка.

Так токут маленькие дети... — неточная цитата из поэмы А. С. Пушкина «Кавказский пленник».

Зойка и Валерия (стр. 78).— «Русский сборник», Париж, 1945.

Стр. 83. «...и смолой и земляникой палнет темный бор...» — из стихотворения А. К. Толстого «Няль Муромед».

Т а л я (стр. 91).— «Темные аллеи», 1943.

В П а р и ж е (стр. 110).— «Темные аллеи», 1943.

Стр. 116. «Иллюстрированная Россия» — еженедельный литературно-иллюстрированный журнал, выходивший в Париже в 1924—1939 годах.

Стр. 120. В плакаре увидала его давнюю летнюю шинель... — Placard (франц.) — степной шкаф.

Г а л л Г а н с к а я (стр. 121).— «Новый журнал», Нью-Йорк, 1946, книга 13.

В письме к Н. П. Смирнову от 30 января 1959 года В. Н. Муромцева-Бунина писала: «История «Галл Ганской» вся выдуманна, и прототип художника — Нилус, от него взято и в «Снах Чанга» (т. 4 наст. изд.—Ред.) (гла. «Русские новости», Париж, 1964, № 984, 10 апреля).

(Нилус Петр Александрович — художник и писатель, приятель И. А. Бунина по Одессе, эмигрант.)

Г е н р и х (стр. 129).— «Темные аллеи».

В письме к Н. П. Смирнову от 30 января 1956 года В. Н. Муромцева-Бунина писала, что в Генрихе Бунин вывел реальное лицо: «Макс Ли, такая была журналистка и писательница, писавшая потом вместе с мужем романы, если не ошибаюсь, фамилия их Ковальские» (газ. «Русские новости», Париж, 1964, № 984, 10 апреля). «Он кое-что взял от нее в «Генрихе» («Жизнь Бунина», стр. 153).

Н а т а л и (стр. 143).— «Новый журнал», Нью-Йорк, 1942, № 2.

Подготавливая рассказ для парижского издания «Темных аллей», Бунин произвел значительные сокращения.

На стр. 161, после слов «Из тебя, Виталий, выйдет второй Брюс...», в Нью-Йоркском издании следовало: «Когда он ушел, я еще посидел за столом, глядя, как Натали молча помогает Христе, уносящей посуду в поварскую. Потом, глупо ухмыляясь, стал декламировать:

А вчера у окна ввечеру
Долго, долго сидела она
И следила по тучам игру,
Что, скользая, затевала луна...

— Да вы поэт! — неприязненно сказала Натали и пошла по светлому двору в поварскую ю.

На стр. 163 после слов «след чего-то, жестяного, красного» было: «Когда же одупись поспешил назад,— непонятно, почему я не зажег свечу и не побежал в столовую с ней,— верно, и согласи с тем таинственным, что творилось вокруг дома,— когда быстро, точно не случилось ли чего там без меня...»

На стр. 171 за словами «...за одно прикосновение к пей губами, только к пей» следовало продолжение фразы: «И пот я только что касался ими того самого сокровенного твоего, о чем прежде даже думать не мог без сердечной дуристы.

— Все это теперь твоё навеки. Ты никогда, никогда не забывал меня все эти годы?»

В «Происхождении моих рассказов» Бунии писал:

«Мне как-то пришло в голову: вот Гоголь выдумал Чичикова, который ездит и скупает «мертвые души», и так не выдумать ли мне молодого человека, который поехал на поиски любовных приключений? И сперва я думал, что это будет ряд довольно забавных историй. А вышло совсем, совсем другое.

Молодой герой моего рассказа сперва заезжает — непадолог — в имение своего родного дяди, улана Черкяского, для которого я взял старика-улана Муромцева, который слыл под кличкой «раздраженный улан», между тем как улан Черкасский был добрый человек, только такой же большой ростом и всем складом, как улан Муромцев. Я поместил его имение в речной долине, подобной той, в которой было расположено имение брата улана».

Стр. 161. Брюс — Якоб Брюс (1670—1735), сподвижник Петра I, государственный деятель, ученый. Под его наблюдением составлен так называемый «Брюсов календарь», М. 1709, выдержавший много изданий в последующие годы.

Стр. 165. *Gaudeamus igitur* (лат.) — начало студенческого гимна.

Стр. 167. *Агарь* — по библейскому преданию, рабыня патриарха Авраама, родившая ему сына Измаила, после чего была с сыном изгнана и поселилась в Аравийской пустыне.

В одной знакомой улице (стр. 173).— Газ. «Русские новости», Париж, 1945, № 26, 9 полбрия.

В этом номере газеты «Русские новости» специальная страница была посвящена 75-летию Н. А. Бунина.

Речной трактир (стр. 176).— «Новый журнал», Нью-Йорк, 1945, кп. 11.

Рассказ был издан отдельной книгой в Нью-Йорке в 1945 году с рисунками М. Добужинского и фотокопией одной из страниц рукописи.

Рукопись рассказа хранится в ЦГАЛИ.

Стр. 180. *Мумму и редерер* — названия вин.

К у м я (стр. 183).— «Темные аллеи».

Стр. 183. *Матинэ* (*matinée* — франц.) — утреплял домашняя кофточка.

Стр. 186. *«Вы любите ли сыр, спросили раз танжу»* — шуточное стихотворение Козьмы Пруtkова.

Н а ч а л о (стр. 187).— «Темные аллеи».

«Д у б к и» (стр. 191).— «Новый журнал», Нью-Йорк, 1945, кп. 11.

«М а д р и д» (стр. 196).— Журн. «Новоселье», Нью-Йорк, 1945, № 21.

Второй кофейник (стр. 203).— Журн. «Новоселье», Нью-Йорк, 1945, № 21.

Холодила осень (стр. 206).— Газ. «Русские новости», Париж, 1945, № 1, 18 мая.

Рассказ, по-видимому, является стихотворением Фета, которое цитируется в нем. У Фета оно звучит так:

Какая холодная осень!
Надень свою шаль и капот;
Смотри: из-за дремлющих сосен
Как будто пожар восстает.

Сильнее северной ночи
Я помню всегда близ тебя,
И светят фосфорные очи,
Да только не греют меня,

Стр. 206. ...убили Фердинанда.— Франц Фердинанд (1863—1914) — австрийский эрцгерцог. 28 июня 1914 года был убит в Сараево (Босния) членами тайной сербской националистической организации. Это убийство послужило поводом к развязыванию первой империалистической войны.

Пароход «Саратов» (стр. 211).— «Темные аллеи».

Ворон (стр. 216).— Газ. «Русские новости», Париж, 1945, № 33, 28 декабря.

Советский критик А. Тарасенков в предисловии к «Избранным произведениям» Бунина (ГИХЛ, 1956) писал:

«Нельзя не признать, что среди написанного в эти годы И. А. Буниным есть произведения больших литературных достоинств. Прежде всего это автобиографическая повесть «Жизнь Арсеньева»... и ряд рассказов: ... «Темные аллеи», «Тавя», «Руся», «Ворон» и некоторые другие» (стр. 20).

Вслед за Тарасенковым, американский критик Томпсон Бредли в предисловии к избранным рассказам Бунина на английском языке (Ivan Bunin, «The Gentleman from San-Francisco and other stories». With an Introduction by Thompson Bradley. New-York, Washington. Square Press, 1963, XIX; 264 p.) также отмечает, что «в большой коллекции коротких рассказов, написанных в тридцатые и сороковые годы, лучшими являются «Темные аллеи» (1938) и «Ворон» (1944)» (стр. XIII).

Стр. 222 *Пеплум* (peplum — лат.) — роскошное женское платье, плащ. *Аграф* (agrafe — франц.) — брошь, застежка.

Камаг (стр. 223).— «Темные аллеи».

Камаг (La Camargue) — пустынная болотистая равнина на развилке Большой и Малой Роны (на юге Франции), где проживают провансальские ковбои, пасущие стада полудиких быков.

Сто рупий (стр. 225).— «Темные аллеи».

Месть (стр. 227).— «Новый журнал», Нью-Йорк, 1946, № 12.

Стр. 228. В красных *эспадрильях* (espadrille — франц.) — холщовые туфли на веревочной подошве.

Стр. 234. ...зовет *шассера* (Shausser) (франц.) — (охотиться, гнаться за) — здесь: посылка.

Качели (стр. 236).— Газ. «Русские новости», Париж, 1945, № 26, 9 ноября.

Стр. 236. *Он пугает, а мне не страшно* — слова Л. Н. Толстого о Леоиде Андрееве, по рассказам М. В. Пестерова и Н. Е. Фельтена (в кн. «Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников», т. 2, М. 1960, стр. 287, 360).

Чистый понедельник (стр. 238).— «Новый журнал», Нью-Йорк, 1945, кн. 10.

В письме к П. Л. Вячеславову от 19 сентября 1960 года В. Н. Муромцева-Бунинна писала: «Этот рассказ Иван Алексеевич считал лучшим из всего того, что он написал» (И. А. Бунин, Повести, Рассказы. Воспоминания, М. 1961, стр. 627). А ранее в письме к Н. П. Смирнову от 30 января 1959 года она рассказывала: «Про «Чистый понедельник» он (Бунин.— В. Г.) написал на обрывке бумаги в одну из своих бессонных ночей, цитирую по памяти: «Благодарю бога, что он дал мне возможность написать «Чистый понедельник» (газ. «Русские новости», Париж, 1964, № 984, 10 апреля).

Рассказ И. А. Бунина впервые прочел на своем вечере в Париже 19 июля 1945 года (см. стр. 372).

Стр. 241. «*Огненный ангел*» — Брюсов В. Я., «Огненный ангел». Повесть XVI в., ч. I—II, 1908—1909. *Арталук* (татарск.) — поддевка, стеганка.

Стр. 244. *Рипида* (церк.) — круглый, на древко посаженный образ. *Трикирий* (греч.) — церковный трисвечник. *Пересает* и *Ослябя* — богатыри, по преданию, начавшие Куликовскую битву (1380). *Крюки* — старинные церковные нотные знаки.

Стр. 251. *Обрус* — платок, фата.

Часовня (стр. 252).— «Темные аллеи».

Весной, в Иудее (стр. 253).— Газ. «Русские новости», Париж, 1946, № 49, 19 апреля. По этому рассказу была названа последняя прижизненная книга Бунина, вышедшая в Нью-Йорке в 1953 году, по тексту которой он и печатается.

Ночлег (стр. 258).— «Весной, в Иудее.— Роза Иерихона».

В этот раздел входят рассказы И. А. Бунина, написанные в последний период его жизни и вошедшие в «Собрание сочинений», изд. «Петрополис», в книгу «Весной, в Иудее.— Роза Иерихона», а также в первое издание «Темных аллей» (1943).

История с чемоданом (стр. 269).— Газ. «Последние новости», Париж, 1931, № 3910, 6 декабря. Вошло в IX том Собрания сочинений, по тексту которого и печатается.

Прекраснейшая солида (стр. 276).— Газ. «Последние новости», Париж, 1932, № 4057, 1 мая. Печатается по тексту «Весной, в Иудее».

В основу рассказа положена история любви великого итальянского поэта Франческо Петрарки (1304—1374) к Лауре, дочери рыцаря Одибера. Петрарка посвятил ей свои знаменитые «Сонеты». Образ Лауры стал предметом поэтического прославления.

Остров сирен (стр. 281).— Газ. «Последние новости», Париж, 1932, № 4085, 29 мая, под названием «Капри». Печатается по тексту «Весной, в Иудее».

Написано по впечатлениям пребывания на Капри (1911—1914).

А. И. Толстой вспоминал о необыкновенной писательской зоркости И. А. Бунина,— в беседе «Слово есть мышление» (1943):

«Приведу вам следующий случай — мне о нем рассказывал М. Горький.

М. Горький, Андреев и Бунин в Неаполе, как и полагается писателям, сидели в ресторане. Надо вам сказать, что предыдущее поколение писателей больше любили литературу и все время о ней говорили, как бы все время сориспуюсь. Тогда была в моде такая игра. Сидят в ресторане, зашел человек, и вот дается 3 минуты, чтобы посмотреть и разобрать его. Горький посмотрел и говорит: он бледный, на нем серый костюм, узкие красивые руки — и все. Андреев смотрел 3 минуты и понес чепуху, даже цвет костюма не успел заметить. А вот у Бунина был очень зоркий глаз. Посмотрел и за 3 минуты все успел охватить, он даже детали костюма описал. Что галстук с такими-то кра-

пиянками, что неправильный погонь на мизнище, даже бородавку успел заметить. Все это он подробно описал, а потом сказал, что это международный жулик. Почему — этого он не знает, но жулик. Тогда позвали метрдотеля и спросили, кто этот человек. Метрдотель сказал, что этот человек откуда-то появляется часто в Исаполе, что он собою представляет — не знает, но у него дуриная слава. Значит, Бунин совершенно точно сказал. Вот что дает трепирование глаза» (А. Толстой, О литературе, М. 1956, стр. 398).

Жизет пана Михольского (стр. 288).— Глаз. «Последние новости», Париж, 1932, № 3945, 10 января. Печатается по тексту «Весной, в Иудее», где датирован 1936 годом.

В «Автобиографических заметках» (Собр. соч., т. I) Бунина, перебирая впечатлений детства, писал: «Помню, как поразил меня рассказ моего гувернера о Гоголе — он однажды видел его», — и далее Бунин приводит этот эпизод, который он сам много раз пересказывал в лицах, будучи великолепным рассказчиком:

«Рассказ моего гувернера о Гоголе»:

— Я его однажды видел. Это было в одном московском литературном доме. Когда мне его показали, я был так поражен, точно увидел что-то сверхъестественное. Подумать только: Гоголь! Я увидел на него с неопределимой жадностью, но запомнил только то, что он стоял в толпе, тесно окружавшей его, что голова у него была как-то театрально закинута назад и что панталоны на нем были необыкновенно широки, а фрак очень узок. Он что-то говорил, и все его почтительно и внимательно слушали. Я же слышал только одну его фразу — очень закругленное изречение о законах фантастического в искусстве. Точно этой фразы не помню. По смыслу ее был таков, что, мол, можно писать о яблоне с золотыми яблоками, но не о грушах на вербе» (Собр. соч., т. I, стр. 24).

И спустя много лет Бунин, видоизменив этот эпизод, использует его для написания сатирического рассказа.

Молодость и старость (стр. 292).— Журн. «Иллюстрированная Россия», Париж, 1936, под названием «Про обезьяну». Вошло в книгу «Весной, в Иудее».

В «Пронсхождении моих рассказов» Бунин писал: «Слышала рассказ о сотворении человека от проводника в Константино-

поле в 1913 году. Нужно было дать что-нибудь в «Иллюстрированную Россию» (в Париже, в 1936 году) — стал думать, что бы такое написать, вспомнил этот рассказ... Остальное присочинил к нему, вспомнив паше с братом Юлием плавание из Ватуми в Константинополь вдоль Анатолийских берегов летом 1913 года и то, как в Трапезонде взшел на палубу нашего парохода какой-то важный старик-курд.

Возвращался в Рим (стр. 296).— Газ. «Последние новости», Париж, 1937, № 6042, 10 октября, вместе с рассказами «Пророк Осия» и «Господин Порогов», под общим заглавием «Слова, видения». Печатается по тексту книги «Веспой, в Иудее».

Стр. 296. *Ницез* (Nisaea) — в древности крупный город в Вифании.

Стр. 297. *Далия* (Dahlia) — лат. название георгина.

Апрель (стр. 299).— Газ. «Последние новости», Париж, 1938, № 6203, 20 марта и 6217, 3 апреля, под заглавием «Варианты». Один из вариантов повести «Митина любовь», не вошедший в ее окончательный текст. Как самостоятельный, законченный рассказ входил в книгу «Темные аллеи», 1943, по тексту которой и печатается.

Мистраль (стр. 310).— Журн. «Встреча», Париж, 1945, июль. Печатается по тексту «Веспой, в Иудее».

В рассказе «Мистраль» Буниным описана подливая обстановка дома в Грассе, в котором он прожил многие годы своей жизни.

Газета «Советский патриот» от 13 июля 1945 года писала, что бунинский «Мистраль» «написан с обычным магическим мастерством, с обычной жуткой силой. Рассказ — сказано на обложке, — но какой же это рассказ? Называть его следовало бы «стихотворение в прозе». Критики (Вейдз и др.) неоднократно замечали, что у Бунина «лирическое начало проявилось в прозе гораздо сильнее, чем в стихах». Это не совсем так, примером чему является разработка аналогичной темы в стихотворении «Ночь»:

Ледяная ночь, мистраль
(Он еще не стих).
Вижу в окна блеск и даль
Гор, холмов пагих.
Золотой недвижный свет
До постели лег.

Никого в подлунной ист,
Только я да бог.
Знает только он мою
Мертвую печаль,
Ту, что я от всех таю...
Холод, блеск, мистраль.

1952 г.

Три рубля (стр. 313).— Журн. «Новоселье», Нью-Йорк, 1942, № 2, март. Рассказ имел дату: 9.12.40. Печатается по тексту книги «Весной, в Иудее».

Памятный бал (стр. 319).— Газ. «Русские новости», Париж, 1947, № 87, 3 января. Печатается по тексту книги «Весной, в Иудее».

Лопчий (стр. 323).— «Весной, в Иудее». Печатается по этому изданию.

Полуденный жар (стр. 330).— «Весной, в Иудее».

«В такую ночь...» (стр. 334).— Журн. «Новоселье», Нью-Йорк, 1950, № 42—44. Печатается по тексту «Весной, в Иудее».

В рассказе использован диалог Джессики и Лоренцо — героев пьесы Шекспира «Венецианский купец» (акт V, сцена 1-я).

Стр. 334. *Тизба* (Фисба).— История любви Пирама и Тизбы рассказана Овидием в его «Метаморфозах».

Стр. 335. *Медя* — жена Язона, героиня сказания об аргонавтах; своими волшебными зельями она возвратила молодость Язону, отцу своего мужа Язона.

Алупка (стр. 337).— «Весной, в Иудее».

В Альпах (стр. 340).— Журн. «Новоселье», Нью-Йорк, 1950, № 42—44. Печатается по тексту «Весной, в Иудее».

Легенда (стр. 341).— «Весной, в Иудее».

«Un petit accident» (стр. 343).— Журн. «Новоселье», Нью-Йорк, 1950, № 42—44. Печатается по тексту книги «Весной, в Иудее».

Бернар (стр. 345).— Газ. «Последние новости», Париж, 1929, № 2916, 17 марта, с ошибочной датой: 1930. Вошел в 9-й том Собрания сочинений и в книгу «Божье древо». Печатается по тексту книги «Весной, в Иудее», где рассказ заново датирован.

В рассказ вставлены вольные переводы начальных отрывков из очерков Мопассана «На воде». В последней редакции Бунин ввел в рассказ два первых абзаца, сделав, таким образом, самого себя действующим лицом его, а также изменил конец. В ранних редакциях он выглядел так:

«Но ведь сам бог любит, чтобы все «было хорошо». Он сам радовался, что его творения хороши. «И поставил бог светила на тверди небесной, чтобы светить на землю, и управлять днем и ночью, и отделять свет от тьмы. И увидел бог, что это хорошо...»

Каждый, каждый из нас должен заслужить себе право сказать в любой час так, как сказал, умирая, Бернар».

В. Гречанинова

СОДЕРЖАНИЕ

ТЕМНЫЕ АЛЛЕИ

I

Темные аллеи	7
Кавказ	12
Баллада	17
Степа	24
Муза	30
Поздний час	37

II

Руса	44
Красавица	54
Дурочка	56
Антигона	58
Смарагд	67
Волки	69
Визитные карточки	72
Зойка и Валерия	78

Таял	91
В Париже	110
Галл Ганскал	121
Геприх	129
Натали	143

III

В одной знакомой улице	173
Речной трактир	176
Кума	183
Начало	187
«Дубки»	191
«Мадрид»	196
Второй кофейник	203
Холодная осень	206
Пароход «Саратов»	211
Борон	216
Камарг	223
Сто рублей	225
Месть	227
Качели	236
Чистый понедельник	238
Часовня	252
Веспой, в Иудее	253
Ночлег	258

РАССКАЗЫ 1931—1952

История с чемоданом	269
Прекраснейшая солида	276
«Остров Сирен»	281
Жилет папа Михольского	288
Молодость и старость	292
Возвращался в Рим	296
Апрель	299
Мистраль	310
Три рубля	313
Памятный бал	319

Довчий	323
Полуденный жар	330
«В такую ночь...»	334
Алупка	337
В Альпах	340
Легенда	341
«Un petit accident»	343
Бернар	345
Примечания	351

ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ
БУНИН

Собрание сочинений, т. 7

Редактор А. Саакянц
Художественный редактор
С. Данилов

Технический редактор
Г. Каунина

Корректоры
Р. Пунжа и А. Юрьева

Сдано в набор 18/IV 1966 г. Подписано
к печати 16/IX 1966 г. Бумага типогр.
№ 1. 84×108¹/₃₂=12,5 печ. л. 21 усл.
печ. л. 17,98 уч.-изд. л. + 1 вкл.=17,97
Тираж 210 000. Заказ № 564.
Цена 90 коп.

Издательство
«Художественная литература».
Москва Б-66.
Ново-Басманная, 19.

Первая Образцовая типография имени
А. А. Жданова Главполиграфпрома
Комитета по печати
при Совете Министров СССР.
Москва, Ж-64, Вавочная, 28.

38

